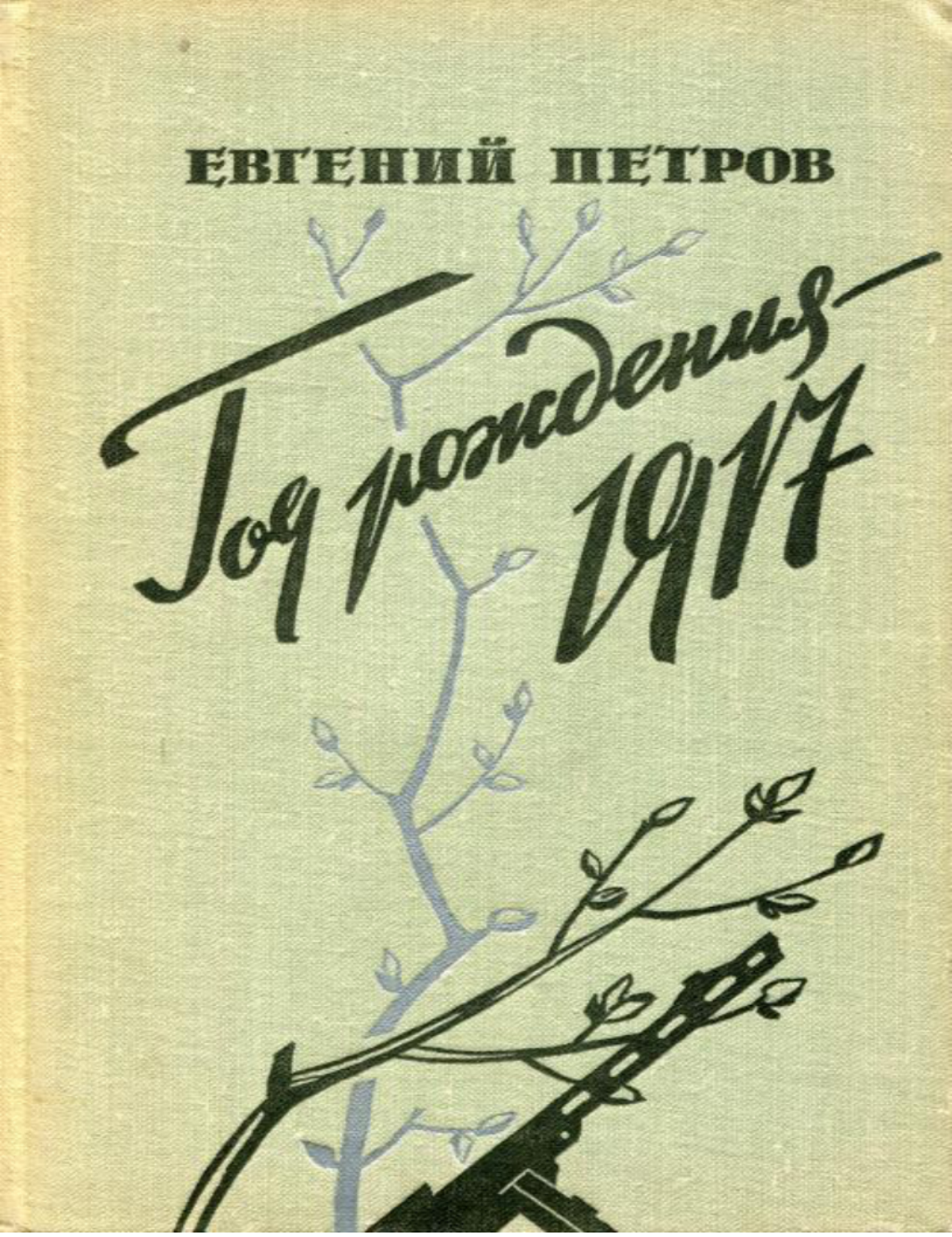
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

Год рождения — 1917




SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В этой книге рассказано о рабочих и крестьянских парнях, ровесниках Великого Октября. События их личной и общественной жизни совпадают с биографией нашей страны. Книга строго документальна. И привлекательна именно достоверностью фактов и событий. В суровые годы военных испытаний автор повести Евгений Петров был фронтовым журналистом. О поколении, выстоявшем и победившем в войне, о судьбах многих ее героев и рассказывается в книге.

- Год рождения — 1917
  -
  - РОВЕСНИКИ ОКТЯБРЯ
    -
    - УТРО НЯНДОМЫ
    - НАША УЛИЦА
    - ПЕРВЫЕ ШАГИ
    - ЗА НЯНДОМСКИМИ СЕМАФОРАМИ…
    - РАБОЧАЯ СМЕНА
    - ОТ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА
    - МОСКВА, УЛИЦА КИРОВА, 13
    - КАВКАЗСКИЙ НАПИТОК
    - «ИНТЕРВЬЮ»
    - СОЧИНЕНИЯ
    - ГАЗЕТНАЯ КАМПАНИЯ
    - ВЕЩЬ В СЕБЕ
    - ЖЕНАТИК
    - ТРЕВОГА
    - НОКАУТ
    - ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ
    - ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ВЕСНА
    - ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО
    - СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ
  - ВТОРОЙ ЭШЕЛОН
    -
    - ИСПЫТАНИЕ НА МУЖЕСТВО
    - «БАТРАКИ»
    - «МЕРТВАЯ ГОЛОВА»
    - ФРОНТОВАЯ «ПРОВИНЦИЯ»
    - ДЕМЯНСКИЙ КОТЕЛ
    - ЛЫЧКОВО
    - ВАСИЛЬЕВЩИНА

- СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИЗОШЛО
- ДРУГ НАШ — РУССКИЙ ЛЕС
- ПУСТЫНЬКА
- КАПИТАН С ПАЛОЧКОЙ
- ВСТРЕЧА С ТЫЛОМ
- КАРАЧЕВ
- БРЯНСК И БЕЖИЦА, ПОЧЕП И УНЕЧА
- РЕДАКЦИЯ НА КОЛЕСАХ
- ДНЕПРОВСКИЙ ВАЛ
- НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ
- ОДНА ФРОНТОВАЯ НОЧЬ
- ПОЛЕВАЯ ПОЧТА
- ТЫЛОВАЯ ПРОФЕССИЯ
- СКАЗОЧНИК
- БАНЩИК МАРТЫШКИН
- БОБРУЙСК
- ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ…
- СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
- ПОЭТ «ДИВИЗИОНКИ»
- НАРЕВСКИЙ ПЛАЦДАРМ
- ДОБРАЯ ПАМЯТЬ
- ПРИМЕТЫ НОВОГО ГОДА
- ГДЫНЯ И ДАНЦИГ
- МАГИЧЕСКИЙ ПАРОЛЬ
- ЖИВЫЕ БАРОНЫ
- ПОСЛЕДНИЙ ФРОНТОВОЙ НОМЕР

Год рождения — 1917





ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

Год рождения 1917

Ордена Трудового Красного Знамени
Военное издательство
Министерства обороны СССР
Москва—1972

РОВЕСНИКИ ОКТЯБРЯ



УТРО НЯНДОМЫ

Станция Няндома расположена на полпути между Вологдой и Архангельском, недалеко от старинного города Каргополя. Место лесное, глухое.

В Няндоме прошло мое детство. Здесь росли и учились мои друзья — Слава Моргунов, Шура Иванов, Витя Хрусталев, Егор Кабрин, Леня Прыгов, Павлик Попов.

Ребячье знакомство обычно начиналось с вопроса: «Кто твой отец?»

Для ребят из рабочих семей это было важно. Отвечали с гордостью: «Машинист паровоза», «Помощник машиниста», «Кочегар», «Арматурщик», «Слесарь». Едва утвердилось сознание, а мы уже знали, что есть на свете жестянщики, медники, кузнецы, молотобойцы, столяры, стрелочники.

Мы знали о нашей станции все. И то, что наши отцы строили железную дорогу, и то, что они остались жить в этих краях навсегда, и то, что все здесь сделано их руками. Они были хорошими строителями. Не раз слышали мы, как ползла вперед колея, а позади уже вырастали дома, школы, больницы, бани. На всех станциях и разъездах здания похожи друг на друга как две капли воды. А на нашей станции не в пример другим был вырыт пруд для карасей и на привокзальной площади разбит сквер.

Лицо станции — вокзал и пассажирская платформа. Вокзал — единственное двухэтажное здание, обшитое тесом и покрашенное охрой. Вокзал стоит как дворец. Все здесь к месту и в меру: пакгауз для багажа и грузов, залы ожидания, будочка с кранами для холодной воды и кипятка, бачок с кипяченой водой и медной кружкой на цепочке.

За вокзалом вправо и влево прямая как стрела первая улица, которую называли у нас не иначе, как линия. На ней ладно скроенные дома, утопающие в зелени. Здесь живет местная «аристократия» — семьи начальников служб: тяги, движения, связи. В этих домах есть все удобства: квартиры из трех-четырех комнат, водопровод, телефон.

За первой линией выстроились в шеренгу вторая, третья, четвертая. На каждой из них свой табель о рангах. За «аристократами» жили машинисты паровозов, их помощники, затем кочегары, кондукторы, ремонтные рабочие. Чем дальше от вокзала, тем реже особнячки, больше построек барачного типа. Но и в них предусмотрены отдельные квартиры в одну, две, а то и три комнаты. В каждой квартире русская печь, в которой можно испечь пяток крупных караваев. Вечером чуть ли не всей семьей

можно понежиться на горячем кирпиче за дымоходом.

Поит и кормит людей главным образом паровозное депо. Оно для нас, ребят, за семью замками. Утешаем себя тем, что можно досыта понаблюдать за работой дежурных по станции.

Дяди в фуражках с красным околышем обладают какой-то магической силой. В своей дежурной комнате они время от времени поворачивают механизм со странным названием «селектор», после чего в их руках появляется медный стерженек. Без этого стерженька-жезла не отправится в путь ни один поезд.

Рядом с дежурными по станции сидят кудесники-телеграфисты. Глухо стрекочут яркие (я всегда думал: золотые) аппараты. Из них ползет узкая бумажная ленточка. Тихо-тихо, почти незаметно, поворачиваются медные катушки. А на ленточке: точка, тире, точка…

Нашему ребячьему уму непостижимо, что в этих тире и точках идут к нам в Няндому какие-то указания или весточки из далеких неведомых нам городов.

На втором этаже вокзала — телефонный узел. Что там делается, сразу не узнаешь. Украдкой заглядывали в замочную скважину. Хотя для опасений и не было причин: там на узле работает не кто-нибудь, а моя старшая сестра Надя.

В комнате стоит небольшой полированный шкафчик. На передней его стенке множество ячеек, прикрытых круглыми заслонками. Перед шкафчиком столик, на нем провода с металлическими наконечниками. Заслонки на стене шкафчика то и дело поднимаются, открывая белые зрачки с цифрами.

Маленькая станция, а сколько премудростей! Хватит ли жизни, чтобы все это постичь?

В нашей семье росло восемь детей. Такую ораву надо было суметь прокормить. Мать без конца ездила по деревням, меняла вещи на хлеб, картошку. Увозила то граммофон, то швейную машину «Зингер и К°», то одежонку, обувь. Комнаты осиротели, стали неуютными.

Отец, оставаясь за хозяйку, вставал рано, гремел ведерным самоваром, будил ребят. Перед каждым из нас появлялась щепотка соли. Мы, обжигаясь, глотали кипяток и пальцем, не торопясь, экономно клали в рот соленые крупинки.

После такого завтрака сестренки и братишки — кто на работу, кто в школу. Я с тоской сидел с утра до вечера на подоконнике, смотрел с нетерпением на дорогу, ждал мать, зная, что она обязательно привезет какой-нибудь подарочек.

Проходили дни, недели, пока наступала счастливая минута. Перед крыльцом останавливалась подвода. Добрые мужики «за так» попутно подвозили усталую и промерзшую до костей

женщину. Спасибо вам, незнакомые дяденьки! Видно, мир не без хороших людей!

В дом вносили мешки, узелочки. Мама потрескавшимися от мороза губами целовала меня, доставала из-за пазухи сохранившую тепло ее тела черную лепешку. Такой гостинец — сверх всякой мечты! Съесть его сразу, одним махом, было неловко. Ждал до вечера, когда соберется вся семья, делил подарок на всех, с надеждой, что кто-то откажется от куска. Чаще всего ломти с благодарностью возвращались. Я ел их со спокойной совестью, удовлетворенный тем, что хватило сил побороть в себе жадность.

Но однажды я проявил непростительную слабость. В проходную комнату нашей квартиры поселили красных командиров. Комнату наспех перегородили тесом. Военные нередко приходили с сухим пайком, несли хлеб, масло, сахар. Заходилось сердце при виде этих богатств. То и дело, будто случайно, заглядывал я в комнату новых жильцов с малюсенькой надеждой на угощение. И однажды в моих руках оказался ломоть белого хлеба. Ломоть, да еще намазанный твердым сливочным маслом. Голова разламывалась в поисках решения: пойти в кухню, похвастаться? Тогда придется поделиться лакомством, которого я еще не пробовал. Голод сделал свое дело. Я украдкой ушел в спальню, забрался под кровать и там, в пыли, с жадностью съел хлеб. В животе стало легче, а на сердце лег камень: низкий, паршивый человечишка! Весь день ходил пришибленный. Мать встревожилась:

— Не заболел ли?

Признаться язык не поворачивался, будто присох. Мотал головой: мол, нет.

— Может, кто обидел? — допытывалась мама. — Не дяди ли военные?

— Нет. Они хорошие.

И вопрос на вопрос:

— А почему они в Няндоме? Почему у нас?

— Мал ты еще, сынок, не поймешь. Вырастешь — узнаешь.

— Можно я к ним схожу?

— Нельзя. Не мешай красным командирам. Им нельзя мешать. Они голов своих не щадят за нашу новую жизнь, за будущее таких, как ты, мальчиков.

— А за девочек нет?

— И за девочек тоже. Глупенький ты еще у меня!

А годы шли. В рабочих семьях, как грибы, рождались дети. Рождались больше мальчики. Было холодно и голодно, а матери и бабушки при появлении новорожденного не досадовали: «В

тесноте — не в обиде. Живи, расти на радость!»

В нашем доме живет Шура Иванов. Он чуть постарше меня, но от дружбы со мной не отказывается. Как-то он таинственно спросил:

— Ты у Северного семафора был?

— Не-ет, — растянул я.

— Мелкота! И чего я вожусь с тобой, сам не знаю!

— Возьми меня с собой, Шура! Вот тебе крест — не струшу!

— Крест! — передразнил Шура. — Тоже мне богомолец!

У того загадочного семафора — холмы. Северный склон опоясан окопами, а перед ними колючая проволока в несколько рядов.

— Смотри, брюхо не распори, — предупреждает Шура.

Слева от железнодорожной колеи шепчутся березки, а справа выстроились сосны. Деревья, и среди них только мы двое. По моей спине бегут мурашки.

А Шура, пытаясь приободрить, рассуждает, как взрослый:

— Сейчас что! А вот, как батя рассказывает, было в этих местах очень даже жарко.

— А что здесь было, Шура?

— Как батя начнет рассказывать — рот разинешь.

— Расскажи! — умолял я.

— Давай устроимся поудобнее вон в том окопчике.

Примостились на площадке у бруствера, затянутого дерном. Внизу — болото. С высоты видно далеко-далеко.

— Здесь наверняка пулемет стоял, — размышлял Шура. — Для него, для пулемета, как толкует батя, хороший сектор обстрела нужен.

— Ну, рассказывай, Шура, — поторапливал я.

— Не спеши, дай хорошенько припомнить.

Шура тянулся к ветке малины, срывал спелую ягоду и долго смаковал ее. Потом шарил в сухой траве и находил веточку костяники. Запускал ее в рот. Красные ягодки отрывались, как горошинки от стручка. Когда мое терпение уже лопалось, Шура начинал:

— Так вот слушай, мелкота. Батя говорил, что в восемнадцатом, девятнадцатом и двадцатом годах, когда мы с тобой еще и пешком под стол не ходили, вон там, за Няндомой-речкой, за один городишко дрались наши.

— Ну, а дальше?

— Дальше! — возмущался Шура. — Разве все запомнишь, о чем говорил батя.

— Зачем же хвастался?

— Хвастался! — Шура вскочил. — Да за кого ты меня

принимаешь! Мало я тебе рассказал?

— Не мало. Но как бы побольше узнать?

— Если больше, тогда приходи сегодня к нам. У бати получка. Наверняка пол-литра купит. Выпьют с матерью по стопочке и пойдут вспоминать. А мы с тобой за шкафом притаимся, будто бы играем, а сами будем слушать. Идет?

— Идет!

Но послушать рассказ Шуриного отца про войну не удалось.

Появилась у нас в доме девчонка. Сосет без стыда и совести материнскую грудь. Ей одной внимание всей семьи. То один, то другой наклонится над ребенком, причмокает, посюсюкает, погукает. А на меня — ноль внимания.

Я теперь не младший. Только и слышно: «Подай, принеси!», «Займи сестренку, чтобы не плакала». Чуть подросла девчонка, указания более категоричные: «Погуляй, покорми, уложи спать». Минуты не выберешь, чтобы поиграть в стекляшки или бабки.

А Тамарка, то есть моя сестренка, словно изверг. Молоко холодное в рот не берет, куражится, пока не подогреешь на керосинке. И тепленькое не очень жалует, ей, видите ли, подай еще сахарок вприкуску. Если попробую я, так после меня не хочет, поднимет шум на весь свет, греха не оберешься.

Еще тошнее, когда мама в отъезде. Тогда ты и нянька, и помощник по всяким делам. Вечером старшая сестра, хлопотунья Надя, просит:

— Зажигай, братишка, фонарь. Корову пора доить. Одна боюсь. Ты посветишь, а заодно и крыс поотгоняешь. А то они совсем обнаглели, так и прутся к парному молочку.

Боязно, а виду показывать нельзя: как-никак мужчина.

Корова у нас ласковая, нежная. Мне приходится ее встречать каждый вечер с выгона. Стадо еще далеко, а Краснуха уже заметила, разглядела меня на пригорке. Бежит со всех ног, тянется к краюшке хлеба, посыпанного солью. Слизнет хлеб шершавым языком, как поцелует. Потом идет неторопливо рядом, норовит голову на плечо положить.

Зимой Краснуха дарила теленка. Его, еще влажного, приносили домой, устраивали в углу на кухне, поближе к теплу. Не успеет еще просохнуть малыш, а уже делает потуги подняться. Выставит, как костыли, передние ноги, задерет хвост. Мне разрешали кормить теленка из соски. Глаза у него доверчивые, а я не могу в них смотреть: знаю, что скоро пойдет теленок на мясо.

Резал его отец. Я уходил на весь день из дому, слонялся не в силах побороть тоску и обиду. В голове вопросы, на которые трудно найти ответ: «Зачем так устроен мир? Зачем едят мясо?

Как может отец так просто, собственными руками, без угрызения совести губить живое существо?»

Новое, более тяжкое горе было еще впереди.

Как-то мама вкрадчиво, издалека повела разговор:

— Покосы, сынок, не удались.

Дрогнуло, надорвалось что-то в груди.

А мать дальше:

— Можно бы сена прикупить, да цены такие, что обожжешься. Овчина выделки не стоит.

«К чему все это говорит она? Ведь обычно такие дела они с отцом решают?»

Как в тумане звучали слова матери:

— Продали мы Краснуху мяснику Иванову. Может, сведешь на бойню. Краснуха за тобой — хоть в огонь, хоть в воду. Уважь, сынок.

Вел Краснуху, казнил себя: «Предал я тебя, буренушка».

Бойня — деревянный сарай — находилась на отшибе за леском. Сюда мы с ребятами почти не заглядывали. Противен был запах гнили и парной крови. Краснуха забеспокоилась, но не останавливалась, так как впереди шел я. Недалеко от сарая она уперлась ногами в землю.

Из сарая вышел мясник, петлей накинул на рога Краснухи веревку, предупредил:

— Отойди в сторонку. Твое дело теперь сделано.

Он расставил ноги, поднатужился, потянул поводок. Краснуха ни с места, лишь жалобно, тоскливо мычит.

На помощь мяснику пришел дядька в брезентовом переднике, пропитанном кровью. Жилистые, волосатые руки засучены по локоть. Он захватил в ладонь хвост Краснухи, скрутил его жгутом. Краснуха раздула ноздри, обмякла, тронулась за мясником.

Утром, видно, как было условлено при сделке, доставили на квартиру часть туши.

Ни супа, ни жаркого, ни котлет из мяса Краснухи я не ел.

На берегу пруда возвышается церковь с голубыми куполами. Крупные серебристые звезды на куполе и золотистые кресты горят даже в пасмурную погоду. Церковь влекла к себе людей таинственными церемониями, опьяняющим запахом ладана, ароматом причастия, треском горящих свеч и лампад, блеском риз служителей. Холодок пробегал по телу от множества глаз, устремленных на прихожан с многочисленных икон и росписей под сводами купола.

В праздники, особенно на рождество и пасху, народ валом

валил на службу. Церковный совет не скупился на расходы. Обряды пышно обставлялись. Вокруг церкви с наступлением темноты вспыхивали сотни плошек — железных коробочек, наполненных мазутом. Всю ночь шло богослужение, а под утро по ступенькам парадного входа на улицу спускалась процессия. Впереди шел отец Василий, с густой бородой, в ослепительной рясе, за ним дьяконы, почтенные отцы семейств с хоругвями. Заключал процессию многоголосый хор.

В небо летели фейерверки. Они рвались выше крестов на куполе, рассыпались сотнями разноцветных капель. На ограде шипели колесики с бенгальскими огнями. Крестный ход медленно, степенно шествовал вокруг церкви. В это время в здании церкви убиралась плащаница с телом Христа. Толпа торжественно возвращалась в храм под мелодию, в которой плескалась радость по случаю воскрешения господня.

После богослужения в церкви, потом на улице бесконечные христосования. Целовались даже недруги. Грехи прощались дома и на службе. Квартиры в эти дни преображались. Задолго до праздника женщины выскребали грязь изо всех уголков. В субботний вечер вынимались из комодов скатерти, пикейные одеяла, кружевные накидушки, чехлы на стулья и диваны. В комнатах пахло ванилью, печеным окороком. На столе куличи, пасха, крашеные яйца. Все это добро приберегалось в великий пост, которому, казалось, не будет конца.

Но эти устоявшиеся, казалось, навечно традиции пошатнулись. То в одной, то в другой семье нарушались праздничный мир и благодать. Так случилось и у нас. Старшие братья — Вася, Митя, Леша, Миша — в праздники не бывали дома. Они демонстративно не притрагивались к куличам и пасхе. Повздорив с непутевыми, отбившимися от рук старшими ребятами, отец, чуть захмелевший от домашнего пива, брал меня на руки, гладил по голове, спрашивал: «Кого больше любишь, сынок, папу или маму?»

Мыслишки раздваивались. Хотелось отблагодарить отца за ласку. И в то же время, не дай бог, обидеть маму, которая сидит рядом и смотрит на меня повлажневшими глазами, надеется на мою мудрость.

Я обнимал отца и, зарываясь в пропахшую махоркой бороду, отвечал:

— Обоих вас люблю: и папу, и маму, вырасту — не дам в обиду.

— Молодец, умница, — заключал отец.

Выше такой похвалы, наверное, не бывает. А в голове: «Почему? Почему?», на которые нет ответа. «Почему перестали

почитать папу и маму старшие братья? Почему они не едят вкусных куличей? Почему не пробуют пасху?»

Братьями можно гордиться, хотя и обидно, что на меня смотрят свысока. Да что поделаешь? У них свои интересы. Я для них, пожалуй, как мелкая рыбешка, случайно попавшая на крючок. Ее стыдно нести домой на уху, лучше бросить обратно в воду, пусть погуляет, подрастет.

А все-таки очень хочется подкатиться к кому-нибудь из старших, пооткровенничать. Улучив как-то подходящий момент, приласкался к Алеше. Он, как и я, блондин. Остальные — черные как смоль. Может, рыжий рыжего скорее поймет. Уткнулся в колени братишке, всплакнул.

— С чего это ты? — удивился Леша, заглянув в глаза мои, полные слез.

— С вами, с мужиками, дружить хочу, а то все с мамой да с мамой. В женскую баню стыдно ходить. Ребята дразнятся, бабником обзывают.

— Так ведь мал ты еще. Митя пионерским кружком верховодит. Туда тебя не примут. Силенок не хватит в походы ходить, не сумеешь костры жечь, картошку на углях печь. А я вечерами занимаюсь. Спать тебе в эту пору надо, да и мама не пустит.

— Пу-стит, — уверял я.

Брат ничего не обещал, но, видно, моей просьбы не забыл. Как-то он предупредил:

— Завтра я могу взять тебя с собой на генеральную репетицию. Роль для тебя есть, один артист заболел.

Мама слышать не хотела про Лешину затею. Она с горячностью толковала:

— Они, паршивцы безбожники (это мои-то братишки!), где-то бродят вечерами, нацепили красные галстуки, повесили значки, икону в своей комнате сняли. В день службы в церкви какие-то спектакли устраивают. Все хотят добиться, чтобы народ в храм не ходил. Они, видите ли, не хотят жить по-старому. Ну и живите по-новому, не ходите к батюшке! А нас-то, старых, зачем обижать? Это надо придумать — голодовку объявили. А мне, матери-то, каково? Для них же, стервецов, жарила-парила. Стыдно порядочным людям в глаза смотреть. И ты по этой же стежке хочешь идти?

Жалко было маму, но и отступать не хотелось.

— Пойду я с Лешей, мама, ты уж не сердись. А от куличей и пасхи я не буду отказываться. Пойду я с Лешей, мама?

Театром называют нашу новую школу. Рабочие парни, в том числе и мой брат Леша, соорудили в спортивном зале сцену,

сшили занавес. Здесь все, как в настоящем театре. Есть рампа, будка для суфлера, скамейки для зрителей.

Большим успехом пользовался спектакль «Ванька-ключник». А теперь готовилась новая, революционная пьеса, я не помню, как она называлась. Леша провел меня за кулисы, предупредил, что выступать мне еще не скоро, мол, наблюдай, входи, как у них говорят, в роль.

Кого только нет на сцене! Мужчины во фраках, женщины в пестрых платьях, белогвардейцы в кителях с погонами, рабочие парни и девчонки в спецовках. Все они то группами, то в одиночку выходят на сцену и разговаривают, поют, пляшут, а я жду. Прошло два действия. Похоже, что дело идет к завершению. И тут режиссер объяснил мне: «Ложись на эту кровать и крепко спи». Он хлопнул ладонями и скомандовал:

— По местам!

Вспыхнули лампочки в рампе, сооруженной из жести. Медленно поплыл в стороны занавес. На сцену вышел парень в рабочей куртке. Это был Леша, мой брат. Я его сразу узнал, даже под гримом. Навстречу ему с другой стороны выскочил офицер. В центре сцены против моей кровати они встретились, смерили друг друга недобрыми взглядами. Слово за слово, и перебранка. Леша выхватил из кармана брюк наган, «выстрелил» почти в упор. Противник рухнул как подкошенный. На кителе появилось красное пятно. Весь этот ужас я наблюдал, вытаращив глаза, и чуть не закричал от страха.

Занавес закрылся. Убитый, к моему величайшему удивлению, встал как ни в чем не бывало. Пришел режиссер, похвалил Лешу, дал какие-то советы офицеру, а указав на меня, резко сказал:

— Ребенок вел себя преотвратительно, пялил глаза, хотя ему полагалось спать. Надо же понимать, что во время конспиративной встречи никаких свидетелей не должно быть!

У меня сердце ушло в пятки: как бы не прогнали, не лишили роли.

На премьере я выполнил все требования режиссера. Лежал на голых досках на боку лицом к зрителю. В щеку впилась, как иголка, палка из подушки, набитой свежей стружкой. Я даже не шелохнулся, пока меня «не разбудили» уже после спектакля.

— Что с тобой? На лице кровинки нет? — испугался Леша.

— Не дышал, чтобы спектакль не испортить, — робко ответил я.

— Ну и артист! — воскликнул режиссер.

Я так и не разобрал: похвала это была за усердие или издевка.

На спектакле был брат Миша, был и Шура Иванов. От

представления тот и другой были в восторге.

— Ну, а я как сыграл? — спросил я друга.

— Ты? — удивился Шура.

— А кто же еще, как не я?

— Не врешь?

— Еще чего скажешь, — обиделся я.

— Не сердись, — похлопав по плечу, примирительно сказал Шура. — Я тебя на представлении почему-то не разглядел…

НАША УЛИЦА

Сколько же на нашей улице забав и радостей! Во дворах и на огородах собираем стеклышки, кусочки фарфора от разбитых чашек, блюдечек, тарелок. Разложишь их — удивительная мозаика. Когда попадается несколько кусочков от одной посудины, можно поменяться с ребятами. Другое наше богатство — бабки. Лихо играет в бабки Шура Иванов.

Шура играть соглашается не сразу. Он обычно облизывает мясистые губы, меряет взглядом с ног до головы, спрашивает:

— Матери не будешь жаловаться, если проиграешь?

— Нет.

— Тогда сыграем. Тащи бабки.

Шура развернул мой мешочек, высыпал бабки на землю и с презрением заключил:

— Жидковато. Стоит ли мараться?

— Сыграем, Шура, — умолял я.

— Ну ладно, ставь кон.

Дрожащими от нетерпения руками выстроил бабки по ранжиру по две в ряд. Впереди самая крупная — бабка-командир.

Саша отмеривает от строя пятнадцать шагов, проводит щепочкой черту — огневой рубеж. Достал из кармана грош, спросил: «Орел или решка?»

— Решка.

Грош полетел в воздух, упал со звоном, покатился колесиком и, наконец, лег.

— Орел! Мой зачин! — просиял Шура.

Он неторопливо, враскачку, как солидный мастеровой, пошел в кладовку, долго там копался, вернулся с огромной бабкой. Такую я еще не видывал. Конский, наверное, костыль. Подумал про себя: «Нечестно так играть. От этой болванки телеграфный столб рухнет, не то что мои беленькие, не бывавшие в бою бабки». Шурка заметил бледность на лице, выпалил:

— Что, лихорадит? Сам промашку сделал. Надо было договориться, кто каким костылем будет бить. А теперь поздно. Плакали твои костяшки.

Шура подошел к черте. Большим пальцем босой ноги нащупал рубеж, кивнул мне: «Смотри, мол, играю честно». Он зажал костыль в правой руке, поднес ее к переносице, сощурил левый глаз, занес руку за плечо — и трахнул!

Треснули кости. Жутко стало мне — в строю ни одной моей бабки! Пропало все богатство. Теперь жди, когда будут при случае варить студень.

Шурка вытащил из кладовки куль, набитый бабками. Горстями, не считая, положил туда новую добычу, ухмыльнулся, глянув на меня.

Мой жалкий вид тронул черствое Шуркино сердечко. Он сунул руку в куль, ощупью выбрал бабку и швырнул ее мне:

— Бери на разживку. Я не жадный!

Схватив бабку, я очертя голову понесся домой, опасаясь, что Шура вдруг пожалеет о своей щедрости. В комнате осмотрел бабку и ахнул: молодец друг! Подарил не простую бабку, а налитую свинцом. С такой можно надеяться на удачу!

Вечером играли в городки, гоняли лапту. А бабы собирались то на одном, то на другом крылечке. Судачили, зевали, крестились. От нас, несмышленышей, у них секретов пока не было. Сиди хоть весь вечер, разевай рот.

И мы иногда сидели.

— Да, Михайловна, досталось нам в гражданскую, — вздыхала мамина подружка Евдокия Ивановна.

— Не говори, Ивановна. Правдами и неправдами добирались в те годы к Белому морю. Пробивались и по железной дороге через Емцу и Обозерскую, и по Онеге из Каргополя, и по Ваге и Северной Двине из Шенкурска.

— Сколько страхов натерпелись. И все из-за чего? Сказать сейчас смешно: из-за понюшки соли.

— Из-за нее, этой соли, до сих пор на пояснице следы остались.

— И не говори. Возили в поясочках, под одежонкой. Посмотрят со стороны: в положении баба, да и только! А поясочек жгет, как огонь.

— Про ту боль забудешь, как схватят то белые, то чужеземные солдаты. Не говорят, а лают, ни лешего не поймешь. Только большой живот и спасал. Поиздеваются, поиздеваются — и отпустят. Какой прок бугаям от беременных баб?

— Не помнишь, Михайловна, как деревенька под Шенкурском называется, где мы с тобой чуть не сгорели?

— Где уж помнить!

— Солдаты гавкают — ничего не разберешь. А потом на русском языке слышим приказ: «Из домов не выходить!» Смотрим в окошко, а чужеземцы крылечки домов чем-то обливают. А один верзила с факелом ходит. Занялся пламенем и дом, где нас приютили. Михайловна почала бога молить, чтоб спас от погибели… Пока ты, Михайловна, поклоны била, я заметила, что поджигателей как ветром сдуло. Вместо чужеземцев на улице наши мужики с берданками появились, кричат, чтобы выбирались из огня.

— А я, Ивановна, что-то тех мужиков с берданками и не помню.

— Где тебе, Михайловна, помнить, коль ты с богом разговаривала. А те мужики себя партизанами назвали.

— А я, Ивановна, до сих пор думала, что в тот момент моя молитва нас и спасла.

— Ой, мочи нет, бабоньки! Помогла бы тебе, Михайловна, молитва, если бы те мужики американцам по шапке не дали!

— И чего этим американцам да канадцам на нашей земле понадобилось? — вступила в разговор наша соседка Вера Петровна.

— Газет мы не читаем, Петровна. Чего услышишь от умных людей, тем и живешь. Не помнишь, Михайловна, как мы с тобой в одной деревеньке на Онеге были?

— Это там, где мужики какое-то письмо американского офицера читали?

— Там, там!

— Одно место из того письма помню: будто бы богатая Америка пришлет крестьянам России муку и что угодно, если они, мужики, не будут поддерживать большевиков, а не то по-другому разговаривать будут, будто бы Америка разбила Германию, а Россию-то им уничтожить ничего не стоит.

— Ишь чего захотели! Ждите, когда рак свистнет!

— Ты, Наденька, на телеграфе работаешь, — обратилась к моей старшей сестре Вера Петровна. — Через тебя разные документы идут. Пояснила бы нам что к чему.

— Что принимаю, что передаю — секрет. Под пытками не скажу.

— Скажи о том, о чем можно.

— Недавно комиссар про гражданскую войну рассказывал. Запомнила, что сам Ленин похвалил красных бойцов на Севере.

— Неужто сам Ленин? Побожись!

— Можно ради такого и побожиться.

— А что еще тот комиссар рассказывал?

— Он на карте показывал, как две стрелы — одна с Севера, то есть от интервентов, от Шенкурска, а другая из Сибири, то есть от Колчака, — должны были соединиться не то в Вятке, не то в Котласе. Не видать бы нам, архангельским да вологодским, Москвы как своих ушей.

— Ой, не пугай, девка! — всполошилась Вера Петровна.

— А я и не пугаю. Дело это прошлое. Самой было приятно узнать, что войска, наступавшие из Няндомы на Шенкурск, показали интервентам, где раки зимуют.

— Попытать бы того комиссара поподробнее, — мечтали

бабы.

— Где его попытаешь, он в Вологду уехал.

— Вот досадушка-то! — огорчались соседки, расходясь спать.

Нам не доводилось носить обновок. Одежда и обувь доставались по наследству от старших. Нас это не унижало, а, пожалуй, наоборот, радовало. Раз впору одежонка со старшего, значит, мы уже не маленькие. Только поскорее бы настало время, когда нам дадут носить с самых старших.

На нашей станции появились люди с деревянными ногами и на костылях. Нередко они ковыляли домой во хмелю с песнями:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога:
Сапогов немного надо
И порточина одна!

— Чего уж в том хорошего! — заключал Шура.

«И в самом деле: чего?» — думал я.

Шура, не знаю, с каких хлебов, тянулся в рост. Он выше нас на целую голову, а раз выше, — значит, само собою разумеется, авторитет, вожак. Его советы и приказы для нас — закон.

Шура заядлый рыбак. На озере Островичном он соорудил бот. Долго и терпеливо долбил ствол спиленного дерева, как дятел, выклевывал середку. К стволу, справа и слева, прикрепил широкие крылья-тесины.

У Шуры много лесок и крючков. Меня и Витю Хрусталева на рыбалку не пускали: не умеем плавать.

— Мальки! — ворчал Шурка. — Объяснить матерям не умеете, с кем дружите.

Под напором Шуры я пошел в атаку.

— Мам! Пусти на рыбалку.

— И слышать не хочу. Еще утонешь.

— Но у Шуры бот. Он почище любой лодки. Качай не раскачаешь, не то что волна, пусть даже большая.

— Правда, правда, — поддакивал Шура.

— Ладно, бог с вами, идите. Но хорошенько помните: кто утонет — на мои глаза не попадайся.

Вечером за сараями в навозных кучах копали червей. В банке с землей копошится наживка всех калибров — для крючков больших и маленьких.

Островичное окружают горы, зеленые холмы. С берегов, поросших осокой, едва просматриваются островки. На них стройные корабельные сосны.

Шуркин бот в надежном укрытии в густом кустарнике. На суденышке он соорудил три сиденья.

— Знаю одно рыбное местечко, — уверенно заявил Шура.

Вода в Островичном холодная и прозрачная как слеза. Видно, где-то там, в глубине, бьют родники.

Шура останавливает бот у самого большого острова. Снимает с крыла длинный шест и опускает его через круглое отверстие в тесине на дно. Солнце клонится к горизонту. Начинается вечерняя зорька.

— Мы на якоре! — поясняет Шура. — Лучшей поры для клева не придумаешь.

Сам он устроился на корме. Нам с Витей предложил сесть подальше, а то невзначай вместо рыбы за ухо кого-либо можно зацепить. Среди водорослей снует рыбешка. Ее хорошо видно. Определяя на глазок глубину, устанавливаем поплавки. Крючок с наживкой под тяжестью груза поплыл вниз, остановился.

К розовому комочку на крючке подплыла серебристая рыбка. Поплавок качнулся, от него пошли по воде круги. Рыбка вроде заглотнула червяка. Пора! Дернул удочку что было сил. Крючок — чистый. Обманула, обвела, проклятая!

Шура говорит:

— Это сорога. Хитрее ее на свете нет. С ходу она наживку никогда не берет, сначала обнюхает, дернет за самый кончик — и, как воровка, в сторону.

Руки дрожат. Жирный червяк извивается, никак не хочет лезть на крючок. А Шурка, как назло, тянет одну рыбу за другой. Уже бьются в его сумке ерши и окуни. Он закинул сразу три удочки. Две с тонкими, едва различимыми лесками — на окуней и ершей, а большую удочку с крученой леской и крючком, похожим на якорь, с блесной и живцом, забросил подальше от бота — на щуку.

Секретов своих он не раскрывает. Уж так, видно, повелось в наших местах — познавай все премудрости сам: не намучишься, так и не научишься.

Сорога хитра, да труслива. Вот она исчезла. Под нами засновали стайки рыбок с черными спинками. Мы с Витей перестали суетиться: забросим удочку, терпим, ждем. Висит крючок в глубине, замер поплавок. Носятся над водой стрекозы. Как на мед, прут на нас с Витей нахальные комары. Лицо и шея в волдырях и кровавых пятнах. Шура ухмыляется. Он достал пачку «Сафо», дымит. Комары летят от него к нам с Витей.

— Закуривайте, горе-рыбаки, — говорит поучительно Шурка, протягивая две папиросы.

Витя задымил. Даже не поперхнулся. Видно, не первый раз

балуется. Раскурил папироску и я. В горле обожгло. Закатился, как коклюшный. Выплюнул папиросу, решив: пусть лучше жрут комары, чем принимать такую отраву.

В этот момент поплавок дрогнул раз, другой, а потом стремительно пошел под воду. Потянул удочку на себя. Она выгнулась. На крючке, наверное, пудовый груз. Леска чуть-чуть подалась. Удочка затрепетала. И вот над водой на крючке окунек величиной с большой палец. Расхохлился, как наш петух. Крючок в животе, едва вытащил его вместе с потрохами.

Уха из моего первого улова все же получилась. Мама сварила ее в маленьком горшочке. Варево было жидковато. Но об этом дома вслух никто не говорил.

Шурка как-то упрекнул:

— Парень большой, скоро в школу, а плавать не умеешь. Разве научишься, если смелости нет?

— Пробовал — не получается.

— Пробовал? Это на мелком-то месте! Пойдем на Карасово. Там дна нет. Сразу пловцом будешь.

Карасово было когда-то большим озером, а теперь почти совсем заросло. Шурка сноровисто скинул свою одежонку — и плюх нагишом в воду. Плыл большими саженками к плоту, который покачивался на середине озера. Забрался на сбитые бревна, разлегся, светится весь серебристыми капельками-чешуйками, кричит. Голос его эхом катится по болоту:

— Раздевайся — и в воду!

Берег зыбкий, качается подо мной. Вместо дна мшистые водоросли. Вода зеленая. Страшно!

— Долго тебя ждать? — командует он.

Была не была — прыгнул. Хлопал руками по упругой воде. Глянул: до Шурки далеко, как до неба. Не дотянуть. Никак не удается выровнять тело. Ноги предательски опускаются в пучину. Наглотался воды, пахнущей плесенью.

Пришел в чувство на берегу. Шурка торопливо делал искусственное дыхание, несказанно обрадовался, когда я открыл глаза, и объяснил:

— Вытащил за волосы. Как это тебя угораздило? Других так же учил, получалось. Почему у тебя все шиворот-навыворот?

С тех нор ноги моей на Карасово не было… Шура давать уроки плавания больше не предлагал.

Пуще всего любили мы наше короткое северное лето. Весна начиналась белыми ночами. Матери не в силах были загнать нас спать. По часам уже полночь, а на небе полыхает вовсю закат. Небольшие сумерки тут же едва уловимо сменяются яркой утренней зарей. Природа в эти дни почти не дремлет. Леса, поля,

луга бодрствуют круглые сутки, оживают не по часам, а по минутам. Первая летняя ласточка — нежный, пахучий, липкий березовый лист. Ветками березы украшаются в троицу жилища и дворы.

Отныне лес становится нашим вторым домом. На первых порах бродим в березовых рощах, ельниках, сосновых борах. Полянки расцвечены желтыми бубенчиками, в ложбинах анютины глазки, ландыши, дурманящие голову.

Гремят грозы. Засучив штаны, босиком, сломя голову мы носимся по теплым лужицам, кричим во всю глотку:

— Дождик, дождик, пуще, дам тебе гущи, хлеба каравай, только больше поливай!

Эта шальная радость пролетает мгновением. Во всех семьях твердят: «Делу — время, а потехе — час». Слипаются глаза от сладкого беспробудного сна, а мама тормошит:

— В лес пора!

Пока заготовляли веники, поспела земляника. Ползали по косогорам, ощупывали кустарники, собирали ягодку по ягодке. Редко какая из них попадала в рот. Все в стаканчик и в стаканчик, чтобы можно было похвастаться — набрал не меньше других.

Вечером во дворах разжигались таганки. Драили кирпичным порошком выдворенные из пыльных кладовок медные тазики с деревянными ручками. Кипело, пузырилось варенье. Нам доставалась только розовая пенка, намазанная на ломоть хлеба. Банки с вареньем убирались подальше от наших глаз, до зимы.

Зрела малина, черная и красная смородина, черника. Ягоды варили, сушили. Все пригодится в долгую зиму, пригодится чаще всего не как роскошь, а как лекарство. Последние ягоды — брусника и клюква. Их собирали без большой радости, таскали, обливаясь пóтом, большущими корзинами. Было немножко грустно, так как по всем приметам близка уже осень.

Пролито немало пота и в походах за грибами. В июле собирали подосиновики и подберезовики. Они в тот же день шли на сковородку. Царь всех грибов — белый. Он растет только в дальних сосновых борах, где редко ступает нога человека, маскируется почище птицы и зверя. Поиски белого гриба — таинство. У мамы всегда раньше других из всей семьи полное лукошко. Она, заметив зависть, учит:

— Ты не спеши, родной, не рвись: белый гриб — гордый. Он не терпит жадных, азартных людей. Любит терпеливых, выносливых, ласковых. Ты приглянись ему. Он тогда скажет: «Бери меня, бери всю семью. Только нежнее, без боли выдирай. Грибницу с корешка очисти, оставь для приплода». — Ласково поглаживая коричневую головку гриба, добавляла: — Ароматнее

наших северных цветов, ягод и грибов на свете нет. Почему, спросишь? Лето наше мимолетное. Любая травинка торопится жить, отдать себя людям, порадовать их своей нежностью.

Белыми грибами завален стол. Их бережно чистим, раскладываем рядками на противни, отдельно корешки, отдельно шляпки. Все это богатство ставится в русскую печь, на умеренный жар. Комнаты постепенно наполняются густым ароматом. Этот пряный запах держится неделями.

Осенью в лесу — все цвета радуги. Горят рубином гроздья рябины. Золотом зазывают к себе березы и осинки. В холодные росы растут ядреные грузди, розовые рыжики, волнушки. Они идут на соление. Парная картошка и грибы, заправленные постным маслом и луком, — привычный завтрак в любой рабочей семье.

Не унывали мы и зимой, когда окна сплошь затягивались причудливыми узорами. Катались распаренные на санках, прокладывали лыжни по лесным просекам, прыгали на одном деревянном коньке по колеям, отполированным многочисленными обозами.

Мигом набегавшие сумерки загоняли домой. Раздевшись, спешили на печь, полную нежного тепла. Ждали, когда вернутся старшие.

Шура Иванов и Витя Хрусталев — частые гости в нашем доме. Они в первую очередь с почтением кланяются папе. Он у меня молчалив, суров на вид, но по-скупому ласков.

Мой отец, Александр Дмитриевич, как его почтительно величали знакомые, имел по тому времени сносное образование. В его деловых бумагах бережно хранился похвальный лист об окончании церковно-приходской школы. Особое пристрастие имел к чтению. Даже в годы, когда бюджет семьи был напряжен до предела, отец выписывал «Ниву» со всеми приложениями. После работы зажигал керосиновую лампу, висевшую на столе над его стулом, неторопливо натягивал очки и читал от корки до корки. В эти часы он ничего не видел и не слышал. Уже поздно, перед сном, рассказывал нам кратко о прочитанном. Он просто, по-своему судил о том, что творится в мире. Владычицу морей и океанов Великобританию, которая не признавала СССР, он явно не терпел, так как хозяева этой империи, по его заключению, объезжают на вороных политиков других государств. За красивыми речами и благородными жестами кроются волки в овечьей шкуре. Лорды мягко стелют, да только жестко спать.

Как-то старший брат Митя принес пожелтевшую от времени подшивку газеты «Наша война».

— Она в Вологде выходила, — пояснил Митя. — Выпускал

эту газету политотдел Шестой армии. Может, эта подшивка заинтересует тебя?

Папа не отрывался от газеты много вечеров. Особенно его заинтересовала статья «Шенкурская операция». Перечитал ее не один раз и, наверное, знал наизусть.

— Толковали Шенкурск да Шенкурск, а сами до сих пор толком не знали, что там творилось. Теперь ясно, ради чего трудились мы до седьмого пота в те годы в нашем депо, — восторгался отец.

Из рассказов отца узнали мы, что к концу 1918 года фронт противника в районе Шенкурска вдавался выступом в расположение красных частей. Интервенты того и гляди могли ударить по флангу наших войск, действовавших на архангельском направлении. Ленин следил за обстановкой на Северо-Двинском участке фронта. Американцы, канадцы и белогвардейцы опоясали город окопами о проволочными заграждениями, соорудили много пулеметных гнезд и артиллерийских позиций.

— Теперь понимаю, почему столько войск шло в конце восемнадцатого через Няндому, — рассуждал отец. — Оказывается, в эшелонах прибыл к нам из Петрограда «железный батальон» в составе четырехсот бойцов, рота рабочих Рождественского района Питера. Из резерва армии двинулись под Шенкурск десять полевых пушек и тяжелые орудия, снятые с крейсера «Рюрик».

Отец радовался, как ребенок, что хоть и задним числом, а узнал, что войска, которые провожала вся Няндома в сорокаградусный мороз в январе 1919 года, участвовали в штурме Шенкурска и захватили 15 орудий, 5 тысяч снарядов, 2 тысячи винтовок, 60 пулеметов, 3 миллиона патронов.

Через рассказы отца пришли в наш дом имена командиров и героев войны на Севере: командующего Северо-Восточным фронтом М. Кедрова, военкома Н. Кузьмина, командира полка, а потом бригады И. Уборевича, П. Виноградова, Хаджи Мурата Дзарахохова, И. Куприянова.

— Корпели в депо и не знали ни имени ни отчества тех, кто нас защищал. А люди, а люди-то какие! Ты только послушай! — восхищался отец.

Многие вечера начинались с этой фразы: «Ты только послушай!»

— Николай Николаевич Кузьмин, — называл отец. — С девятьсот третьего года в партии. Окончил и гимназию и университет. И математик и медик! В наших северных тюрьмах сидел в царское время. И в Италии побывал! Послушай, какую Кузьмин в девятнадцатом году телеграмму Ленину посылал:

«Спешу порадовать победами наших войск на далеком Севере. Четырнадцатого октября после трехдневного пехотного и артиллерийского боя под умелым руководством комбригады Уборевича наши малочисленные части взяли благодаря глубокому обходу хорошо укрепленную деревню Сельцо на левом берегу Северной Двины и само собой пал неприступный Городок на правом берегу, покинутый в панике англо-американскими войсками, несмотря на полученное ночью подкрепление в пятьсот штыков».

Невдалеке от Емцы дрался в те годы и Петроградский полк, в котором сражались участники штурма Зимнего. Здесь бились части под командованием 22-летнего Уборевича, добровольческий батальон рязанцев. Силы были далеко не равными. Тридцатитысячная армия интервентов, белогвардейцев и только четыре тысячи красных бойцов. Четыре тысячи! Но чего стоил каждый!

Рабочие Исакогорки организовали головной ремонтный бронепоезд. Комиссаром его стал слесарь Исакогорского депо Федор Луков. В Архангельске интервенты замучили жену Лукова и троих его детей. В живых остался лишь один сын, которому удалось перебежать линию фронта. Личная трагедия не согнула комиссара. Бронепоезд делал свое дело. Федор Артемьевич Луков награжден орденом Красного Знамени.

В феврале 1920 года Архангельск стал советским. Эта победа была рапортом бойцов Севера IX съезду партии.

Позднее отец оживился еще больше:

— Ну, мать, теперь заживем! Последних интервентов сбросили в Тихий океан. По всем приметам, крепнет наша Советская власть. Все идет, как предсказывает Ленин! Хорошо, что и наши ребята ко времени подросли. Добрая подмога будет нашему рабочему государству. Тянутся к книге, работают. Вижу — хороший у них будет путь!

На другой день, раскрыв сундук с книгами, где лежали собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Некрасова, Достоевского, Чехова, отец сказал:

— Теперь все это ваше, распоряжайтесь! Знаю, что сбережете.

Книги были в мягкой обложке (видно, экономил отец при подписке). Ребята принялись переплетать. Мне и гостям — Шурке и Витьке — разрешалось только наблюдать. Переплетный станок самодельный. Толстая отполированная наждаком и покрытая светлым лаком доска. К ней прикреплены стропила. В раме сверху вниз натянуты четыре пары шнурочков. Снует в руках

Леши иголка с суровой ниткой. К шнурочкам петельками прикрепляются книжные тетрадочки. Сшитый блок зажимается под пресс, тоже самодельный. Три сторонки блока подчищаются острым как бритва ножом. Отлетают в сторону тонкие полоски бумаги. Блок становится белым, почти новеньким. Пресс отставляется в сторону.

Пришел черед кроить корешки из суровой материи, резать картон и пеструю, как обои, бумагу для обложки и форзаца. Два кусочка картона, две полоски бумаги, лоскуток материи, смазанные клеем, — и крышка готова.

— Теперь стоп, пора спать, друзья. Приходите завтра. Вместе завершим дело, — говорит Леша.

Едва дожидались вечера, когда с работы приходил Леша.

Брат разогревал клей. Отжатый под прессом блок вставлял в крышку, подклеивал форзац. Вершилось на наших глазах чудо. Еще вчера старые, потрепанные листы ложились в красивый переплет. Книга полежит еще раз под прессом, а потом будет жить долго, может быть, вечно.

Самые ходовые книги — учебники, справочники по паровозному и слесарному делу — стояли на полках, сооруженных братьями. Собрания сочинений Леша спрятал в деревянный сундук. Закрывал его замысловатым ключом. При повороте его внутри играла музыка. Жалко, конечно, что книги не дают мне, Шуре и Вите. Видно, не пришла еще пора иметь нам с ними дело. Вот пойдем скоро в школу, тогда видно будет. Не так уж далеки деньки, когда мы сами по слогам прочтем первое печатное слово.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Январь принес морозы. Густыми узорами заплыли двойные рамы в окнах, припудрились инеем дверные петли. Над крышами с утра до вечера поднимались стрелы сизых дымков, уносящих в бездонное небо домашнее тепло.

С той минуты, как телеграф принес весть о том, что здоровье Ильича ухудшилось, в доме установилась какая-то гнетущая тишина. Отец, и без того не отличавшийся разговорчивостью, будто совсем онемел. Притихла вся семья.

В темный, звенящий от стужи вечер тревожно заголосил гудок паровозного депо. А на следующее утро над крылечками домов железнодорожного поселка повисли красные с траурной каймой флаги. Горе словно носилось в воздухе. Суровые, с каменными лицами отец и старшие братья спозаранку уходили к станкам, работали с остервенением не одну смену, будто мстили невидимому врагу, отнявшему у них самое дорогое.

Мне, младшему, наверное, было горше всех. Слонялся из угла в угол, не зная, как убить время. Хорошо еще, что сегодня дома сестра Кланя. Она, выполняя домашнее задание, раскрыла книгу. С обложки учебника смотрел на нас человек с добрым взглядом. Его проницательные, с прищуром глаза следили за нами. Он даже на бумажном листочке был живым и, казалось, советовал нам:

— Учитесь, дети, учитесь! Впереди у вас большие дела.

Многое, что творилось в те годы, было непонятным не только нам, ребятишкам, но и взрослым.

Повырастали, как поганки, лавочки, ларечки, забегаловки. Распрямились, обнаглели частники. Свысока смотрели на людей вновь появившиеся купцы Самодуров и Иванов. В их лавках снова пахнет колбасами, печеными окороками, сыром. Ломятся полки от ситца и сукон. За стеклянными лотками — ленты, бусы, оловянные солдатики, ваньки-встаньки. Соблазн на каждом шагу: лотошник с петушками-леденцами, тележка с мороженым, тетка с корзинкой, в которой дымятся розовые, пропитанные маслом пирожки, китаец с бумажными фонариками.

Разбегаются глаза, текут слюнки. Просьба за просьбой:

— Мам, купи…

— Потерпи, денег нет.

— Как же нет? Папа только вчера получку получил?

— От получки той ножки да рожки остались. Слава богу, хоть с долгами рассчитались.

— Какие еще долги? Скажешь тоже!

— Да с тобой же ходили и к Иванову, и к Самодурову, брали то да се, а ведь все без денег, все в кредит.

В то трудное для семьи время демобилизовался из армии старший брат Вася. Смуглый, черноглазый, с белыми, как надкусанная репа, зубами. Работящий он у нас, заботливый. А приложить силы не к чему. Невмоготу ему было сидеть на шее отца, хотя никто и не собирался его в чем-то упрекнуть.

Однажды, вернувшись с собрания, на котором решался вопрос о создании кооператива, он заявил отцу:

— Пойду работать в кооператив. Я еще в коммерческом училище кое-какую счетную науку прошел.

Отец неодобрительно поморщился, покачал головой:

— Подожди немного, не торопись. Может, в депо работа найдется. Все же мы рабочая косточка.

Вася с жаром, которого никто от этого замкнутого парня и не ожидал, стал доказывать отцу, как важно развивать государственную торговлю, чтобы померяться силами с нэпманами, а потом бить их в хвост и в гриву.

— Ленина, Ленина ты читал, отец? — спрашивал Вася.

Он на память цитировал выдержки из последних ленинских работ насчет соревнования с простым приказчиком, с простым капиталистом и купцом. Настойчиво, горячо доказывал Вася свое желание идти в торговлю.

После раздумья отец махнул рукой:

— Ладно, сынок, вольному воля…

В кооперативе денег не выдавали. Вместо заработной платы можно было получать натурой. Вася приходил домой то с большим кульком медовых пряников, то с повешенным на шею кольцом баранок.

«Не так уж плохо, — думал я про себя. — Братишкины гостинцы, пожалуй, получше денег. Мама ни за что бы не купила таких вкусных вещей. А тут что ни день — лакомство. Ешь, обливайся по́том за вечерним чаепитием. Вот какое настало житье! А все потому, что платят натурой!»

В тот год я пошел в школу.

Не помню, какими словами начала первый урок наша учительница Александра Николаевна Размаринская. Только в ее обращении к нам было что-то теплое, семейное. Эта старая женщина показалась нам доброй и нежной, такой же нужной в жизни, как мама.

Лицо у Александры Николаевны в морщинах, под глазами мешочки. Она вывела в люди многих парней и девчат. В каждой рабочей семье есть ее бывшие ученики и ученицы.

Теперь сели за парты мы — ровесники Октября. Учительница ободряет нас лаской, добрым словом.

— Молодцы! — говорит она. — Вот и научились писать, читать, хотя и по складам. Было время, когда таким же девочкам и мальчикам не приходилось узнать школьных радостей. Многие ваши мамы не умеют писать.

Однажды вечером, выждав момент, когда мама перемыла посуду, прибралась, села на минутку отдохнуть, сложив руки под фартуком, я сказал:

— Мам, наша учительница Александра Николаевна говорила про ликбез… Может, мы с тобой позанимаемся?

— Еще чего выдумал? Зачем мне учеба на старости лет?

— Совсем ты не старая. Наоборот, красивая, лучше всех.

— Пробовали, сынок, заниматься со мной и Надя, и Леша, и Кланя. Да ничего из этой затеи не получилось. Видно, я бестолковая.

— Зачем же так, мама. Умная ты, горазда на все. Давай попробуем.

Мама неловко зажала карандаш между пальцами. Я обхватил их и помогал выводить слово. Оно получалось у мамы жесткое, корявое, такое же, как и ее пальцы с суставами, изувеченными ревматизмом.

— Говорила я тебе, что ничего не получится, — с досадой сказала мать и отложила в сторону листочек.

— Я виноват, а не ты, мама. Плохой пока из меня учитель. Разве кто начинает учить писать на белом листочке? Завтра попробуем на другом — в косую линейку.

Не скоро, но все-таки свою фамилию мама стала выводить. Не по-ученически, а по-своему. Буквы были не чьи-нибудь, а только ее, мамины. Потом она не только наедине со мной, а и на людях уверенно, без стеснения выводила семь букв своей фамилии. Писала карандашом и ручкой. В глазах ее светилась радость: можно отказаться теперь от крестиков. «Добился-таки своего самый малый, самый настырный!» — сказала она как-то.

К тому времени ввели в школьную программу иностранный язык. Приехала в Няндому преподавательница Ревека Мироновна, женщина средних лет, сдобная как пышка, какая-то игрушечная, непохожая на настоящую учительницу. Уткой вплывала она в класс. Мы вскакивали и гаркали всей группой:

— Гутен таг!

Ревека Мироновна что-то объясняла, но все ее слова были для нас потемками. Тоскливые минуты уроков иногда сдабривались нашими шутками над чудаковатой учительницей. Саша Иванов на перемене положил на стул учительницы кнопку. Ревека

Мироновна, ничего не подозревая, села. Лицо ее сделалось восковым. Она порывисто встала, смахнула со щеки слезу, начала урок. Злая Сашкина шутка, но что поделаешь. Ребячье озорство не знало пределов. Побороть его, урезонить шалунов можно было только увлекательным уроком, а назидания Ревеки не достигали цели.

Витя Хрусталев принес в школу лягушку. Он то и дело вытаскивал ее из кармана. Девчонки с визгом разбегались от него. Во время перемены Витя спрятал в стол тряпку от доски, завернув в нее свою замученную лягушку.

Ревека Мироновна, начиная урок, собралась вытереть доску. Открыла ящик стола. На нее прыгнула из темноты очумелая лягушка. Ревеку как ветром унесло из класса. Вернулась она с директором. Витю мы не выдали.

Ревека уехала. Прислали Филицу Давыдовну, потом Франца Ивановича. Не знаю, почему не приживались они в наших местах. То ли климат суров, то ли не умели влюбить нас в свой предмет. Другие учителя прилагают немало усилий, чтобы были мы толковыми, выносливыми. Горазд на выдумки преподаватель физкультуры Василий Иванович Иванов. Занятия все чаще и чаще проводит не в спортивном зале, а на улице. Положено каждому сдать комплекс ГТО. Зимой — бег на лыжной дистанции. Дело это для нас не новое. Еще до школы с Сашей Ивановым не раз ходили по лыжне, проложенной через Карасово, Островичное и Кислое. Две полоски как рельсы тянулись через равнины и пригорки, через крутые скаты и лесные просеки. Летели словно на крыльях, только успевай маневрируй, чтобы не расшибить лоб о сосну или ель на крутом повороте.

Но одно дело кататься для забавы, а другое дело бежать на дистанции, проложенной по ровному месту, размеренной до сантиметра, с обозначенными красными ленточками стартом и финишем. В начале и конце стоит контролер с секундомером. Жми что есть сил, жми, если даже темно в глазах, жми, чтобы не осрамиться.

Летом — бег на короткую и длинную дистанции, прыжки в длину и высоту, с вышки. Старались, не жалея живота. После стартов неделями стучало набатом сердечко, но виду не подавали, не жаловались. И вот осталось последнее испытание: прыжок в высоту. Заветная планка намного выше головы. Она уже много раз коварно плюхалась на землю. Василий Иванович наставлял:

— Надо сильно разозлиться, разозлиться на себя и на всех чертей! Тогда победишь. Должны спружинить ноги, а тело, как на волне, взовьется в воздух.

Вышел в конце концов и у меня прыжок. Не верилось даже, что планка не сбита, что все же осилил высоту!

В руках моего школьного друга Славы Моргунова увидел книги Джека Лондона, Диккенса. Поражали романтические названия: «Оливер Твист», «Давид Копперфильд». Я смотрел на них и не мог понять, откуда они у него.

— Где ты такие диковинные вещи достаешь?

— Чудак! Разве не знаешь? В библиотеке.

— А нам разве можно туда?

— Почему бы нет? Мы же взрослые!

Библиотека рядом с нашей школой. Она занимает целое крыло нового большого клуба. Слава, прочитав очередную книгу, взял меня с собой. На втором этаже клуба большая комната.

— Это читальня, — пояснил Слава. — Здесь можно полистать журналы. Видишь — «Мурзилка», «Вокруг света». А там — выдача книг.

Такого богатства я еще не видел. Это не сундук под кроватью в нашей спальне. Комната одна, вторая, третья. Стеллажи заставлены книгами. У двери в этих комнатах — столики. На них — ящички с какими-то карточками.

— Что угодно, друзья мои? — спросила женщина в синем халате.

— Книжечку интересную, — робко выдавил я.

— А вы наш читатель?

Слава осторожно толкал меня, заставляя говорить то, чему учил меня в дороге: проси, чтобы записали, назовись, у какой учительницы учишься — не откажут.

Набравшись смелости, выпалил:

— Галина Ивановна Пальмова нас учит.

— Ну, если Галина Ивановна, тогда какой разговор! — ответила библиотекарша. — Галина Ивановна активист нашего клуба, ведущая актриса.

Я стал читателем. Глотать страницы, как Слава, не научился. Совестно было перескочить фразу, чтобы скорее узнать о судьбах героев книг. Совестно перед тем, кто написал эту книгу. Хотелось подольше побыть среди людей, которых полюбил с первых страниц.

Передо мной открывался новый, неведомый мир, словно раздвинулись границы нашей станции, стала ближе и роднее земля, огромная и таинственная. Везде жизнь чем-то схожа: одни снимают сливки, а другие лаптем щи хлебают. А у нас все не так, все по-другому. Вчерашний день не похож на сегодняшний.

Однажды утром за окнами школы вдруг выросли две огромные мачты. И между ними повис провод, который назвали

певучим именем — «антенна». На веранде клуба появился крохотный детекторный приемник. По вечерам вокруг него толпились люди, и мы, малыши, замирая, ждали своей очереди, опасаясь, что нам не доверят наушники. Но клубный механик Степан Агеев, протягивая круглые штуки, говорил:

— Ну-ка, голь перекатная, приобщайся к прогрессу!

Я прикладывал к уху черный кругляшок — чудо радиотехники — и помню, как впервые услышал голос издалека, едва различимый из-за стука собственного сердца: «Говорит Москва!» И в этот момент что было сил заорал:

— Я в Няндоме! Я вас слышу!

Люди покатились со смеху. Я их не понимал: «Что плохого в том, чтобы ответить человеку из Москвы?» А Слава Моргунов хвастался:

— А я побольше твоего слушал. Там, понимаешь, про школьника из Архангельска рассказывали. Его теперь весь мир знает.

— Заливаешь, Слава!

— Честное пионерское! Не вру! Понимаешь, какой-то итальянец, по имени Нобель, соорудил дирижабль и отправился на нем к Северному полюсу. Кружил, кружил надо льдами — и исчез.

— Ну, а дальше? При чем тут школьник-то из Архангельска?

— А он свой приемник имел и принял сигнал «SOS», что значит бедствие. Этот сигнал, оказывается, с дирижабля. Теперь итальянцев ищут на нашем ледоколе академик Визе, летчики Бабушкин и Чухновский.

— Когда же ты, Слава, успел этих новостей-то набраться?

— А я днем к механику заглянул. Я не я, если не займусь радиотехникой. Так мне хочется известным стать! Хотел, между нами говоря, бежать от матери путешествовать. А великое, оказывается, можно и дома делать! Верно говорят: «Не знаешь, где найдешь, где потеряешь!»

А вскоре наш клуб стал и кинотеатром. Слава Моргунов, Шура Иванов, Витя Хрусталев и я еще засветло забирались под сцену и часами ждали, когда погаснет свет и пианист ударит по клавишам. Из засады вылезали перепачканные в пыли. Экран был почти рядом, чуть наискосок от нас. Изображение было узкое, сплюснутое. «Овод» запомнился высоким и худущим-прехудущим.

«Красных дьяволят» смотрели ровно двадцать пять раз. Эту цифру мы хорошо запомнили, так как на двадцать шестом сеансе киномеханик вытащил нас из-под сцены, как котят, и серьезно сказал:

— Люди, я считал, сколько вы смотрите одно и тоже. Видимо,

нет предела человеческой тяге к искусству! Нет! Я разрешаю вам смотреть бесплатно. Это — награда! Награда — за терпение!

Витя Хрусталев как-то предложил:

— Пойдем в мастерские ФЗУ.

— Кто нас пустит?

— Хо! Спрашиваешь! Да у меня мама там уборщицей работает, будто не знаешь.

— Тогда пойдем.

ФЗУ — еще одно новшество на нашей станции. Там учатся почти все рабочие парни. Преподают в шкоде солидные приезжие люди. Есть среди них и математики, и физики, и химики. Директор школы инженер с большим стажем Петр Васильевич Железков.

Во многих домах уже не в диковинку готовальни, чертежные доски, калька, ватман, тушь — черная и цветная. Парни полдня учатся, полдня работают в мастерских.

И вот мы с Витей вечером пришли в мастерские. Они рядом с нашим домом, а сколько же здесь неизвестного, загадочного. Ходим, разинув рты, вдоль верстаков, заглянули в кузницу. Задрав головы, рассматриваем красивые, новенькие, неведомые еще нам инструменты, размещенные на щитах.

Мама Вити, тихая и добрая, пояснила:

— Не так-то просто научиться рубить зубилом железо, пилить чугун, шабрить медь. На этой выставке — лучшие работы наших учеников. Кто что сделал, под каждым подписано. Вот этот штангенциркуль — дело рук Леши, брата Жени. Ребята сами полировали и воронили эти молотки, кусачки, зубила. Скоро выпуск. Пойдут мальчики работать в депо — кто в паровозное, кто в вагонное. Будут они слесарями, токарями, помощниками машинистов. Скоро, может быть, придет и ваш черед сменить старших у станка.

Отец рассказывал о новостях, вычитанных из газет. Звучали непривычные названия: «Турксиб», «Кузнецкстрой», «Черемхово», «МТС». Словно волшебная музыка, издалека, за тридевять земель, доносился к нам в исконную глушь стук топоров, жужжание пил, рев первых тракторов. Очень жаль, что далеко от нас.

— Но и мы перед ними не в долгу, не лыком шиты, — размышлял отец, будто улавливая мою внутреннюю зависть к тем, кто строит и прокладывает первые машинные борозды.

Пробежав свежий номер газеты, отец загадочно спросил:

— Слыхала, мать, как в Москве назвали наш северный край?

— Где мне знать!

— Не иначе назвали, как «Валютный цех страны». Это тебе не фунт изюма, а золото! На наши корабельные сосны купим

машины, а там — знай наших!

На афишных щитах все чаще и чаще появлялись объявления, и каждое начиналось со слова: «Требуются». Требуются техники, инженеры, строители. Эхо большой стройки ощутили мы в Няндоме, когда наступил голод, но не такой, как в гражданскую войну, а другой: возбуждающий, окрыляющий — голод на рабочие руки!

ЗА НЯНДОМСКИМИ СЕМАФОРАМИ…

Дома большое событие. Братишка Леша кончил ФЗУ. Он стал помощником машиниста. Вся семья была в сборе. Папа достал из комода часы и торжественно вручил их Леше.

— Дарю не для красы. Знаю по себе, что нелегко попасть на паровоз. Носи. Пойдешь дальше — заведешь свои.

Это было выше всякой награды.

…Железные дороги России работали по часам фирмы «Павел Буре». Круглые часы с циферблатом, покрытым белой эмалью, с черными римскими цифрами на нем висели на вокзале каждой станции.

Такие же, только карманные, часы выдавались бесплатно людям, связанным с движением поездов. Такие же часы остались и у папы в память о работе машинистом на пассажирском паровозе. Носил он их только по праздникам. Плоская луковица на серебряной цепочке едва умещалась в кармане жилета. Редко, да и то в руках отца, удавалось послушать пульс механизма, посмотреть, как отсчитывает секунды маленькая стрелочка. Иногда, ублажая детскую прихоть, папа открывал крышку часов, позволял разглядеть гравировку Российского герба, с короной, двуглавым орлом, и ровные печатные буквы: «Павел Буре — поставщик двора Его Величества».

В один субботний вечер отец и мать долго шептались. Но секрет в мешок не упрячешь. Оказывается, завтра у нас будут смотрины. У Леши есть невеста. Он упрашивал братьев:

— Хоть завтра дома не торчите и глаз на нового человека не пяльте — и без вас со стыда сгореть можно.

И вот пришла невеста. Я ее не раз видел на улице. Она работала в железнодорожной больнице. Бабы, провожая ее взглядом, шептали:

— Сразу отличишь, что приезжая. У наших девок — косы, а эта стриженая, с челочкой.

— Фельдшерица! Слыхала, Фаиной зовут.

— Ученая из Архангельска.

В комнате накрыт стол. Леша и невеста — в переднем углу. У молодых глаза в тарелках. Мать и отец не найдут ниточку для разговора. Меня, как порядочного, тоже усадили за стол. Только лучше бы не иметь такой чести: сиди и пылай от взглядов невесты.

Напряжение после нескольких рюмок наливки прошло. Невеста повела себя так, будто давно жила в нашем доме и всех нас хорошо знает. Сунула сестренке Тамарке подарок. Мне

разлохматила чуб, чмокнула в щеку, отрезала: «Стричься надо, зарос, как медведь!»

Мать, наблюдавшая за невестой, вдруг просветлела. Фаина почти врач. Таких в нашей семье еще не было.

Когда обед был закончен и Леша собрался провожать Фаину, мать, смахнув слезу, предложила:

— Может, у нас жить останетесь? Ведь сварить, постирать… и потом… другие заботы пойдут. В тесноте — не в обиде.

Но Леша, откуда взялась смелость, ответил басовито:

— Ты для нас самая дорогая… Но зачем теснота… Не те времена. Мне от депо квартиру дают.

Леша быстро шел в гору. Сдал испытания на машиниста. Вскоре его перевели в Вологду, а потом послали учиться в Москву. Часы «Павел Буре» вернулись к папе. Леша обзавелся своими, отечественными. Поблагодарил отца, но не сказал, что старые часы теперь не в моде.

В машинисты вышел брат Миша. В семье новая церемония вручения часов. Водил Миша тяжеловесные составы. Имя его мелькало в газетах. Получал премии: то отрез на костюм, то велосипед. Как-то вызвали даже в Москву. Вернулся он с аккуратненькими часами, не простыми, а именными.

«Павел Буре» снова у папы. Он носит их теперь и в будни. Часы точны и безотказны. Только на циферблате появилась маленькая щербинка. Часы по-прежнему отсчитывали время, но стремительный бег времени отмечали и явления жизни. Детекторный приемник сменился ламповым. Сооружен на станции радиоузел. На улицах паутина проводов. В домах электрический свет, реже чувствуешь запах керосина. Нарасхват раскупаются репродукторы «Рекорд». Эфир сократил расстояния. Наши сердца бьются в такт с Москвой!

Голова идет кру́гом от научно-популярных передач. Поговаривают о том, будто бы недалеки те дни, когда мы, сидя дома, будем очевидцами торжеств и празднеств, происходящих в далеких городах. Уму непостижимо!

Мама сокрушалась:

— Все вверх тормашками пошло. Не удержала ребят у родного очага. Митя — в Ленинграде, Леша — в Москве. Того гляди, и средний, Миша, куда-нибудь махнет. А за ним — дочери Надя и Кланя.

— Не клуха ты, — отвечал отец. — Жизнь вон как поворачивается: сплошной сквозняк, затхлый воздух не застоится.

А в школе — новые друзья. Всеобщим любимцем класса стал Павлик Попов. Блондин, с широким подбородком, нежными губами, точеным носом, голубыми, обвораживающими девчонок

глазами. Павел Попов — мастер на все руки. Он лихо играет на балалайке, исполняет соло на мандолине и гитаре. Без него не обходится ни один вечер художественной самодеятельности, игра в пинг-понг или в волейбол. У Попова была еще одна диковинка — фотоаппарат.

Отец Павлика, Илья Петрович, и мать, Анна Яковлевна, встречали нас всегда приветливо, хлебосольно. Хочешь не хочешь, а выпей чашку душистого янтарного чая с плюшкой или сладким пирогом, а потом занимайся своим делом.

В комнате у Поповых этажерки и столы забиты альбомами. Снимки, снимки, снимки. Запечатлен, кажется, каждый шаг Павлика, единственного в семье ребенка. Веселый, общительный дружок со всеми охотно делился своими талантами. Он терпеливо учил играть на балалайке. Но у меня, наверное, руки деревянные. Кроме «Барыни», хоть убей, ничего не выходило.

Вечером кухня в квартире Поповых становилась лабораторией. Затягивалось плотной занавеской окно, выключался свет. На столике тускло горел красный фонарик. Илья Петрович разрешал нам присутствовать при проявлении пластинок, печатании снимков. Терпеливо объяснял что к чему.

Наблюдать интересно, но неплохо бы поработать и самостоятельно. Павлик соорудил в сарае рядом с курятником уголок для проявления. Закрывшись покрывалами и половиками, изнывая от духоты и копоти, обливаясь потом, мы следили, как в ванночке с проявителем появлялось на пластинке негативное изображение.

Однажды я попросил Павлика:

— У нас гости из Москвы. Брат Леша приехал с женой Фаней и дочкой. Девчонка смешная-смешная, еще, правда, не говорит. Снять бы ее. Брат и пластинок по моей просьбе купил, какие нам нужны — девять на двенадцать.

— В чем же дело! Снимем! — ответил, как заправский мастер, Павел. — Раз девчонка маленькая, ее надо со штативом снимать. Папа так всегда советует.

Я еле дотащил пудовый штатив с тремя ножками-костылями. Павлик расставил треногу, прикрепил аппарат, укрылся черным лоскутом и долго наводил объектив, добиваясь резкости на матовом стекле. Скинул материю, выглянул в окно: света не густо, надо с выдержкой снимать.

Наташка то и дело дрыгала ногами, крутила головой.

— Трудный случай, — сказал Павлик. — Но не горюй, используем для гарантии всю дюжину пластинок.

Гости уехали. Я обещал брату выслать снимки. Но они у нас с Павликом не получились. На всех пластинках вместо

изображения — мутные пятна. Скорее всего, Наташка виновата — не усидчива.

Писем брату не писал: совестно было. Осрамились мы с Павликом. Из двенадцати возможных — ноль.

Но вообще-то Павлику везет. Он раньше всех побывал не только дальше двух няндомских семафоров, но и ездил за границу. Мать его родом из Эстонии. Отец Павлика еще до революции служил в тех местах в армии. Пленил эстоночку и привез ее в наши северные края. Теперь Эстония — заграница. Просто так туда не поедешь, а к родным можно. У Анны Яковлевны где-то под Таллином братья. И вся семья Поповых ездила к ним гостить. Разговорам об этой поездке не было конца. А потом были Поповы в Крыму, привезли много своих снимков. Даже не верится, что в беседке у Ливадии сидит не кто-нибудь, а наш Павлик. Он поучает:

— Географию лучше усвоишь, если сам побываешь в разных местах. Вот закрой мне глаза, все равно безошибочно покажу, где Ялта, где Алупка, где Гурзуф, где Ласточкино гнездо.

Я жгуче завидовал ему и надеялся тоже куда-нибудь поехать.

Железнодорожники пользуются льготой: они имеют провизионку до Вологды и могут раз в год ездить бесплатно хоть на край света. Даже папа и мама побывали у родственников в Москве и Камышине. А теперь они поговаривают о поездке в Киев.

И вот отец принес билет. Не знаю, за какие заслуги, в билет был вписан и я. Отпуск папы совпал с моими летними каникулами. А старшие братья и сестренки работают. У них и свои билеты есть. Тамарка еще мала, чтобы брать ее в дальнюю дорогу.

Билет — в вагон третьего класса. Мы в таких вагонах не раз бывали с Шурой Ивановым на запасных путях. Там три полки — нары, маленькие оконца с переплетами. Сбоку узкий проход — не разгуляешься! Но это не беда! Тем более что пассажиров со стороны Архангельска не так уж много. А на день полки складываются, вполне можно протиснуться к откидному столику и смотреть в окно.

Провожать пришла вся семья и знакомые. Был здесь и Павлик Попов. Не мог я сдержать своей радости и гордости. Так и хотел выпалить другу: «Вот съезжу — покажу тебе Ласточкино гнездо!»

Поезд тронулся. Промелькнул Южный семафор, а за ним — леса, полянки, речки. Есть, оказывается, кроме нашей Няндомы и Бурачиха и Коноша, и Вожега.

Скоро большая остановка. Тендер наполнят водой, добавят дров. Папа достал большой медный чайник, отправился за

кипятком. Мама тем временем неторопливо разобрала подорожники: вареное мясо, яйца, хлеб, соль, домашнее печенье. Папа разливает кипяток в алюминиевые кружки, опускает в них поочередно ложечку с заваркой. Такого запашистого чая даже дома не пивали.

Папа наперед знает, на какой станции что можно купить, чем она славится. В Сухоне — копченая рыба, в Грязовце — пирожки с мясом. Не положено проезжать, чтобы всего этого не отведать. Такую щедрость можно же позволить себе хотя бы один раз в год!

Жаль только, что существует ночь. Хочешь не хочешь, а надо ложиться спать. Сколько станций, городов не увидишь! Так и останутся они для меня белыми пятнами.

— Ложись, не расстраивайся, — успокаивает отец. — Посмотришь на обратном пути. Утром в Москве будем. Набирайся сил.

Москва, Москва! Часто вспоминал о ней папа. Он там провел детство. Сколько помнит себя — служил на побегушках у приказчика в лавчонке на Кузнецком мосту. Потом чистил на улице сапоги. Может, и остался бы босяком, да выручил дядя, работавший в Вологде наборщиком в типографии. Вызвал к себе, пристроил на железную дорогу. Так вышел отец в люди.

На площади у Ярославского вокзала извозчиков видимо-невидимо. Пролетки, одна краше другой, выстроились рядами. Бородатые мужики, подпоясанные красными кушаками, зазывают к себе. Отец почему-то проходит мимо, идет дальше, туда, где экипажи пообтрепаннее. Он одергивает меня: «Не отставай, не пяль глаза на лакированные фаэтоны. Они нам не по карману».

Пролетка, которую выбрал отец, — не ахти. Сиденье потрескалось, но мягкое.

— На Мясницкую! — говорит повелительно отец.

Он разглаживает солидно усы, а в глазах лукавинка: «Не проведешь на вороных!»

Коляска подкатила к домику в Кривоколенном переулке. Отец, не торопясь, расплатился. Мать шепнула: «Как же так сразу, не поторговавшись?» Отец обрезал: «В первый день, да еще прибедняться!»

— Благодарствую! — ответил извозчик, приподняв кепку.

Тетя Лена встретила приветливо. Жила она в полуподвале. Квадратные окна под самым потолком. В комнатах стоял полумрак и какая-то придавленная тишина. Но от радушия хозяйки становилось светло. С ходу посыпались вопросы за вопросами:

— Как там Наденька? Как там Митенька? Как там тетя Варя?

Отвечали немногословно.

— Ну, а у вас в Москве какие новости?

— Максим Горький сейчас в Москве. Вернулся из Италии. Пожалуй, весь город встречал его на Белорусском вокзале. А парк, какой парк открыли на Москва-реке!

— Это где же?

— У Воробьевых гор. Именем Горького назвали. Побывайте там. Самим будет интересно, а о мальчонке и не говорю: глаза разбегутся.

После чаепития, по случаю гостей — из самовара, отец на правах старожила повел показывать город. Мать хоть и не первый раз в белокаменной, но призналась: «Голова кругом идет. Одна ни за что дорогу к дому не найду!»

Вышли на Мясницкую. Вдоль улицы справа и слева прямо у тротуаров тянутся ниточки рельс. Трелью заливаются ярко-красные трамваи.

— Прокатимся? — предлагает отец.

За окнами мелькает толпа, плывут витрины магазинов. Отец рассуждает:

— Меняется, на глазах меняется Москва. Улица была булыжная, а теперь ровная, залита асфальтом. Нет уже и вывесок «Иванов и К°». Государственная торговля вытесняет частников.

Вагончик плывет вниз. На остановке у Большого театра отец говорит:

— Сойдем, мать, надо обновку парню купить.

На здании с островерхими башенками огромная вывеска: «Центральный универсальный магазин». Не спеша обходим все этажи. Останавливаемся у каждого прилавка, где надо и не надо. Дольше задержались в обувном отделе. Отец и мать, таинственно переглянувшись, усадили меня на маленькую скамеечку. Продавец подал желтые сандалии. Они даже на расстоянии приятно пахли свежей кожей. Рантики у подошвы беленькие, перетянуты белой жилкой. На коже высечен рисунок. Не обувь, а кружева! Как надел, так и не снял.

Толпа, как на волнах, вынесла нас на улицу. Мама приободрилась:

— Теперь знаю, где находимся: в центре. В Иверскую часовню надо заглянуть, а потом на Красную площадь.

Отец не прекословил.

Ворота в часовню раскрыты настежь. Издали виден иконостас. Он вздрагивает за сотнями огоньков, будто живой. Беспокойно мечутся язычки потрескивающих свеч. Перед часовней старики и старухи в лохмотьях просят милостыню. Монашки продают свечи — тоненькие и толстые, белые и красные.

Справа и слева от часовни узкие проходы на Красную

площадь. После пестрой толпы и множества лабазов в Охотном ряду и на Манежной площади Красная площадь поражает простором и тишиной. Так, наверное, и должно быть здесь, у Ленина.

Отец ведет нас в Зарядье. Плутаем по узким улочкам и переулкам. Отец без конца поясняет: «Китай-город», «Ильинские ворота».

«Какие ворота? Где они?» — думал я. А переспросить боялся: может, просмотрел?

К вечеру ноги стали предательски подкашиваться, еле волочил их. Ранты у сандалий оказались твердыми и острыми, как напильник. Ими я изрезал в кровь суставы. Все стало не мило: вспыхнувшие к вечеру тысячи огоньков, щекочущий запах сдобы и всевозможных сладостей.

А отдыхать было некогда: в полночь на Киевский вокзал. Отец, снуя в толпе, закомпостировал билет, ухитрился в числе первых протиснуться в вагон, занять полку.

Поезд тронулся, но у меня не было желания смотреть в окно.

Гудели ноги, горели болячки, подташнивало от духоты.

Легче стало лишь в Киеве. Поезд пришел ночью. Вместе с соседями по вагону на извозчике добрались до Киево-Печерской лавры. Тощий монах разводил толпу на ночлег. Нам досталась отдельная келья. При тусклом отблеске свечи не очень-то разглядывали жилье. Благо, есть две железные кровати с засаленными подушками и тощим матрацем.

— Спи, сынок, — говорит папа. — Завтра посмотрим город, который зовут матерью городов.

В Киеве вместо наших белых ночей темень, хоть глаза выколи. После перестука колес в вагоне поезда гробовая тишина кажется райской. Спал как убитый. Проснулся от нестерпимого зуда. Сквозь маленькое оконце с железной решеткой под самыми сводами в массивной стене косил снопик света. На подушке, на полу и стенах кишели обожравшиеся клопы. Такие, пожалуй, слопают, и костей не соберешь.

Страхи прошли, как только вышли на улицу. Отец сказал:

— Сегодня, мать, — никаких дел. Будем гулять.

Странно было слышать это слово из уст отца, не привыкшего да и нас не приучившего к праздности.

Сначала рассматривали Лавру. Ломило глаза от горящих куполов Успенского собора. В толкотне этих куполов даже не верилось, что существуют на свете степные просторы, которым нет конца и края.

Гулять по Киеву не легче, чем по Москве. То в гору, то с горы. Побывали в Успенском и Софийском соборах, у Золотых ворот. На

Владимирской горке мама украдкой помолилась.

Чувство благоговения передалось и мне, когда от услужливого монаха узнал, что здесь правили когда-то князь Олег и Ярослав Мудрый, что здесь Русь принимала христианство. В пещерах у Днепра еще давно-давно основан монастырь. Сюда испокон веков шли пешком люди со всех концов земли. Ничего этого я не знал: уж больно скупо изучали мы русскую историю.

— Надо бы на обед и ужин провизией запастись, — напомнила мама.

— За чем дело стало, пойдемте на базар, — ответил отец.

На рынке на прилавках под навесами и прямо на земле горы добра. Манят к себе кучки красных плодов цвета спелой рябины, похожих по форме на картошку.

— Это помидоры, — поясняет мама. — Они у нас не растут. Им надо много тепла и солнца. Попробуй.

Откусил и выплюнул. Думал, сладость, а тут не поймешь что.

Остановились у полосатых шаров. Отец предложил выбирать любой, какой на меня лучше глядит. Откатил самый крупный.

— Коли облюбовал, покупаю тебе арбуз, неси, — ухмыльнулся отец.

Взялся обеими руками, поднатужился, да не тут-то было. Арбуз ровно примерз к земле.

— Мало каши ив! Крыжи надирвеш! — хохочут до слез торговки.

Мне от стыда впору бы сквозь землю провалиться. Злую шутку сыграл отец. Где мне было знать, что арбуз тяжелее гири?

На другой день пошли в пещеры, к святым мощам. Шли гуськом со свечкой в руках вслед за монахом. Я вцепился в полу отцовского пиджака, чтобы, не дай бог, не затеряться. У костей, прикрытых вылинявшими шелками, разложенных в лунках и освещенных лампадами, мужики и бабы исступленно крестились и шептали какие-то молитвы. Меня сковал страх, по спине бегали холодные мурашки. Никогда еще так остро не ощущал я чувства брезгливости и отвращения. На счастье, мы шли не последними. Сзади хоть есть живые люди.

К мощам после этого меня нельзя было заманить никакими пряниками, хотя отец с матерью звали. Куда приятнее походить по монастырским дворикам, укрытым от палящего солнца мощными каштанами.

Папин отпуск не только прогулка. Надо привезти домой и яблок, и помидоров, и арбузов. Ящики и сундуки сдавали в багаж. Прихватывали и с собой. Таскали до седьмого пота корзины, узелки, свертки. Бог знает, каким образом сквозь густую толпу втискивались в вагон. Отец, отдышавшись, шутил:

— Ну как, посмотрел Киев? Еще раз поедешь?

Я молчал. Скорее бы домой! Там лучше.

У нашей классной комнаты есть секрет. Стена, на которой висит на петельках доска, раздвигается. Из двух классов можно оборудовать большой зрительный зал. К этому прибегали лишь в исключительных, торжественных случаях.

Врезалась в память весна 1931 года. Меня, Павлика Попова, Мишу Поспелова, Костю Иванова принимали в комсомол. Наши заявления рассмотрел комитет. Теперь решение примет комсомольское собрание. Большая афиша в коридоре извещает об этом.

Зал переполнен. Комсомольцы сидят за партами, в проходах между рядами, на подоконниках. Впереди большой стол, накрытый красным сукном. Председатель зачитал заявление Павлика Попова.

— На трибуну! — кричат из зала.

Вышел Павлик бойко, смело взглянул в зал. Ему привычно встречаться со зрителем. А ответить на вопросы или толкнуть речь — сущий пустяк. Мой же «артистический опыт» был куда скромнее. И для меня предстоящая процедура — пытка. Лицо еще до вызова в огне, в горле пересохло. И вот вопросы, уже не к Павлику, а ко мне:

— Социальное происхождение?

— Из рабочих. Отец был паровозным машинистом, потом, после контузии, работал брандмейстером.

— Кем, кем?

— Брандмейстером.

— А что это такое? С чем его едят?

— Пожарный поезд возглавлял, руководил пожарной дружиной.

— Так бы и говорил, а то брандмейстер! Язык сломаешь, пока выговоришь.

И новые вопросы:

— Какую общественную работу ведешь?

— Права и обязанности члена ВЛКСМ?

Отвечал сбивчиво, но все мои дела вершились на глазах людей, сидевших в зале. Собрание единогласно проголосовало «за».

После собрания на душе стало светлее, но для себя все-таки решил, что для общего дела надо стараться больше. Хотя вроде бы и раньше не отлынивал: переплетал книги, дежурил в библиотеке, штемпелевал новинки, стоял и на раздаче, изучал каталожные карточки, с помощью которых легко разобраться в

книжном море…

Были, конечно, и оплошности.

Перед выборами в поселковый Совет нам, школьникам, полагалось выступать перед избирателями с приветствием и наказом. Такое поручение получил и я. Речь зубрил несколько дней, а когда дошло до дела — растерялся.

В зрительном зале клуба собрались избиратели железнодорожного узла, то есть все, кого я знал в лицо. Здесь были почтенные отцы семейств и матери, старики и старухи. А я стоял за кулисами и дрожал. Председатель собрания не признал во мне представителя, не пригласил на сцену. У меня не хватило смелости навязываться. Казнил себя за робость и нерасторопность, за то, что не испробовал себя в роли Цицерона. Правда, в школе никто не спросил, как выполнил поручение.

Записался в драмкружок. Наш класс взял шефство над лесопунктом на станции Вандыш. Регулярно выезжали туда, валили деревья, разделывали и вывозили древесину, а вечером в зале ожидания вокзала устраивали спектакли. Играли на подмостках, освещенных керосиновой лампой.

Пьеса в трех действиях посвящалась подпольной работе большевиков накануне революции. Действие происходило в рабочем городке. Зверствами и жестокостью отличались в пьесе ищейки царя, особенно один полицейский. Эту неблагодарную роль поручили мне. Играть ее было заманчиво, так как в реквизите клуба нашелся голубой мундир с эполетами, штаны с лампасами, хромовые сапоги со шпорами. Мое появление в этом пестром одеянии даже на тускло освещенной сцене вызывало оживление в зале. После нескольких представлений я вошел в роль. Ободряло то, что среди публики незнакомые люди. Но в самый кульминационный момент представления из зала донеслось:

— Да ведь это Женька Петров! Вот дает, артист!

От этой неожиданной реплики забыл слова, которые надо было произносить по ходу действия. Выручил суфлер: последнюю фразу он крикнул из-за кулис вместо меня.

Моей промашки в зале не заметили. За закрывшимся занавесом гремели аплодисменты.

Опознала меня Серафима Размаринская, сестра нашей учительницы Александры Николаевны. Ее восторг чуть не вышел мне боком.

И вот настал последний школьный сбор. Павлик Попов уговорил отца сфотографировать на память наш класс. Ребята и девчата прихорошились кто как мог. Мне мама дала Лешину поношенную серую кепку, почистила и отгладила синий

вельветовый пиджак. Многие девчонки пришли в белых кофточках и платьях, подстриженные под челочку, а кое-кто из них накрутил кудри железными щипцами. Так старались, что подпалили волосы.

Илья Петрович принес большой ящик, поставил треножник. На штативе почти новенький, лоснящийся на солнце аппарат с мехами, как у баяна.

Усаживались чинно, без суеты. Пришел даже директор школы. Ему с преподавателями самое почетное место — в центре. Само собою разумеется, что в первом ряду положено было быть Павлику Попову.

Илья Петрович накинул черную материю, долго наводил на резкость. Не шутка: на пластинке 18 на 24 должно уместиться тридцать пять человек! Илья Петрович подходил то к одному, то к другому, просил развернуть плечи, поднять подбородок. Все мы замерли, когда фотограф таинственно снял с объектива черный колпачок. Зубы у всех стиснуты, глаза вытаращены. Лишь Павлик Попов (ему не в новинку) сохранил натянутую улыбку.

РАБОЧАЯ СМЕНА

В июньский день 1932 года мы стали вольными птицами, проглатывали газетные объявления о приеме в институты и техникумы. Родители уже привыкли к тому, что сыновья и дочери не засиживаются, как прежде, в своих краях. Хоть и болит материнское сердечко, а отпускает дитя на волю. Ничего не поделаешь, ничего не попишешь. Уж больно широко распахнулись наши советские горизонты. Идти, видно, детям новыми, а не дедовскими путями. Миша Поспелов, забывавший вовремя вытирать конопатый, сопливый нос, едет в художественное училище, хочет быть жи вописцем. Зина Цветкова, которую только вчера таскали за косы, поступает в дорожный, будет техником. Павлик Попов — заводила, музыкант и фоторепортер — подался учиться на техника-строителя.

— А ты куда? — спрашивает Витя Хрусталев.

— Как куда? Конечно, в ФЗУ.

— Мне мама тоже в ФЗУ советует.

«А разве зазорно идти в ФЗУ? — размышляли мы. — Училище работает теперь на базе средней школы. Два года пролетят мигом. А там, глядишь, как и старшие братья, — на паровоз».

— Молодец! — одобрил мой выбор отец. — Паровоз не такая уж простая машина. Чтобы постичь ее, надо хорошо знать технологию металлов, механику, черчение. В доме есть и учебники, и готовальня и чертежные доски. Все от тебя теперь зависит. Только не ленись.

Пришла и наша пора познакомиться в мастерских со Степаном Ивановичем Цветковым.

Степан Иванович не выдался росточком, не раздался с годами и в ширину. Он выглядел юношей, когда шел рядом с женой, мощной широкоплечей женщиной. Но силой обладал недюжинной.

Степан Иванович говорил о том, что руки слесаря должны быть жилистыми, а пальцы чувствительными, как у музыканта. И глазомер нужен, и точность, и аккуратность.

Степан Иванович зажимал в тиски полоску железа. После нескольких порывистых и точных взмахов молотком отлетала в сторону тоненькая, свернувшаяся в колечко стружка. Вот так, личным примером, чаще всего и учил мастер.

После долгих, казалось ненужных, тренировок с круглыми палками, укрепляющими кисти рук, Степан Иванович разрешил встать к верстаку, сделать первый, как он говорил, рабочий удар.

Взмахнул неуверенно молотком. Полоска, какой была, такой и осталась. Еще взмах. Полоска тронулась, но срез получился неровный, какой-то ребристый.

Степан Иванович ходил вдоль верстаков, пояснял:

— Смотреть надо на острие инструмента, а не на шляпку зубила. Удар должен быть автоматическим, слепым.

Полоска тронулась, но молоток вдруг угодил не в зубило, а в палец на левой руке. Ссадина сделалась багровой.

— Не беда, — успокаивал Степан Иванович. — Молодой, до свадьбы еще далеко, заживет.

Руку после занятий приходилось прятать в карман: засмеют. Ссадина на левой руке — первый признак неопытности и робости.

Дни заполнены до предела. Учебные занятия плюс общественные поручения. Комсомольский секретарь училища Роман как-то пришел в класс и предложил избрать меня комсоргом. В канун выходного дня Роман категорически предлагал:

— Завтра всем классом — на субботник!

Поворчат ребята, а утром все, как один, — в условном месте. Самим приятно было, когда после дружной, с песнями работы навели лоск в мастерских. На месте свалки появились цветник и скамеечки для отдыха, а во дворе депо махнул в небо фонтан.

В майские дни сразу же после праздников — подписная кампания. С первого года пятилетки установился неписаный закон — отдавать взаймы государству месячную зарплату. Не всегда гладко проходила эта скоротечная кампания. Витя Хрусталев подписывался на чуть-чуть, для отвода глаз. Никакие доводы и убеждения, не помогали. Нельзя было понять, откуда у парня жадность, скупость. Мать добрая, сестренка Тамара последним куском поделится, не жаден и брат Володя. А Витька, увернувшись во время подписки, потом весь год издевается во время получек:

— У меня, комсорг, денежки, а у тебя — шиш!

Но его издевки не задевали нас. Мы знали, на что идут наши деньги. Перемены в нашей жизни происходили чуть ли не каждый день.

Станция Няндома преобразована в город областного подчинения. В городе — новый кинотеатр. Не где-нибудь, а у нас, в Няндоме, идет «Чапаев». Ведется подписка на газету «Лесной рабочий». Она будет выходить в нашем городе. Возле клуба своими руками построен стадион. В субботние и воскресные дни сюда тянутся сотни болельщиков. Гремит слава о нашей футбольной команде.

Недалеко от Северного семафора, на горе, где еще со времен

гражданской войны сохранились проволочные заграждения, разбит парк. Есть теперь где на людей посмотреть и себя показать. Забот, правда, прибавилось. На народ не пойдешь в чем попало. Надо заводить выходные ботинки, брюки, рубашку, галстук, тем более что девчата форсят в цветастых платьях и костюмах, стараются перещеголять в нарядах одна другую.

Отец каким-то особым чутьем замечал, как взрослели дети. Однажды в воскресенье я заканчивал дипломный чертеж. Осторожно, стараясь не испортить многодневный труд, взял рейсфедер, чтобы обвести черной тушью линии, намеченные на ватмане карандашом. Эти последние усилия все равно что рывок перед финишем.

Придирчивым взглядом отец окинул проекции. Вспыхнули в глазах искорки. Он выдвинул из-под кровати сундук с книгами, достал «Воскресение», глухо произнес:

— Почитай. Не делай в жизни того, что позволял себе в молодости князь Нехлюдов.

Сказал и вышел, оставив меня наедине с книгой. Впервые читал такую солидную книгу без украдки, запоем. Стучала кровь в висках. Опомнился, когда проглотил последнюю страницу. Неужели это правда, что сам отец дал мне в руки эту книгу? Не кто-нибудь, а сам отец посвящает меня в тайны человеческих отношений, в тайны интимной жизни мужчины и женщины, остерегает от порока.

Я понял, что отец считает меня взрослым. Может быть, потому, что скоро, очень скоро наступит моя первая рабочая смена.

…Еще затемно мы с Егоркой Кабриным пришли к паровозному депо. В детстве мы любили забираться на горы теплого шлака и с высоты наблюдать за тем, что делается у паровозного депо — этого рабочего царства. Все, что мы видели, было для нас мечтой: и корпуса, вытянувшиеся полукругом, и ниточки рельс, раскинувшиеся веером к поворотному кругу. С замиранием сердца следили, как паровозы, вернувшиеся из рейса, тихо-тихо вползают на тележку поворотного круга. К тележке подходят рабочие и, напрягаясь, жмут грудью на рычаги-бревна. Тележка с многотонной махиной трогается, как карусель, и останавливается у пары стальных ниточек. Паровоз в клубах пара сползает с тележки и скрывается за массивными воротами депо.

Часами затаив дыхание смотрели мы за тем, как крутятся трансмиссии в механическом цехе, как вырывается пар из трубы котельной и поет, наверное, на всю вселенную. Этот гудок обладал магической силой. Он поднимал рабочий люд с

постелей, возглашал об обеденном перерыве, отпускал в конце смены домой. Мы гордились тем, что там, под крышами депо, трудятся наши отцы и братья.

Когда я доложил отцу, что комиссия присвоила мне звание слесаря пятого разряда, он ничего не ответил. По бровям, поплывшим вверх, я понял, что он сомневается и, наверное, рассуждает про себя: «Куда хватил! Сразу пятый разряд! В наше время таких скачков не бывало!»

Теперь нам с Егоркой предстояло показать, на что мы способны. Одеты мы с другом по всем правилам: брезентовые штаны и куртка, кирзовые ботинки на деревянной подошве. По дороге в депо ботинки гремели на ледяной дороге, как колотушки. Нас это не смущало. Наоборот, хотелось сказать так, чтобы слышали все: «Смотрите, любуйтесь, идут на трудовой пост новые мастеровые!»

Работать нам придется в цехе, куда паровозы становятся на короткое время для устранения небольших неполадок. Мастером в этом цехе работает товарищ моего брата Леши Борис Александров. Он уже успел после ФЗУ не один пуд соли съесть и стал начальником.

Мастера мы нашли возле паровоза. В цехе стоял сырой пар. Высоко под самым потолком тусклыми звездочками маячили лампочки. Доложили мы почти по-военному:

— Выпускники школы фабрично-заводского ученичества прибыли в ваше распоряжение, товарищ мастер!

Александров смерил нас взглядом с ног до головы, приветливо ответил:

— Поздравляю, рабочее пополнение!

Он пригласил нас в конторку, расположенную в уголке за стеклянной перегородкой. Долго перебирал наряды. Из большой стопы бумаг отложил один листочек.

— Срочное дело хочу поручить вам, — пояснил мастер, — будете менять колодки на пассажирском паровозе.

Когда мы вышли из конторки, Егорка недовольно заметил:

— Менять колодки! Стоило два года учиться, чтобы такой мелочью заниматься! Мы же во как подготовлены! — Вытянув вперед руку, он поднял большой палец.

Егор вспомнил все, что знал о тормозах американской фирмы «Вестингауз».

Тормозная система этой фирмы применялась во всех странах мира.

— А мы этой фирме утерли нос. У нас теперь свои тормоза — матросовские. А кто такой Матросов? Матросов Иван Константинович — это наш, советский ученый и изобретатель.

Его тормозная система куда проще и надежнее «Вестингауза»!

— Кончай, Егор! — остановил я друга. — Я не меньше твоего горжусь нашим Матросовым. Мы с тобой, наверное, доживем до того времени, когда с помощью открытия Матросова произойдет техническая революция на транспорте: появится автосцепка, надежное торможение позволит развить невиданные скорости. Но твои разговоры о тормозной системе сейчас ни к селу ни к городу. Колодки есть колодки. Без них никакая система не обойдется, как телега без колеса.

Получив в инструментальной нужные ключи, ломики и засветив факелок, мы спустились в ремонтную канаву. Ноги расползались в толстом слое мазутной жижи. То там, то здесь висели черные сосульки. Скаты и рама в белом инее, дотронешься до стали и чугуна — пристывает палец. Две колодки почти износились. Их, пожалуй, надо менять в первую очередь. Но Егорка вдруг заважничал:

— Чего мараться с двумя колодками? Делать так делать! Будем менять все.

Сбросили старые колодки, поставили на их место новые чугунные отливки. Остались пустяки — стянуть муфтами контейнеры. Егор сбегал узнать время, вернулся радостный:

— Обед! Пора в столовую. Доделаем после перерыва.

Из столовой возвращались степенно, вразвалку. Егор размечтался:

— Стянем муфты, а там, глядишь, и шабаш.

Но тяги, как назло, не сходились. Их, будто нарочно, в насмешку над нами, кто-то укоротил. Старались их соединить и так и сяк — бесполезно. У паровоза собралось начальство. В разговоре звучали тревожные нотки. В канаву спустился мастер.

— Перестарались, друзья, — сказал он с досадой. — Кто же меняет на паровозе, предназначенном под состав, сразу все колодки? Снимайте-ка быстро новые колодки, ставьте старые!

…Паровоз вышел из депо, как и полагается, вовремя, за час до прибытия на станцию пассажирского поезда. ЧП по нашей вине не произошло. Рабочий день кончился будто бы спокойно. Нотаций нам никто не читал. А у нас с Егоркой внутри скребли кошки.

Ремонтные бригады трудились в депо в три смены. На предприятиях установили непрерывную рабочую неделю. У нас с Егоркой все перепуталось: не поймем, когда будни, а когда праздники. На нашей станции творилось что-то невероятное. Движение поездов удвоилось. Все чаще и чаще возникали пробки: составы на однопутной линии никак не могли разминуться. Станционные пути были забиты эшелонами с лесом, тесом,

щебенкой.

В депо повесили объявление: «Сегодня в клубе после работы собрание. Приглашаются все свободные». У афиши суды-пересуды: «Какой там к черту клуб, хоть бы поспать вдоволь!» — «Говорят, человек из Архангельска приехал?» — «Тогда надо пойти послушать!»

В нашем клубе всегда уютно, а сегодня чувствуется настоящий праздник. В фойе играет духовой оркестр. Плывет мелодия вальса «На сопках Маньчжурии», гремит песня «Нас утро встречает прохладой». В буфете можно купить без карточек порцию печенья и леденцов, выпить стаканчик лимонада.

Торжественно выглядит и зрительный зал. В центре сцены — стол, затянутый кумачом. Перед ним живые цветы в горшочках. Слева у рампы ярко освещенная трибуна. В президиуме люди вроде все знакомые. А одного, в синем кителе, стройного, подтянутого, видим впервые. Ему, приезжему, и предоставили слово.

— Ныне партия решает задачу индустриализации страны. Реконструированы старые предприятия, растут новостройки. И выходит, что вы поставлены вновь на линию огня. Железные дороги — это кровеносные артерии страны. От вашего трудового энтузиазма, от вашего большевистского порыва зависит, будет ли наш, советский организм дышать полной грудью…

— Грязь бы не мешало поскоблить, — шепчет Егорка. — Дома керосином отмываюсь и то не помогает. Шея, как голенище.

А оратор, словно уловив Егоркину мысль, говорил:

— Надо объявить войну плохой организации труда, обезличке и уравниловке, избавиться от грязи и копоти.

Собрание решило провести на узле всеобщий субботник.

Утром с остервенением принялись за дело мастеровые, женщины и ребятишки. Штурмовали сугробы на станционных путях, вывозили хлам из цехов, скребками чистили стены и потолки.

Неузнаваемо изменилась рабочая столовая: на столах новенькие клеенки, судочки для соли, перца и горчицы. Исчезли очереди и толкучка. Даже при нехватке продуктов научились готовить обед из трех блюд. Горячую пищу получают рабочие вечерних и ночных смен. В красном уголке почти каждый день в конце обеденного перерыва небольшой концерт художественной самодеятельности или беседа. По рукам идет газета «Северный путь», печатающаяся в Москве на Чистых прудах. В ней пишут и о наших делах.

Егорка не ворчал даже тогда, когда нам вручали наряд на старенькую машину «ОВ». Рабочие называют эти паровозы

«овечками». Когда-то, еще до революции, они водили товарные и пассажирские составы. А теперь используются на второстепенных работах: на маневрах или на ветках-времянках, проложенных от основной магистрали в лесные массивы.

«Овечки» поизносились. Они появляются на рабочих канавах, окутанные клубами пара. Из поршневых камер и сухопарного котла бьются горячие струйки. Эта агония затихает лишь тогда, когда гаснет огонь в топке, а стрелка манометра застывает на ноле. Запасных частей для «овечки» нет. В каждый очередной заезд «лечение» идет по новому рецепту. Когда выручает автоген, когда электросварка, когда кузница.

Мастер как-то объявил:

— Проверил я вас уже на подшипниках, на поршнях. Теперь пошлю на сухопарник.

Мастер ушел, оставив нас в раздумье. Браться за это дело — все равно что бросаться в воду, не умея плавать. Может, и пронесет, а может, и в бракоделы попадем.

— Как говорится: и хочется, и колется, и мама не велит, — выдавил я.

— Не до твоих плоских шуточек, — огрызнулся Егор. — Вижу, сути дела ты не понимаешь. А выходит по всему, что мы доверие мастера заслужили. Может, через этот проклятый сухопарник мы с тобой в люди выйдем. Может, настал час нашего рабочего крещения, после чего ни черт, ни дьявол не страшен будет. Скажут про нас люди: вот и прошли ребята и огни, и воды, и медные трубы.

Под чехлом сухопарного колпака десятки болтов, покрытых накипью. Это оттого, что много дней за стенкой сухопарника буйствовал пар, спрессованный до 14 атмосфер.

— Да-а, — протянул Егорка, — отвертывать эти болты — все равно что рвать корни зубов.

— Глаза, Егор, страшат, а руки делают. Не мы первые, не мы последние. Начнем.

Егор притащил набор ключей, простых и торцовых. Да куда там! У одного болта сорвана резьба, у другого сбиты грани гаек. Протерли каждый болтик керосином, простукали их ручником. Кое-какие поддались, а многие стояли намертво.

— Крепок орешек, — бросил благодушно старый котельщик. — Не разгрызете? А вы зубилом да кувалдочкой попробуйте.

Попеременно работали мы то в роли кузнеца, то в роли молотобойца. С горем пополам освободились от болтов. Дальше дело пошло лучше, тем более что технологию задания мы хорошо знали. И вот колпак снова на своем месте. Если посмотреть со

стороны — все в ажуре. А на душе неспокойно, так как самое страшное впереди. Как-то поведет себя завтра сухопарник под давлением?

Колпак, будто огромный самовар, пышет жаром. Трещит, как сало на сковородке, спекающийся сурик. И вдруг то в одном, то в другом месте вырываются обжигающие плевки.

Надо любой ценой осадить медное кольцо, чтобы закрыть прокладкой все выбоины и щербины на притирочной поверхности. Подтягиваем болты. Струя чуть-чуть затихает, а потом вырывается с еще большей силой.

— Бери ручник! — кричит Егорка, хватаясь за кувалду.

Он, стиснув зубы, бьет. Потом кошкой спрыгивает на площадку, берет ключ, подтягивает резьбу. Я бросаюсь ему на помощь.

Не заметили, как наступила тишина, как угомонился сухопарник.

Сошло! Не ударили лицом в грязь, не подвели мастера!

В стенной газете появилась заметка, написанная машинистом «овечки». Он хвалил нас за то, что мы устранили утечку пара. Бригада взяла обязательство экономить топливо.

Что ни день — бросают нас с Егоркой на разные работы. Иногда часами соображаем, как приноровиться. У паровоза, вставшего на средний ремонт, сплошной муравейник. Люди толкутся, мешают друг другу.

— По-другому бы надо расставить людей, — сказал я.

— Ты что, сдурел! — закипятился Егорка. — Так люди работали испокон веков. А ты, от горшка два вершка, со своими уставами лезешь!

— Вспомни, как приезжий человек говорил об организации труда? И к тому же сам сколько раз восхищался работой Врублевского.

Старый слесарь работает рядом с нами. Он шагает вокруг стеллажей величаво и похож в своем халате на часового мастера. Видно, статным был этот человек в молодости, а теперь чуть-чуть сгорбился. Побелела голова, погрубели и торчат щетиной усы, глаза затерялись в густых бровях. Но время, видно, не властно было отнять у него рабочую выправку. Он весь в движении — уверенном и неторопливом. Медная потускневшая плита золотника расцветает под его руками яркими чешуйками.

— До Врублевского нам с тобой далеко, — сказал Егорка. — Он специалист высшей квалификации. Заметил, что подгонку золотников только ему одному и доверяют?

— Вот именно — специалист. Вдумайся, Егор, в слово, которое сам только что произнес: «специалист», «специализация».

Вот и нас надо к одному какому-либо делу пристроить: к поршням, скажем, или дышлам. Сноровки-то больше будет. А мы с тобой сейчас и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Видно, не у одних у нас об этом болела голова. Вскоре мастер огорошил:

— Завтра я вашу пару разобью.

— За какие грехи, товарищ мастер?

— Не за грехи, а за успехи. Нельзя неразумно использовать подготовленных людей. Каждый из вас будет действовать самостоятельно на пару с подсобным рабочим.

Утром мне представили Ивана Васильевича. Этого пожилого человека я еще мальчишкой с почтением встречал на улице. Как-то неловко было стоять рядом с ним в роли старшего.

Иван Васильевич деликатно улыбнулся, покрутил усы:

— У тебя — голова, у меня — руки. Чем не пара!

Не всегда ладно получалось у Ивана Васильевича. Частенько приходил на работу вялый, сонный. За деталями и инструментом ходил не торопясь, вразвалку. Не то что Егорка: одна нога здесь, другая там. Дело стоит, а моему напарнику нужен перекур. Попробовал воспитывать:

— Так мы с тобой, Иван Васильевич, и нормы не выполним.

— Невелика беда. Работа не волк — в лес не убежит.

— Как же так, Иван Васильевич?

— Очень просто: ты парень холостой, а у меня на шее семья. Дома — хозяйство, огород, коровенка. Животину надо кормами обеспечить. После смены косу в руки — и в лес.

— Но ведь так, как мы с вами дело ведем, и детишкам на молочишко не заработаешь.

— Мне, дорогой, не к спеху. Тебе по сдельной считают, а мне — по часам.

— Может, с мастером поговорить, чтобы мы с вами на равных? Как?

— Мы ж не ученые, куда нам в дамки.

— А мы что, из-за рублей учились?

— Пробуй, ставь вопрос. Что-то я до сих пор таких охотников добровольно делиться с напарником харчишками не встречал.

Мою просьбу уважили. Иван Васильевич на глазах помолодел.

Как-то после получки, стесняясь, как ребенок, Иван Васильевич сообщил:

— Жинка тебе поклон велела передать. Две десятки лишних вчера принес. А это тебе не шутка. Дочке обновки купили. Встала чуть свет, не наглядится на сандалии и цветастый сарафанчик. Пошел на работу — прыгает на одной ноге. Давно такого не бывало.

Работа сплачивала людей. Силу коллектива мы особенно ощущали на подъемке паровоза. К домкратам становились все, независимо от специальности. Ритмично, без рывков крутили рычаги. Сходил не один пот, пока корпус поднимался выше скатов. Через определенные промежутки полагался перерыв. Высыпали на улицу, на ветерок.

Иван Васильевич, свертывая козью ножку, частенько теперь заговаривал о делах, что на него не похоже.

— Это разве порядок: крутят баранку инженер и слесарь, которым цены нет. Будто в наше время к этим домкратам моторы нельзя приспособить.

Меня даже удивила перемена в Иване Васильевиче. Человек, еще вчера безразличный ко всему, отбывавший часы на работе, вдруг стал размышлять по-хозяйски.

— Ты, Евгений Александрович, не удивляйся. Интерес к делу ты же сам во мне пробудил.

Поколебавшись, Иван Васильевич продолжал:

— Скажу и о тебе. Какой же ты слесарь? Не куришь, не выпустишь крепкое словечко, когда сам знаю, что провинился. Не покрыл меня как следует намедни. А я ведь тебе палец покалечил. Подавайся-ка ты на учебу. Чую, что скоро, очень скоро пуще нынешнего толковые люди нужны будут.

Дела наши с Иваном Васильевичем, можно сказать, процветали. Нет-нет да и мелькнут наши фамилии в стенной газете. Слышали не раз доброе слово о себе по радио. Лежат в комодах вырезанные из многотиражки заметки о передовиках соревнования. На паровозах, отремонтированных нами, устанавливаются рекорды скоростного вождения поездов. Что ни день — на привокзальной платформе митинг. Героев встречают с цветами, под звуки духового оркестра. На домах портреты отличившихся людей. На дверях многих квартир висят щиты: «Здесь живет лучший машинист СССР».

Накануне семнадцатой годовщины Октября в клубе состоялось торжественное заседание. И вновь было сказано, что мы находимся на линии огня.

После доклада отличившихся в труде под туш вызывали на сцену. Председательствующий громко и отчетливо называл имя, отчество и фамилию. Дошла очередь и до нас.

Иван Васильевич толкает в бок: «Вставай, мол». Коленки предательски дрожат. Хватит ли сил преодолеть несколько ступенек и подняться на подмосток? Как набраться смелости посмотреть в глаза людям, которые знали тебя конопатым, босоногим, а теперь не в шутку, а всерьез вызывают на сцену аплодисментами?

Иван Васильевич неловко кулаком смахивает слезу, глухим голосом бросает в зал:

— Спасибо, товарищи, за доверие. За такое, если надо, горы свернем!

В руках у меня первая премия: бобриковое пальто, синее, с переливом.

…Мы отныне — ударники!

ОТ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА

В промывочный цех зачастил секретарь комитета комсомола Саша Патарушин. Как-то в обеденный перерыв он подкатился к нам и сказал:

— У вас, оказывается, до сих пор нет своей первичной организации? Надо же! Давайте-ка, ребятки, после смены собрание проведем. Выберем комсорга, да и другие портфели распределим.

Комсоргом, по моему предложению, избрали Егорку Кабрина: он весь в мамашу-делегатку, за словом в карман не полезет. Толкает речь по любому поводу.

Саша Патарушин объявил:

— Теперь, друзья, надо нам редактора стенной газеты избрать. Как-то нехорошо получается: цех большой, ходите в передовиках, а своего печатного органа не имеете.

Егорка не остался в долгу. Тут же «отблагодарил» меня за оказанное ему доверие.

— Я как комсорг считаю, что редактором надо избрать Петрова.

Кто же будет перечить новоиспеченному руководителю?

Мои возражения в расчет не приняли. Хором растянули:

— По-мо-жем!

Газету назвали: «Промывка». На фанерном листке — пять колонночек. Заголовок размалевали суриком. Пылающая «Промывка» останавливала людей. Заметки меняли раз в неделю, не то что в других цехах: от Первого мая до годовщины Октябрьской революции.

— Молодец, редактор! — подбадривал Саша Патарушин.

Мой напарник Иван Васильевич шутил:

— Хорошо работать под началом редактора! По крайней мере, в печати не раскритикуют.

— Нам, Иван Васильевич, критика не страшна. У нас с тобой на вооружении самокритика!

Не думал и не мечтал, что «Промывка» круто повернет мою жизнь. Однажды возбужденный Саша Патарушин, появившись у ремонтной канавы, огорошил:

— Едем с тобой, дорогой товарищ, в Москву, на курсы!

— Какие еще курсы?

— Самые настоящие: партийного и комсомольского актива всей Северной дороги. А программа — с ума можно сойти! И история ВКП(б), и география СССР, и литература, и русский язык.

— Не шутишь?

— В моем положении такими пустяками заниматься нельзя!

Саша расстегнул карман гимнастерки, вытащил вчетверо сложенный листок и развернул его передо мной:

— Читай! Зайдешь, когда отмоешься, после смены в комитет комсомола, самолично вручу.

Это было предписание. На машинке напечатаны мое имя, отчество и фамилия.

Потекли, а вернее, полетели дни учебы на даче в Болшеве. Лекции читали ученые с большими именами. Профессор рассказал о только что закончившемся Конгрессе Коминтерна, где обсуждался вопрос о создании единого фронта. В СССР прошел съезд физиологов. И мы благодаря учителям получаем представление о работах Павлова в Колтушах. В Москве побывал Пьер Лаваль. Подписан договор о взаимной помощи. В Германии объявлена всеобщая воинская повинность. Между самыми непохожими и далекими друг от друга фактами и событиями, оказывается, имеется логическая связь. Нас приучали не только читать газеты, но и осмысливать происходящие в мире события.

Лекции перемежались экскурсиями. Смотрели и не могли наглядеться досыта на первые подземные дворцы Московского метро. Была встреча с делегатами Второго съезда колхозников. Своими глазами видели героев полей Прасковью Ангелину и Марию Демченко.

Всем курсантам выдали новенькое обмундирование: синий китель и брюки навыпуск.

Саша Патарушин то и дело вертелся перед зеркалом, без конца восклицал:

— Гусары, да и только! Кителек-то, кителек-то! Переливается! И петлицы бархатные! А пуговицы? Золото! Держитесь, няндомские девчата! Окрутим ваши головы, красавицы!

Кончились курсы. Всех нас пригласили в Управление дороги, вручили предписания, меня направили в редакцию газеты «Лесная магистраль» — орган политотдела Няндомского отделения. Сашу определили на руководящую комсомольскую должность.

На новую работу шел с двойственным чувством: манила к себе загадочная профессия и в то же время робко было садиться за редакционный стол.

Представился редактору Василию Курочкину. Бог не обидел Курочкина ростом. На мощных плечах — крупная голова с пышной черной шевелюрой. На мясистом носу — роговые очки, которые почему-то ежеминутно сползали на кончик носа. Редактор пальцем правой руки ставил оправу на переносицу.

Выполнял он эту процедуру изящно, как прирожденный аристократ.

В комнате с редактором размещался и секретарь редакции Калиничев. Его привез с собой Курочкин из Вологды. По сравнению с редактором выглядел Калиничев колобочком. Его пухлое личико украшали очки в тонкой, почти ажурной оправе.

Работал Калиничев с остервенением. Он беспощадно кромсал статьи и заметки, только что отпечатанные машинисткой Настей. Для секретаря редакции не было ни свата, ни брата. Даже передовую, написанную самим редактором, он без малейшего смущения перекраивал от начала до конца. Молниеносно придумывал Калиничев броские заголовки, определял, каким кеглем и на сколько квадратов набирать материал.

Шальная плодовитость Калиничева не вдохновляла, а, скорее, угнетала, ошарашивала. Рядом с ним я чувствовал себя беспомощным существом. Казалось, что газетная премудрость недосягаема для меня.

Куда приятнее было находиться в комнате, расположенной за стеной редакторского кабинета! Там стучали верстатки. Заметки ложились в гранки. Вечером вваливался в типографию редактор, любивший поколдовать во время верстки полос. Он время от времени предлагал мне то сократить материал, то вписать фразу.

Десятки раз перебирались шапки и заголовки. Верстальщик Иван Иванович — плоский как доска, зная прихоти Курочкина, не перечил. Лишь изредка, отдышавшись от кашля, старик робко подсказывал:

— Может, шестнадцатым латинским лучше будет?

Курочкин не терпел возражений. Он требовал, чтобы каждая его задумка выполнялась от буквы до буквы.

Однажды послал меня Курочкин в командировку. Перед отъездом проинструктировал:

— На станции Исакогорка выбиваются поезда из расписания. Разузнай что к чему — и разнеси в пух и прах!

Не один день пробыл я среди людей в Исакогорке. Депо там не такое, как в Няндоме. Нет подсобных цехов: ни токарного, ни кузнечного. Слесаря устраняют лишь самые неотложные неисправности. Работают они на совесть. Не знают ни дня ни ночи и начальник депо, и мастера. Одно нарекание у рабочих и ИТР: работы невпроворот, а рабочих рук маловато.

Вернулся и написал, что видел. Редактор, прочитав корреспонденцию, швырнул листочки секретарю и приказал:

— Выправить!

В моей статье Калиничев не оставил живого места. Все факты перевернул шиворот-навыворот. Фамилию начальника депо,

якобы злостно срывающего график, вынесли в шапку. Под заголовком «Бракоделы» набрали курсивом: «От нашего специального корреспондента». Подписывая полосу в печать, Курочкин назидательно сказал:

— Учись, как надо работать!

В Исакогорке с той поры ноги моей не было… Стыдно было показаться на глаза людям, которых несправедливо разнес…

И наверное, махнул бы я на газету, ушел бы снова в депо, если бы не приехал в Няндому корреспондент дорожной газеты «Северный путь» Иван Суздалов. Он откровенно сказал, как старому знакомому:

— Читал твою погромную статью. Грубовато, а главное, бездоказательно.

Меня бросило в краску. А в васильковых глазах Суздалова не было насмешки. Он шепнул:

— Не огорчайся! Не велика беда, что первый блин комом. К тому же вижу, что словечки-то в статье не твои. Школу Курочкина и Калиничева я прошел. Кто-кто, а они умеют тачать статейки по своей колодке. Пойдем-ка вместе искать материал.

На улице он спохватился:

— Между прочим, было бы неплохо, если бы ты познакомил меня со своим братом Михаилом. Он ведь, кажется, один из лучших машинистов в вашем паровозном депо?

Михаил оказался дома и согласился побеседовать с корреспондентом. Начал Суздалов разговор очень просто:

— Как-то не приходилось до сих пор писать о машинистах. Если можно, поведайте о своих делах так, как будто имеете дело с человеком, не сведущим ничего в вашем деле.

К моему удивлению, Суздалов не достал из кармана блокнот. Он просто-напросто слушал. Потом, уже в нашей редакции, записал несколько фраз:

> «Друзья детства. Почетная грамота. Книга: «Руководство для паровозного машиниста». Бригада на промывке. Перед рейсом. Контрпар».

— При разговоре с человеком, — пояснил Суздалов, — старайся не показывать бумагу. Блокнот, карандаш или ручка смущают, сковывают собеседника. Он не раскроется тебе, не скажет главного.

Потом Суздалов встречался с начальником депо, с начальником отделения, с поездными бригадами. И везде так, между прочим, просил высказаться о двух машинистах одного паровоза — Николае Дмитриевиче Мельникове и Михаиле Александровиче Петрове.

Вскоре за подписью Суздалова появился очерк. Для меня он был предметным уроком. Оказывается, то, о чем по скромности не сказал Суздалову брат, корреспондент узнал от других людей. Он так влез в существо дела, что сумел найти те самые крупицы опыта, которые мы безуспешно пытались дать в своей газете. Суздалов почище специалиста оперировал техническими терминами, подсказывал паровозным бригадам, как надо бороться с утечкой пара, как добиваться безотказной работы тормозов. Нашел он слова, чтобы нарисовать картину, когда Михаилу удалось предотвратить крушение поезда, принятого на занятый путь.

При новой встрече я поздравил Ивана Суздалова.

— Это уже дело прошлое, — ответил он. — Теперь новое задание. А у тебя как идут дела?

— Нацелился писать о лучшем диспетчере отделения Иване Гавриловиче Сироткине. Только об искусстве управления движением поездов я и понятия не имею.

— Это как раз и хорошо. Не стесняйся, скажи Ивану Гавриловичу, что ты разбираешься в его делах, как свинья в апельсине. Посиди, если надо, всю ночь на его дежурстве, понаблюдай, как он «ведет» поезда на огромных расстояниях.

Нелегко дался мне первый крупный опус.

…Небольшая комната с окном, затянутым черной шторой. На конторке, освещенной лампой, скрытой под металлическим колпаком, ватман. Его можно сравнить с огромной шахматной доской. Внизу и вверху ватмана — границы отделения. Одна — на севере, в Архангельске, другая — на юге, в Вожеге. По клеточкам ползут десятки линий, красных и черных. Красными линиями обозначены пассажирские и почтовые поезда. Им должна быть при всех случаях обеспечена зеленая улица. Каждый поезд имеет свой номер. Паутина линий ползет навстречу друг другу и с севера, и с юга. На многих станциях и разъездах линии скрещиваются. Искусство диспетчера и состоит в том, чтобы поезда разминулись на однопутной линии с меньшей потерей времени.

Человек, сидящий у селектора, сплачивает воедино дежурных по станциям и разъездам, паровозные и поездные бригады. Малейшая промашка грозит пробкой, которую не «расшить» и за несколько суток. Критические моменты возникают ежеминутно то в одном, то в другом месте.

Ивана Гавриловича бросали на узкие места. Он дежурил и на участке Вожега — Няндома, и на участке Няндома — Архангельск.

— Вызываю Вандыш! — повелительно говорит диспетчер в

селектор.

И в ту же секунду:

— Вандыш слушает.

— В час ноль-ноль на станцию прибудут два эшелона. Один — с юга, другой — с севера.

— Принять не могу. Свободен только один путь. На втором пять платформ, поданных под погрузку леса.

— А тупик? У нас же есть тупик!

— Для переброски платформ сейчас нет ни паровоза, ни дрезины.

— Разбудите людей, перекатите платформы в тупик вручную. В вашем распоряжении тридцать минут. Доложите о готовности к принятию двух поездов.

И вслед за этим:

— Емца?

— Емца слушает!

— Пригласите к селектору машиниста поезда двенадцать-девяносто три.

— Машинист поезда двенадцать-девяносто три слушает!

— Сергей Петрович, здравствуйте. Говорит Иван Гаврилович. Просьба к вам. Не сможете ли нагнать в пути двадцать минут? Хочу ваш маршрут ввести в Няндоме в график. Даю вам зеленую улицу.

— Трудновато, Иван Гаврилович. В топке потекли дымогарные трубы. Но все же постараемся уважить вашу просьбу.

Так всю смену. Готовых ходов и решений нет. Когда помогает приказ, когда просьба. Здесь, у селектора, бьется пульс дороги. Он не позволит затихнуть движению. По стальным ниткам, питающим страну, поезда идут по графику…

Пришло новое оборудование для нашей типографии: «американка», шкафы-реалы, наборные кассы, комплекты шрифтов — текстовых и заголовочных, медные линеечки, отливающие золотом. «Американка» уже не одну неделю стоит в ящиках. Монтажники не спешат. Заметив азартный блеск в моих глазах, редактор снизошел:

— Собирай, монтируй, не возражаю.

Загадочно звучат названия: тигель, талер, валики. Не верится, что своими собственными руками ставлю раму с набором на талер. Как рыба на сковородке, шипят валики, накатывая набор краской. Тигель плавно прижимается и тут же откидывается назад. А после этого в руках четкий, свеженький оттиск полосы. Не надеясь на положительный ответ, прошу:

— Можно попечатаю, Иван Иванович?

— Попробуй.

Как опытный печатник, отмыл руки керосином. Подрыхлил стопку бумаги на полочке справа, включил рубильник. Тигель еле-еле качнулся и медленно описал кривую — одну, другую. Неожиданно мотор натруженно загудел. Тигель будто сорвался с цепи и начал метаться, как в лихорадке. Я едва успевал отбрасывать оттиски в сторону.

— Выключай, пока не поздно, мотор! — прокричал Иван Иванович.

Рванул на себя рубильник. «Американка», сбавив ход, притихла. Слева от машины — груда испорченных листов.

Вид у меня был, видимо, не из бодрых.

— Не падай духом, — успокоил Иван Иванович. — Не велика беда, что наделал браку. Плохо, что сунулся в воду, не зная броду. Так можешь и покалечиться и машину угробить.

Выложив в верстатке очередную строку, он пояснил:

— К мотору реостат нужен. Тогда у машины плавный ход будет. Будет тогда и качество.

Старый наборщик всем своим поведением давал урок трудолюбия. Высохший, длинный, с запекшимися губами, Иван Иванович ни минуты не обходился без дела. Закончив набирать статью, он стягивал шрифт шпагатом, смачивал колонку мокрой тряпкой, накатывал набор ручным валиком. Затем набрасывал на колонку мокрый листочек и выбивал оттиск щеткой. Отпечаток откладывал на вычитку. Тут же принимался орудовать шилом, исправляя набор после корректуры. В промежутках между срочными делами принимался разбирать старые полосы. Литеры из его рук сыпались горохом и падали безошибочно в нужные гнезда наборной кассы.

Вместе с высоким мастерством унаследовал Иван Иванович и профессиональные недуги полиграфистов царского времени. Его точил туберкулез. Когда заводились деньги, он пил. Его глаза, затянутые желтой пленкой, слезились. После похмелья, за что бы он ни брался, все валилось из его рук. С досады он сплевывал и уходил, чтобы любой ценой разжиться на четвертинку. Выпивал ее залпом, без закуски, сваливался тут же у верстака и засыпал беспробудным сном. Запои продолжались неделями. Редактор посылал в его адрес проклятия, грозился выгнать.

К счастью, наступало просветление. Иван Иванович, смущенный, переступал порог редакторского кабинета. Из-за плотно закрытой двери долго неслись раскаты громового баса Курочкина. Редактор в конце концов сменял гнев на милость. Пристыженный и какой-то пришибленный, Иван Иванович молча приступал к своим обязанностям. И снова все у него ладилось.

Ладилось до… новой беды.

Стараясь вывести старика из угнетенного состояния, я обращался к нему с первыми попавшимися просьбами:

— Можно, Иван Иванович, я попробую понабирать?

В такие минуты в глазах старика вспыхивала искорка благодарности. В его взгляде было написано: «Спасибо, что не побрезговал обратиться ко мне. Спасибо, что не помнишь зла!»

Он выбирал из стопки оригиналов маленькую заметочку и в знак одобрения моей затеи кивал, к какому верстаку мне можно встать.

Слова, изложенные на листочке, приобретали форму строчек из свинцовых литер, чтобы потом перейти на бумажный лист и отправиться в тысячах экземпляров к людям. Они читали, что на севере строится Беломоро-Балтийский канал, а на промышленных предприятиях созданы подсобные хозяйства. В газете появился призыв: «Каждому заводу, каждой столовой — свой крольчатник!» А рядом заметка о том, что в стране создан первый станок «ДИП» — «Догнать и перегнать». В Каракумской пустыне испытываются отечественные автомобили и самолеты конструкции Туполева и Яковлева. Летчик Водопьянов совершил перелет на дальность по маршруту: Москва — Камчатка. Летчик Коккинаки побил рекорд высоты, принадлежавший доныне итальянскому летчику.

Ко всему этому имеет, оказывается, прямое отношение моя новая профессия. Можно гордиться тем, что газетчик первый узнает о событии, тем, что именно он, а не кто-нибудь другой, несет весточки читателю.

В типографии соорудили закуток, который назвали очень громко: «Фотолаборатория». Здесь можно было проявлять негативы, печатать и увеличивать. Теперь я носил с собой фотоаппарат и вспоминал добрым словом своих учителей Илью Петровича Попова и его сынишку, школьного товарища Павлушку. Аппарат был далек от совершенства. Но в запасе как-никак была дюжина кассет. Можно прибегать к моментальной съемке. Нет-нет да и удавался кадр, который приходился по вкусу секретарю редакции. Калиничев отправлял отпечатки в Вологду, в цинкографию. В газете печатались местные снимки. Я был на седьмом небе: в Няндоме завелся фоторепортер! А такая операция, как сдача материала секретарю редакции, — по-прежнему что нож в сердце. Калиничев не кричал, а вежливо, подчеркнуто деликатно отмечал мои огрехи. Оплошности действительно были нелепейшими.

— Ведь это же, молодой человек, явная небрежность с вашей стороны, — пилил Калиничев. — Будьте любезны, полюбуйтесь на

свой труд, труд правщика. Я с удовольствием прочту вам хотя бы вот эту фразу: «Паровозное депо получило строгое указание усилить контроль за качеством текущего ремонта. За каждый случай выпуска их с отступлением от установленных технических условий бракоделов привлекать к ответственности».

— Выпуска их, — растягивал Калиничев. — Кого их? Текущего ремонта?

Я беспомощно лепетал:

— После слов «за качеством текущего ремонта» я выбросил слово «паровозов». Чего же, как не паровозы, ремонтируют в паровозном депо?

— Великолепно! — восторгался Калиничев. — У молодого человека, оказывается, есть своя логика! Хорошо-с! Вы выбросили слово «паровозов». Не возражаю. Тогда надо быть последовательным до конца. Зачем же вы оставили слова «выпуска их»? Их надо удалить. Тогда все будет на месте: «За каждый случай отступления от установленных технических условий бракоделы будут привлекаться к ответственности». Прочтите, милейший, еще раз выправленную мной фразу. И вы убедитесь, что я ни в какой степени не кривлю душой, а преподаю по долгу своей службы простейшие, элементарные уроки.

Калиничев, конечно, был прав, но от его неотразимых назиданий на душе становилось муторно. Я пыхтел над каждой фразой, переписывал без конца заметки, а на поверку выходило, что опять промашка!

В заметке, которую я предложил в набор, было сказано:

> «На станции Коноша состоялся субботник. В нем приняли участие 200 человек. На очистке станционных путей трудились 60 рабочих, 20 инженеров и техников, 100 женщин и подростков — члены семей железнодорожников».

Кажется, на этот раз, думалось мне, не к чему придраться. Фразы вроде построены правильно. На месте точки и запятые. А Калиничев, пробежав текст, завелся:

— Так же нельзя, молодой человек! Прочтут эту заметку люди и скажут, что нашей газете нельзя верить, так как она занимается приписками. Автор заметки, а вместе с ним и штатный работник газеты утверждают, что на субботнике работали двести человек. Не так ли?

— Так, — поддакнул я.

— Та-ак, — растянул Калиничев. — За что вы заработную плату получаете, литературный работник! Простой арифметики не знаете! Шестьдесят плюс двадцать плюс сто. Сколько будет?

По Малинину-Буренину, выходит, что на субботнике работали сто восемьдесят человек. А вы утверждаете, что двести. Где же истина?

После каждого такого урока набатом гремело в душе: «Терпеть, терпеть, терпеть! Но не отступать!»

В моих заметках и статьях наверняка были и красивости и нелепости. Были находки, была радость, были и горькие пилюли. Но в этом, видно, и есть своеобразие неусидчивой профессии. Так думалось не раз.

Отец долго, очень долго читал свежие, пахнущие типографской краской номера газеты. С особым пристрастием читал он материалы за моей подписью.

— Неплохо, — сказал однажды он. — Машиниста из тебя так и не получилось. Жаль, конечно. Но вижу, что из тебя выйдет толк!

На другой день, вручая мне старинные часы «Павел Буре», побывавшие у старших братьев, отец сказал:

— Теперь они твои на всю жизнь…

МОСКВА, УЛИЦА КИРОВА, 13

Леша, приехав в Няндому, обрушился на меня:

— Хорошо, что печатаешься. Но без знаний будет туго. Никаких у тебя нет перспектив. Так и останешься ремесленником в газетном деле.

— В чем же моя вина?

— Не вина, а беда. Учиться надо. Нанимай репетиторов и готовься в институт.

— Легко сказать.

— А что, у тебя семья, дети? Или, может, уже обворожила какая? Я бы на твоем месте к чертовой матери послал всех девчат, не слонялся бы попусту вечером. Намотай на ус: потеряешь время сейчас, потом уже не нагонишь.

— У меня и так, что ни день — испытания. Один Калиничев чего стоит!

— Это не испытания, а азбука.

Растормошил меня брат. Земной поклон ему за науку.

Через год в моих руках оказалась книжечка в красной обложке. А в ней черным по белому было написано: «Студент Коммунистического института журналистики имени «Правды».

Это — в Москве, на улице Кирова, 13.

Когда-то папа показывал мне эту улицу. На бывшей Мясницкой поражал своей громадой почтамт, магазин «Чай», похожий на игрушку. Здесь рядом Кривоколенный переулок, где жили родственники. Тогда Москва была сказкой. А теперь реальность, но в нее все еще трудно верится.

Пишу письма в Няндому родным, а особенно Егорке Кабрину, с которым разделил свой первый рабочий день.

«Москва, 1 сентября 1937 года.

Дорогой Егор!

Хожу под впечатлением статьи академика Павлова, которую сегодня прочитал в газете.

«Что бы я хотел пожелать молодежи моей Родины, посвятившей себя науке?» — спрашивает он.

Мудрый человек советует быть последовательным, хорошо изучить азы науки, не иметь привычки прикрывать недостаток своих знаний. Надо быть сдержанным и терпеливым, не бояться черной работы в науке. Изучать, сопоставлять, накапливать факты, так как факты — это воздух ученого. Академик наказывает

быть скромным. Я выписал одну фразу, надо и тебе хорошенько ее запомнить: «Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать себе: «Я — невежда».

Хожу и спрашиваю себя: «Кто же я сейчас?» Конечно невежда!

Начался первый учебный год. Постараюсь следовать советам академика. Пиши, не забывай».

«Москва, 1 октября 1937 года.

Дорогой Егор!

Буду отчитываться перед тобой каждый месяц. Все в моей жизни в новинку. Можешь ли ты представить меня в роли агитатора, да еще в Москве? Когда мне об этом сказали, кровь в жилах от страха остановилась. Как на казнь, шел в квартиры двухэтажного дома на Садовом кольце. Но робел-то напрасно. Люди встречали приветливо, а в семье старой учительницы приняли, как сына. Ни одно посещение не обходится без чаепития. Отказываюсь и так и сяк — ничего не помогает. У учительницы есть дочь Вера, тоже студентка. У нее туго дело с географией. Мамаша намекнула, не могу ли я помочь дочери.

Таскаюсь теперь я, Егорка, на избирательный участок с картами и указкой. Показываю Вере, где Восточно-Европейская равнина, где Западно-Сибирская низменность, где Средне-Сибирское плоскогорье. «Душно, — жалуется Вера, — ничего в голову не лезет. Может, повторим?» Я рад стараться. Снова вожу указкой по карте. Потом спрашиваю: «Ну а теперь запомнилось?» А Вера и на карту не смотрела. Меня с ног до головы разглядывала. Я даже оцепенел. Вера, ничуть не смутившись, предложила: «Давайте, агитатор, плюнем на географию! Пойдемте лучше в кино». Я про себя подумал: «А можно разве агитатору ходить в кино с избирателем?» А Вера настойчиво: «Пошли! Идет новая картина!» Решил: «Была не была! Семь бед — один ответ!» Сходили мы в кино. И оба не пожалели! Вот такая, Егор, произошла со мной история…

Жду весточки, друг!»

«7 ноября 1937 года.

Дорогой Егор!

И денек же сегодня был! Запомнится на всю жизнь! Гремят на улице репродукторы. Плывет мелодия «Широка страна моя родная…» Когда собирались на демонстрацию во дворе нашего института, принесли свежий номер газеты «Правдист». На первой полосе лозунг: «Да здравствует XX годовщина Великой Октябрьской социалистической революции в СССР!» Развернул газету и ахнул: на второй полосе крупно-крупно написано: «Нам двадцать лет». Под этой шапкой портреты, и в том числе мой. Никогда бы не подумал, что меня изобразят на цинке. Напечатаны в газете заметки юбиляров — Юрия Филоновича, Федора Устименко, Поля Концевого. Слова у ребят разные, а судьба одна. Все из рабочих и крестьянских семей. Все знают, что такое голод и нужда. Все рады-радешеньки, что учатся на журналистов!

Вернулись с демонстрации далеко за полдень. Гудят от усталости ноги. Распирала досада. В первый раз был на праздничной Красной площади и не видел ни Сталина, ни Ворошилова. Они в момент, когда мы проходили мимо Мавзолея, ушли с трибуны. Теперь жди 1 Мая, да и неизвестно, улыбнется ли счастье?

Вечером ходил на избирательный участок. Отмечают люди праздник на широкую ногу. Везде застолье, песни. Забыли люди про карточки продовольственные и промтоварные. Есть чем украсить стол, есть что надеть. После посещения нескольких квартир захмелел.

К Вере не заглядывал. Побоялся…

Пиши, Егор».

«12 декабря 1937 года.

Дорогой Егор!

Сегодня день выборов в Верховный Совет СССР. Встал я чуть свет — и сразу к избирателям. Стук в одну дверь, в другую — не отвечают. Кинулся на избирательный участок. И как гора с плеч: все мои милые знакомые стоят в очереди. Пришли голосовать первыми. Здесь и учительница Елена Ивановна, и ее дочь Вера. Девушка, сощурив глазки, пропела: «Хорошо поработал, агитатор, как видишь, не подвели!» Отвечаю: «Хорошо или плохо — не мне судить». А она в ответ: «Не

прибедняйся!»

После голосования возвращались домой с песнями. Вера, подхватив за руку, шептала: «Ну как, агитатор, после выборов небось забудешь дорогу в наш дом? А я тебя все равно найду!» Хотелось ответить: «Глупенькая ты! У меня нет желания скрываться от тебя. Может быть, даже наоборот». Хотел ответить, да промолчал. Сам не знаю почему. Было ли у тебя Егор, в жизни такое?

Напиши!»

«25 декабря 1937 года.

Дорогой Егор!

Думал, что после выборов будет больше времени для учебы. А в комитете комсомола сказали, что работу по месту жительства продолжать. Назвали даже тему очередной беседы: «Двадцатая годовщина Советской власти». Засел готовиться. Листаю подшивку за 1937 год. Все вроде свежо в памяти, а на поверку вышло, что многие события года будто сам для себя открыл.

Не утерпел и сделал выписку из новогоднего приветствия Ромена Роллана. Надо же уметь говорить так горячо и страстно:

«В этот час, когда против СССР направлена ненависть всех разновидностей фашизма и всех видов взбесившейся реакции… в этот час я хочу выразить Советскому Союзу свою неизменную верность и свою привязанность к его огромному народу и к его вождям. Я должен сказать, что больше всего привязан к советской молодежи, полной горячей веры и самоотверженности, и что я чувствую себя братски связанным с ней.

Живой или мертвый, я всеми своими идеями непрестанно буду с ней и с народами Советского Союза в их испытаниях и боях, в их радостях и горестях, в их геркулесовой работе, расчищающей болото старого мира, чтобы построить на оздоровленной земле новый мир. Я буду с ними и в час решающей победы, которая объединит народы всей земли».

Да, год был, по-моему, замечательный. Помнишь, весной в районе Северного полюса была основана первая научно-исследовательская станция на дрейфующих льдах. Неугомонные Шмидт и Папанин работают на станции «Северный полюс». В это же время в другом краю Арктики начался дрейф ледокола «Седов».

А летом? На самолете АНТ-25 Герои Советского Союза Чкалов, Байдуков и Беляков совершили перелет по маршруту Москва — Северный полюс — Портленд. 10 тысяч километров преодолены за 63 часа 25 минут! А вслед за этим экипаж в составе Громова, Юмашева, Данилина без посадки пролетел из Москвы в Америку за 62 часа 17 минут. И снова через Северный полюс.

В хорошее время, Егор, мы живем. Приятно, что мы еще молоды и есть куда приложить свои силы.

В письмах многое не расскажешь. С нового года решил вести дневник. Приеду на каникулы — отчитаюсь за каждый день».

На первом листочке общей тетради поставил цифру: «1938 год».

Пишу украдкой от ребят, главным образом вечером, перед сном, прямо в кровати.

Теперь у меня много новых друзей. Есть и с Волги, и с Урала, и из Сибири. Я живу в комнате с Мишей Хутинаевым и Володей Кулаевым. У нас заведен железный распорядок: после лекций принимаемся за работу. Никаких вопросов и разговорчиков! В семь часов Володя Кулаев, старший из нас, подает команду:

— Кончай! Ужинать!

За работу принимался дежурный. Он доставал из тумбочки закупленные еще днем продукты, бежал за кипятком. В нашу коммуну входил и сосед чеченец Халид Вагутлев. Дежурили по очереди. Полагалось тратить на всю братию не больше трех рублей. По дежурству можно было судить, кто на что способен в житейских делах.

Гордый чернобровый Халид Вагутлев считал ниже своего достоинства «ломать голову над пустяками». Он чаще всего приносил хлеб и колбасу. То и другое было порезано на ломти и кусочки прямо в магазине.

Володя Кулаев, работавший до института в североосетинской республиканской газете в отделе культуры, признавал только кондитерский магазин. Нам приходилось довольствоваться сладостями и ложиться спать голодными.

Мой одногодок Миша Хутинаев оставался и в практических делах джигитом. Он угощал нас сыром и брынзой.

Ребята ждали моего дежурства, так как знали, что ужин будет настоящим, плотным. Они с удовольствием уплетали квашеную капусту с луком, сдобренную постным маслом, соленые грибы с приправой или яйца всмятку.

Перед сном — зубрежка.

У кровати на уровне подушки висят листочки с датами. Договариваемся, что вопросы, по своему усмотрению, будем задавать попеременно.

Володя подает команду:

— Начали! Евгению в шпаргалку не заглядывать. Смотреть в потолок!

— 1242 год?

— Победа Александра Невского.

— 1380-й?

— Куликовская битва.

— 1581-й?

— Начало похода Ермака в Сибирь.

— 1826 год, 13 июля?

— Казнь декабристов в Петропавловской крепости.

— Кончай, — останавливает Володя. — Молодец, Евгений. Теперь экзаменуюсь я. Евгений называет событие, а я буду называть дату.

— Ледовое побоище?

— 1242-й.

— Полтавская битва?

— 1709-й.

Датами испещрены десятки листков. Хронология начинается с конца второго тысячелетия до нашей эры — образованием Халдского царства — и кончается 1938 годом. В конце хронологии примечание: «Подчеркнутое обязательно для запоминания». А подчеркнуто почти все. Халид Вагутлев, гораздый на выдумки, приписал: «1917 год. 8/2. В Олонецкой губернии родился Петров Е. А.». И ниже: «Не зная всех дат — не ходи сдавать курс. Я лично не пойду, если доживу до дня этой экзекуции».

В воскресные и праздничные дни в общежитие приходили земляки Миши и Володи. Запросто беседовал с нами Татрбек Джатиев — директор североосетинского издательства «Ир». В комнате стоял пир горой. Гости приносили вкусные вещи, не скупились на «горючее».

Чтобы не стеснять людей, я пытался уйти.

— Ты далеко ли, друг? — останавливал Володя.

— Погулять.

— А у нас что? Лекция? Оставайся. Живем одной семьей. Секретов нет. Чем богаты, тем и рады!

Начались экзамены. Голова у всех забита географией. Многие отличники получают троечки, а кое-кто и двойки. Один задавака, не изучая карты, твердил, что экзамены — это своего рода

лотерея. Все счастье в том, какой вопрос попадется! Но счастье ему в этом семестре не улыбнулось.

— На каком же вопросе ты засыпался? — допытываются ребята.

— Где растет рожь.

— Ну, а ты что?

— Откуда мне знать про рожь? Я на юге вырос. Черный хлеб в Москве впервые увидел.

Смех смехом, а география все же очень твердый орешек. Карты старые. Найти новые стройки, рудники, месторождения — все равно что отыскать хребты и равнины на контурном листке. Вся надежда на память. Раньше было проще. Спросят в школе: «Где угольные месторождения?» Конечно в Донбассе! Где же еще! «А где качают нефть?» В Баку. Ребенок и тот знает! Металл испокон веков плавили на Урале. А теперь приходится зубрить: «Петровско-Забайкальский металлургический завод», «Амурсталь». А о новых месторождениях и говорить не приходится. Пока запомнишь — язык сломаешь.

Накануне Первомая географию сдал. Вышел из кабинета злой. Обидно было, что опростоволосился на пустяке. Билет попался не страшный. Отвечал бойко, профессор не давал даже как следует развернуться. Останавливал на полуслове и предлагал переходить к другому вопросу. Видел, как он начал выводить в зачетке букву «О». Но вдруг взбрело ему в голову задать дополнительный вопросик:

— Назовите и покажите на карте новое месторождение никеля.

Я замялся на минутку. Помню, что проклятый значок торчал где-то. А где точно — вылетело из головы.

— Ну-с, с вас достаточно, — заключил профессор.

И поставил «уд.».

С какими глазами приду к своим бывшим избирателям? Что скажу Вере? Агитатор, а элементарных вещей не знает. Стыдно!

География вышла мне боком. В мае подошла очередь сдавать историю. Вопросы попались совсем легкие: «Первые рабочие организации в России», «Башкирское (Алдар-Кусюмовское) восстание». Первый вопрос знал назубок. Второй тоже не смутил, так как цифры «1705—1707» прочно сидели в голове. Только я разошелся, как профессор оборвал:

— Давайте вашу зачетную книжку.

Настроение у экзаменатора было прекрасное.

— Чувствую, — говорит он, — вы, любезный, предмет изучили всерьез. Память у вас неплохая.

А как раскрыл зачетку, заговорил по-другому:

— Как же вы, милейший, географию сумели на «удовлетворительно» сдать? Совершенно непонятно. Если человек разбирается в истории, он не может попасть впросак на географии. Придется мне остановиться на вашем географическом уровне. И поставил «уд.».

К нам в институт приезжала Елена Кононенко. Не раз читали мы ее очерки. Но одно дело читать, а другое дело слушать рассказ самого мастера слова.

Перед встречей мы прочитали всем курсом очерк Елены Кононенко «Эгоисты». Журналистка раскрыла нам технологию его создания. Рождается очерк не так-то вдруг, рассказывала Кононенко, он вынашивается годами. Надо приучить себя записывать в блокнот впечатления дня, высказывания людей, с которыми встречались, отдельные факты. Записывать, хотя эти факты и наблюдения не кажутся сегодня злободневными. Потом, может через годы, судьба сведет вас с собеседником, который чем-то напомнит вам прежние встречи. Вы начинаете сравнивать, сопоставлять. Между прошлым и настоящим есть логическая связь. Факт повторился. Значит, он не случайный. Появляется желание взяться за перо, чтобы поделиться своими выстраданными мыслями с людьми.

Елена Кононенко советовала учиться наблюдать, примечать детали. Без этого нельзя создать ни яркого образа, ни картины.

Вечером встретился с Верой. Рассказал ей обо всем, что слышал от Кононенко.

— Давай попробуем понаблюдать, — предложила Вера.

— Давай. Вот идет нам навстречу старик. Чем он отличается от других?

— В белом кителе.

— В правой руке трость.

— Ноги почти не поднимает, шаркает штиблетами.

Старик свернул в аллею.

— Ничего в этом старике нет приметного, — разочарованно заключила Вера. Таких, как он, в белом кителе, с тросточкой, в штиблетах, тысячи.

— Может, мы плохо наблюдали, Вера? Давай нагоним старикана и понаблюдаем еще.

Старик сидел на лавочке, положив кисти рук на трость.

Мы уселись напротив, смотрели украдкой. Вера ни с того ни с сего встала и повелительно шепнула:

— Пошли!

— Я же не нашел еще нужной детали!

— А я ее нашла!

— Неужели?

— Я этого старика найду хоть среди тысячной толпы.

— Ну а какая примета?

— Нос!

— А ведь верно! Он у него — как еловая шишка, весь в коричневых чешуйках.

— Вот именно в чешуйках! Как твой — весь в веснушках!

В гости приехал Павлик Попов, мой милый школьный товарищ. Павлик повзрослел. Резко очертился плоский подбородок. Глаза горят как светлячки, так и зазывают к себе, особенно девчонок.

После лекций бродили мы по городу. Оттого, что рядом друг, огни, площади и бульвары выглядели ярко, празднично.

Робко спрашиваю:

— Павлушка, нос у меня на еловую шишку не похож?

— С чего ты взял? Нос как нос.

— А я почти всю ночь не спал, ощупывал свой нос.

— Нашел занятие!

— Найдешь, если жизнь заставит!

— Не темни, друг. Не пойму я сегодня тебя.

— Мне Вера на днях сказала: мол, нос мой — что еловая шишка, весь в веснушках.

— Значит, Веру завел? И молчишь! Нехорошо. Но для огорчения причин нет. — Немного спустя заключил: — Плохо еще девчат ты знаешь. Они, если влопаются, могут сказать и похлеще! Так что успокойся. Все у тебя на месте.

Судьба разбросала нас с Павликом в разные концы, А дружба, видно, не остыла.

Павлик рассказывает о себе:

— Живу, как ты знаешь, в Смоленске. Работаю техником-строителем. Строим промышленные сооружения, жилье. Приходится и мосты железнодорожные возводить. Рад, что вместе с интересной работой есть дело и для души. Все вечера — в клубе, на репетициях ансамбля народных инструментов. Выступал с сольными номерами по радио. Сейчас проездом из Ленинграда. Там мы выступали вместе с Государственной капеллой.

Слушаю Павлика и никак не могу понять, что же в нем главное? Как ему удается легко, запросто сходиться с людьми? Видно, любят его за неистощимый оптимизм. За то, что все горит, ладится у него в руках. Не успел познакомить Павлика с друзьями по комнате, а он уже с предложением:

— Может, сфотографируемся?

— Неплохо бы!

— Рассаживайтесь поближе к свету!

— Сначала жильцов комнаты! Условились?

Улыбаются в объектив Володя, Миша, Халид.

— А теперь все.

Сидят обнявшись осетины Хутинаев и Кулаев, чеченец Вагутлев, мариец Павлик Петров, чуваш Саша Вишняков.

А у Павлика новое предложение:

— Балалайку нельзя у соседей раздобыть?

— Один миг.

Поет, пляшет комната, будто собралась здесь и нашла общий язык наша большая многоликая советская семья!

Павлик вернул меня мысленно в Няндому. Пробую писать очерк. Переворошил в памяти все значительное. Хочется показать, что есть героическое и в самых обычных буднях.

…Дежурный по станции вручил машинисту жезл. Прозвучал свисток кондуктора, но состав не трогался. Из будки паровоза выглянул машинист и встревоженно заявил:

— Не могу ехать. Провалилось несколько колосников в топке.

Затрещали станционные телефоны. Встревожились и диспетчер, и дежурный по станции, и начальник паровозного депо. По проводам неслось:

— Подавайте немедленно паровоз под состав!

— Запасного паровоза нет!

— Какой же выход?

— Отменить маршрут.

— Это же скандал! Опять новая пробка! Не расхлебаешься и за несколько суток. Объясняйся потом у прокурора!

— Попробуем исправить повреждение на месте.

— Действуйте!

Посылали к составу одну, другую бригаду слесарей. Люди разводили руками, давая понять, что нет охотников лезть на рожон, на верную гибель.

В горячке не заметили, как в будку паровоза поднялся парень в брезентовом комбинезоне, в кепке и затемненных очках, в которых обычно работают электросварщики.

Парень заглянул в шуровочное отверстие топки. Там бушевал огонь. Розово-синие языки тянулись в дымогарные трубы.

— Выручай, друг! — просил машинист. — Приказ здесь не помощник!

— Попробую. Только мне помощь нужна.

— Приказывай, что надо делать!

— Закройте сифон! Приглушите пламя водой! Разгребите на месте повреждения дрова!

Парень сдвинул на уши кепку, надел брезентовые рукавицы, попросил окатить его водой. А потом, просунув ноги в шуровочное отверстие, прыгнул, как в колодец.

Три пары глаз следили за ним. Слесарь вызволил ломиком треснувшие колосники. Вставил на их место новые чугунные отливки. Осталось сделать какую-то малость, но парень вдруг обмяк, перестал двигаться. Он приткнулся у передней стенки котла, похожей на большое решето. За этой стенкой все бурлило и клокотало.

Машинист набросился на помощника и кочегара:

— Что рты-то поразевали! Помогать парню надо. Шланг! Где шланг?

— Да вот же он, под вашими ногами.

— Включай насос. Воздух, воздух в топку!

Холодная струя помогла. Слесарь очнулся. Вялыми движениями посадил на место последний колосник, выпрямился и шагнул навстречу людям, наблюдавшим за ним. Его подхватили и осторожно вынесли на руках на перрон.

Дрова в топке паровоза, облитые керосином, дружно занялись. Давление пара в котле достигло нужного уровня. Стрелка манометра дрогнула и потянулась вправо. Поезд ушел в рейс.

Толпа на перроне волновалась: слесарь не приходил в сознание. Вызвали скорую помощь. Но до прибытия врача парень открыл глаза, смутился, встал без посторонней помощи и медленно поплелся в депо.

Это был, помнится, Леня Прыгов. Сейчас он служит в армии на Дальнем Востоке. Леня еще в школе казался старше своих лет. Видно, оттого, что рано остался без отца.

Очерк так и не «вытанцовывался». Решил — пусть черновик отлежится, тем более что в эти дни пришло письмо из газеты «Лесной рабочий». Она выходит в моей родной Няндоме. Редакция решила показать нашу семью в газете. Просят и меня рассказать о себе.

Странно! Моей персоной интересуется газета!

Корпел над письмом весь вечер. Завтра утром прочитаю на свежую голову и отошлю необычное сочинение в редакцию.

Потратил уйму времени и на сочинение на вольную тему, которую задал профессор Мамонов.

Я на свой страх и риск осмелился создать картинку нашей северной природы, описать рыбную ловлю на утренней зорьке. Вспомнил белые ночи, озера с прозрачной ледяной водой, рыб всех мастей, хитрых и прожорливых.

И вот настал час, когда наши сочинения получили огласку.

Профессор Мамонов разбирал работы с пристрастием. Ему доставляло удовольствие поиздеваться над нелепостями стиля, над редкими орфографическими ошибками, неправильным применением пунктуации.

Дошла очередь и до меня. В гробовой тишине класса прозвучала убийственная, резкая и пронзительная, как удар молнии, фраза:

— Петров. Наврал ты, кажется, больше всех!

Я встал ни жив ни мертв. Неужели куча ошибок? Не может быть! Фразы попроще выбирал, каверзных словечек, в которых сомневался, избегал.

Мамонов коршуном:

— Я сам рыбак! Меня не проведешь! Рыбку-то в мутной водичке приходится ловить. А у тебя? «И вода как слеза». Он и наживку, и рыбку видит!

В душе нарастала злоба: «Потешился, профессор, — и хватит. Не тяни, к делу переходи, казни за ошибки». Мамонов распалился, перешел к нравоучению:

— Писать, молодой человек, надо о том, что хорошо знаешь. Выдумкой не проживешь. О такой рыбалке, о которой ты пишешь, можно только мечтать. Разбередил, проказник, мое сердце.

Я не вытерпел, выпалил:

— Зачем мечтать? Садитесь на поезд и езжайте в наши, Архангельские края. Я и толики всех прелестей, наверное, не сумел передать на листке.

— Ладно, ладно, петушок, успокойся. Врать тоже надо уметь. А у тебя красиво получилось. Поставлю пять.

Получил газету «Лесной рабочий». В номере за 21 мая 1938 года на третьей полосе шапка: «Семья советских патриотов». Во врезке говорится, что наша Родина, весь многомиллионный советский народ выборы в верховные органы союзных и автономных республик встречают победами на всех участках социалистического строительства. Одна из самых замечательных наших побед — культурный рост советских людей.

> «Сегодня мы рассказываем, — говорилось в газете, — об одной из тысяч семей, воспитанных партией, — о семье бывшего рядового рабочего-железнодорожника Александра Дмитриевича Петрова.
>
> В этой семье выросло восемь детей. Все они получили высшее или среднее образование и сейчас занимают ответственные посты. Братья Алексей и Василий — в Москве. Один — инженер, другой — на

партийной работе. Евгений тоже в Москве, учится в Институте журналистики. Дмитрий в Ленинграде, работает главным инженером на заводе. Михаил — начальник Няндомского паровозного депо. Сестра Клавдия — фельдшер Няндомской амбулатории. Надежда — телефонистка. Младшая сестра Тамара учится в средней школе.

Редакция газеты «Лесной рабочий» связалась с братьями Петровыми и публикует полученные от них письма».

Газетную страницу проглотил одним махом. Письма на первый взгляд корявые. К ним не притронулась рука редакционных работников. Текст не приглажен, не прилизан. Да, именно так все и было в нашей жизни: из рабочих и крестьянских семей вырастали учителя, инженеры, строители.

КАВКАЗСКИЙ НАПИТОК

Учебная часть производит запись на практику. Выбирай любое место. Дорогу оплачивает институт. И дома побывать хочется. Хорошо бы и в Смоленск к Павлику Попову поехать или махнуть куда-нибудь подальше.

Мой сосед Миша Хутинаев удивительно красиво рассказывает о своей родине — Северной Осетии.

— Ты же не видел еще настоящих гор. Понаслышке знаешь о Дарьяльском ущелье. Северный Кавказ! Этот край и его людей воспели наш Хетагуров и великий Лермонтов…

— Все, Миша! Все, Дадагка! Верю, не агитируй. Решено. Путь — на Северный Кавказ!

После душной Москвы приятно хлещет в лицо свежий ветер. Дадагка сам не свой. Еще бы! Он едет в родные края! Другу так и хочется лететь впереди поезда, чтобы поскорее показать мне горы.

Снежными островками мелькают в зеленом хлебном море мазанки. В степи тучные стада и табуны. У речушек и ручейков нежатся гуси. На полустанках вблизи деревень — шеренги восторженных мальчишек и девчонок, которые машут руками.

Дадагка был прав. Город Орджоникидзе, бывший Владикавказ, сказочно красив. Железная дорога кончается у подножия гор. Состав останавливается у тупика.

Город раскинулся в котловине. Горы выстроились террасами. За первой грядой, которую, кажется, можно достать рукой, высится вторая, третья. На зеленых склонах домики с черепичными крышами. Дворики утопают в густых зарослях белой акации. Вершины скрыты облаками.

Июнь в здешних местах, говорят, дождливый. Тепло будет в августе. В скверах большие лужи. Чуть свернешь с тротуара — утонешь в непролазной грязи.

Но свершилось чудо! Вопреки прогнозам местных жителей, стоят веселые, солнечные дни. В безоблачном небе горят алмазом ледяные пики. Под палящими лучами солнца испаряются лужи, дышит полной грудью земля. Сердце рвется в горы. Но не время: надо идти на работу.

В редакции газеты «Магистраль нефти» приняли хорошо. Определили в отдел партийной жизни. Дали задание подготовить к набору письма рабочих. Дело это мне знакомое. Мудрить не надо. Первое — уловить мысль автора, отразить ее в заголовке, потом осторожно поправить, сохраняя стиль письма.

Заведующий отделом работу одобрил. В общежитие я

вернулся с чувством исполненного долга.

В выходной день совершили восхождение на вершину высотой 2300 метров. На эту прогулку пригласил заведующий отделом редакции высокий сухопарый мужчина с густой черной бородой. Он заядлый альпинист. Накануне проинструктировал: воды при подъеме не употреблять, хорошо пригнать обувь, запастись сахаром или леденцами, идти размеренно, дышать ровнее.

Встали в 6 часов утра. На полуторке мчались по Военно-Грузинской дороге. На крутых поворотах захватывало дух. Внизу в пропасти неистовствовал Терек. Проскочили скалу со страшным названием «Пронеси господи». У селения Армхи спешились.

7 часов утра. Солнце только-только дает о себе знать.

Проводник пояснил:

— Подниматься будем по долине, обладающей египетским климатом. Сейчас здесь нежный зеленый ковер, а через месяц не уцелеет ни одной травинки. Все будет выжжено.

Преодолели перевал. Впереди неоглядные дали и море цветов, величавые вершины Казбека и Куро.

Пока колесили по склону, солнце набрало силу и палит без пощады. Одно желание: пить, пить, пить! Нарастает тревога: вынесу ли добровольно взятое на себя жестокое испытание?

К счастью, погода в горах переменчива. Только что было бездонное небо — и вдруг невесть откуда набежали облака. Нас нежно окутал туман. Влажные пылинки можно даже растереть ладонью. Какое это счастье после зноя принимать прохладный, бархатный душ!

Вернулись ночью. Ныло все тело. Пропало, испарилось романтическое представление об альпинизме.

Дадагка проходит практику в республиканской североосетинской газете «Растзинад». При встречах любим размышлять вслух о нашей будущей профессии. Нас распирает радость и гордость, когда мы проходим мимо газетных витрин, на которых расклеены номера свежих газет. На полосах, пахнущих типографской краской, есть заметки, подписанные нашими именами. Это, конечно, не рассказ и не очерк, но все равно душа поет. В муках родилось нужное слово, удачная фраза. А это все равно что отыскать жемчужное зерно.

Мы стали придирчивее не только к письму, но и к устной речи. Нет-нет да в разговоре произойдет заминка. Нужного слова под руками нет, а первое попавшееся не хочется произносить.

Дадагка делает все возможное, чтобы мое пребывание на

практике было для меня праздником. Вечером, когда солнце скрывалось за Казбеком и после нестерпимого дневного зноя с гор спускалась прохлада, мы бродили по проспекту Сталина, посещали подвальчики, где пробовали ви́на и специи. В выходные дни уходили в горы, загорали и купались в мелководных, но стремительных речках. Прозрачная, почти ключевая вода обжигала тело почище солнца, ползущего по безоблачному небосводу.

Волосы у меня выгорели, а у Дадагки, наоборот, засмолились. Будто нарочно, наша внешность преображалась так, чтобы подчеркнуть во мне типичного северянина, а в друге истинного джигита. Этот контраст бросался в глаза. Когда мы появлялись в толпе, люди встречали и провожали нас улыбкой.

Днем я старался не выходить из редакции. Асфальт становился мягким. На тротуаре оставались глубокие следы от подошв. Если надо было куда-то срочно идти, держался теневой стороны. Но и там было нестерпимо душно. Градом катил пот, и мучила жажда.

— Будьте добры, стаканчик воды, — обращался к киоскерам.

Продавец разводил руками, кивал на горы ящиков с пустой тарой, оправдывался:

— Жара наступила не в свое время, застала нас врасплох.

В киоске в сквере та же картина. Обратился без всякой надежды с прежней просьбой к продавщице.

— Воды? — переспросила она, пытливо смерив меня с ног до головы.

— Да, хотя бы глоточек, — повторил я.

У киоска, как и в других местах, было много свободных ящиков и ни одной бутылки на витрине. Я собрался уходить, но женщина кокетливо остановила:

— Для кого нет воды, а для блондина есть. Налью стаканчик, если полюбишь.

Меня словно ошпарили.

— Не смущайся, молодой человек, не съем, — шутила молодуха, наслаждаясь моей растерянностью. — Или я нехороша?

«Куда там нехороша, — думал про себя. — Одни косы чего стоят. А глаза? Хитрющие, лукавые. А губы? Очумеешь от них».

В руках красавицы бутылка лимонада, снятого со льда. И вдруг передо мной на прилавке — стакан с кипящей янтарной жидкостью, которая искрилась сотнями воздушных пузырьков.

— Пей, милый мальчик. Ты наш гость!

…Нежнее этого напитка, наверное, нет и никогда не будет на свете.

Пришло официальное письмо из Москвы. Оно короткое и ошеломляющее:

«Институт закрыт, выезжайте в Москву».

Дадагка огорчен не меньше меня. Выходит, оказались мы между небом и землей. Впереди — неизвестность. Тысячи вопросов: «Чем вызвано такое решение?», «Куда теперь податься?», «Неужели прощай навсегда любимая профессия?»

…Вот и Москва. Она душная, неприветливая. Во дворе на улице Кирова вместо вывески «Коммунистический институт журналистики» висит другая — «Министерство лесной промышленности». Нас в здание не пускают. Закрыто и общежитие. На стене небольшое объявление: «По вопросам дальнейшей учебы обращаться в «Ликвидком».

Там тысячи вопросов:

— Куда теперь подаваться?

— В любой вуз. Только на первый курс.

— А почему не Киж? Есть же он и в Куйбышеве, и в Минске.

— Вопрос о подготовке журналистов изучается.

Дадагка Хутинаев и Халид Вагутлев рассуждают мудро, кратко, по-восточному:

— Не важно, где учиться, важны знания…

— Что верно, то верно. Но где все же?

— Подавайся на оператора, — предлагает Дадагка. — Ты же хорошо фотографируешь.

— А что, Миша, идея.

— Идея, да несостоятельная, — поправил Халид Вагутлев. — Наши там были. Надо хорошо владеть не пером, а карандашом.

— Что в лоб, что по лбу!

— Не совсем. Там экзамены по графике.

— Тогда от ворот поворот!

— У меня другие мыслишки есть, — рассуждал Халид Вагутлев. — Некоторые наши ребята подались в ленинградский Комвуз. Говорят, там есть два факультета: библиотечный и культпросветработы. Названия факультетов, прямо скажем, прозаические. Но программа удивительно схожа с нашим, теперь уже бывшим, Кижем.

— Я тоже слышал, — вставил Миша. — А есть и очень удивительные предметы: психология, история живописи, театра, кино.

— А что? Такие предметы для газетчика вовсе не лишние!

Всей троицей на том и порешили. Конец сомнениям и заботам!

Родные в отъезде. Посоветоваться не с кем. Ленинград так

Ленинград!

Пошел прощаться с избирателями.

Елена Ивановна порадовала:

— Помощь твоя, юноша, помогла. Сдала Вера географию, сдала на «отлично». А сейчас у тетки в деревне гостит. Заходи, заходи обязательно осенью, увидитесь.

— Не придется, Елена Ивановна.

— Почему же?

— Закрыли наш институт. Придется, видно, в другой город подаваться.

— Как подаваться? А Вера? Будто в Москве институтов мало!

— Много, а такого, который по душе, нет. Грустно, Елена Ивановна, но ничего не поделаешь.

Для меня Ленинград — второй дом. Там давно уже живет с семьей брат Митя. Он — третий после Нади и Васи.

Помню, перед школой сводил он меня в парикмахерскую, которая открылась в Няндоме и была всем в диковинку. Ребят обычно стригли дома под машинку, а взрослых — под горшок. Митя наказал мастеру подстричь меня под бобрик, густо наодеколонить, а брить, мол, пока не надо. От этих слов меня бросило в пот. А Митя уже на улице шутил:

— Зарделся, как красна девица!

— Вам, старшим, все прибауточки, будто я игрушка.

— Ну это ты, братишка, зря. Я обхожусь с тобой как со взрослым. Первый день в школе запомнится на всю жизнь. Учись, не ленись. В хорошее время ты растешь. О вашем будущем думает теперь государство. Не знаю, какое дело полюбишь, но яснее ясного одно: станешь человеком.

Через десять лет, уже будучи слесарем паровозного депо, во время отпуска я побывал в гостях у Мити.

В свободное от работы время Митя охотно принимал роль гида. Перед тем как отправиться в путь, он предлагал:

— Будем обходиться без транспорта. Так скорее узнаешь город.

С Петроградской стороны мимо «Стерегущего» и Петропавловской крепости мы шагали по мосту к Марсову полю. Я то и дело слышал пояснения: «Инженерный замок. Невский. Гостиный двор. Казанский собор. Арка Генерального штаба. Дворцовая площадь. Адмиралтейство. Исаакиевский собор. Медный всадник…»

Архитектурные памятники ошеломляли. Трудно было поверить, что все это — творение рук человека.

— Устал? — спрашивал Митя.

— Что я, маленький?

— Не обижайся. Устают, во-первых, не только малыши. А во-вторых, я просто хотел посоветоваться, как лучше провести остаток нашего свободного времени. Может, махнем на речном трамвае на Острова?

— Говорил же, что будем обходиться без транспорта.

— Я имел в виду путешествие по улицам, проспектам и площадям.

Вот и стрелка Елагина острова. В Ленинграде белые ночи. Розовеет горизонт, тысячи ярких дорожек бегают по заливу, которому нет конца и края. Ресторан «Поплавок» слегка покачивается. От бокала бархатного пива голова пошла кругом. Митя ударился в воспоминания. Я притих, так как откровенничают мои братья не часто и я почти ничего не знаю о их детстве, которое прошло до революции.

— Такой черный напиток, — говорил Митя, — любил папа. Бутылки, привезенные из Вологды, берегли к празднику, как драгоценность. Да. Суров был он у нас, но справедлив. Разное было у меня с отцом. Вчера по запросу института получил интересную справку из Няндомы.

— Покажи, если можно.

— Конечно, можно. Читай, — сказал Митя, протягивая вчетверо сложенный листочек.

> «Петров Александр Дмитриевич, — читал я слова, написанные чернилами каллиграфическим почерком, — состоит на службе Северных железных дорог на 8-м участке тяги с 3 мая 1896 года и занимал должности слесаря депо, помощника машиниста, поездного машиниста».

— С 3 мая 1896 года! Почему-то я до сих пор не знал этой даты.

— Строительство чугунки Вологда — Архангельск, — пояснил Митя, — началось в конце прошлого века. Отец рассказывал, что на эту стройку, как на огонек в ночном лесу, потянулись целыми семьями. Так и оказались в Няндоме сразу три семьи Петровых: Павла, Александра и Ильи. В каждой семье росла орава детей, раздавалась вширь наша родословная. Ты, Женя, родился много позже нас и не видел в глаза ни дедушек, ни бабушек, многочисленных двоюродных братьев и сестер. В годы империалистической войны уехали из Няндомы братья папы с их семьями, а отец остался верен Северной дороге. Он и нам внушал, что святое наше дело идти по его стопам.

После очередного бокала пива Митя продолжал:

— В двадцать втором году возглавлял я в Няндоме сводный пионерский отряд. Было в нем ни много ни мало триста человек. Зимой был у нас свой клуб, а летом — палатки. Пошили нам форму: синие блузки, трусы, обзавелись красными галстуками. Забот в то время был полон рот: и построения, и походы, и показательные выступления. Держали мы публику в напряжении часами. Отцу такие концерты нравились. Ему по душе были наши увлечения, хотя вслух об этом он не говорил. А однажды все же высказался. Мать как-то заохала, запричитала по поводу того, что я притащил и развесил над кроватью винтовку, наган, шашку. «Этого еще не хватало в доме», — сокрушалась она. «ЧОН — дело нужное, — поправил ее отец, — кто же, как не наши парни, будет защищать Советскую власть?»

Не терпел отец, чтобы мы принимали без его совета какие-то шаги в жизни. В таких случаях шумел он неистово, а затем остывал и стыдился своей вспышки. Новое неодолимо вторгалось в нашу жизнь.

В марте 1923 года, в день 25-й годовщины со дня Первого съезда РСДРП, меня приняли в партию, а осенью того же года райком ВКП(б) командировал меня на учебу в рабфак.

Так и пролетела, Женя, юность, пролетели годы, когда искал свое место в строю. Пытался кончить мореходное училище в Архангельске, но помешал голод, наступивший в Поволжье. Плавал на судне «Мурманск» в порты Северной Норвегии, но острый ревматизм заставил вернуться на сушу. А теперь окончил я Электротехнический институт имени Ленина, стал инженером.

Жена Мити — Мария Тимофеевна. Я знаю ее еще с детства. Она преподавала в школе естествознание. На ее уроках затихали даже самые отпетые бузотеры. Мы будто наяву видели сосуды в зеленом листе, с трепетом знакомились с тайнами растительного и животного мира. Просто, с большим тактом вводила нас Мария Тимофеевна в интимные стороны человеческих отношений. Не забыть ее слов, сказанных на заключительном занятии: «Любите маму, сохраните на всю жизнь глубокое уважение к женщине. Она достойна этого, так как в великих муках подарила вам жизнь».

«ИНТЕРВЬЮ»

Я уже дома, в родной Няндоме. Будучи в июле в Ленинграде, сдал документы в Комвуз. 1 сентября на учебу. Комвуз находится в здании на Марсовом поле. Парадный вход с Невы. Широкая мраморная лестница на второй этаж. Лекционные аудитории размещены в роскошных залах с лепными украшениями. Хороши и общежития.

…Родной дом! Мил ты и дорог после разлуки. Здесь после столицы непривычная, как вечность, тишина. Волной накатываются воспоминания. У нас была хорошая «казенная» квартира. Но папа, собираясь на пенсию, размечтался о своих хоромах. Его потянуло к земле. Началось с хлопот об участке. Облюбовал клочок земли на Трубной улице. Так назвали улицу потому, что посредине ее лежат в земле трубы, по которым подается вода с водокачки на Кислом озере в резервуар на станции.

Часами сидел отец над проектом, разработанным по его просьбе знакомым инженером-строителем. На картинке дом выглядел игрушечным. Фасад с четырьмя резными наличниками. Перед окнами — пышные деревья. Заманчив план постройки: крыльцо с площадочкой для отдыха, в доме — прихожая, кухня, три парадные комнаты.

Размечтавшись, отец говорил:

— Хватит места, мать, для всех. Для нас, старых, для дочерей и сыновей, для внуков и гостей.

Дом начали строить тогда, когда братья выросли, обзавелись семьями и разъехались. Единственным мужиком в семье остался я. Пришлось быть и землекопом, и маляром, и садоводом. В летние дни, когда однокашники уходили на рыбалку и купание, мы с отцом принимались за домашние дела: рыли колодец, ямки для деревьев, выкапывали в лесу с корнями кусты малины, смородины, березу, рябину и черемуху. Таскали саженцы на своих плечах.

С тех пор прошел добрый десяток лет. Подросли деревья, раздались вширь кустарники. Зеленым ковром покрылся двор. Сруб дал осадку. В комнатах ровно легли новые обои. На окнах, залитых светом, буйно цветут в горшках герань, чайные розы, фикусы.

Переехала под отцовский кров сестра Надя с оравой ребятишек. На Трубную, как на дачу, на весь день собираются детишки Миши и Клани.

Утром на лужайке во дворе дома племянники следят за тем,

как я ремонтирую велосипед. Им в свое время был премирован Миша. Машина очень капризная. То и дело образуется восьмерка, лопаются камеры, рвутся ниппеля. Племянники Сережа, Люба, Оля, Нина, Эдик готовы помогать чем могут, только отдавай распоряжения.

Колесо на месте, натянута цепь. Леля, натужившись, протягивает насос, шепелявя, спрашивает:

— Насасывать теперь будем?

— Кататься будем, ребятки.

Племянники по очереди забираются на раму велосипеда. Я совершаю бесконечные рейсы по Трубной улице. К племянникам пристраиваются дети соседей. До вечера, пожалуй, всех не перекатать. Отвязаться от ребят можно только откровением:

— Устал я, ребята. Давайте лучше будем фотографироваться.

Расселись на скамеечке, притихли. Не спускают глаз со штатива. Пытливо следят, как устанавливаю я кадр, навожу на резкость. Смотрят в объектив, откуда вот-вот «вылетит птичка», раскрыли рты от ожидания.

Карточки идут по соседям. Слава моя растет. Теперь все чаще и чаще наведываются в гости мамины подружки.

— Что ж, давайте и вас сниму на память!

Вечером передали сногсшибательную новость: в Няндому приехал Павлик Попов. Я бросил все домашние дела — и к товарищу.

Крепкая дружба немногословна. Мы с Павликом только улыбаемся друг другу. А на столе, накрытом белоснежной скатертью, появилась закуска: жареная рыба, пироги, варенье, конфеты. Нашлась и наливка.

Умна и тактична у Павлика мама. После чая намекает:

— Хорошо с вами, дети. До утра бы разговаривала. Но ведь знаю — душа на гулянку рвется. Шагайте в парк. Там по вас давно уже, наверное, девки сохнут.

По Павлику, конечно, сохнут. Он не теряется. Подкатится к любой, обворожит глазищами, пригласит на танец. Так оно и вышло. Не успели прийти в парк, как заговорил со смазливой девчонкой, будто со старой знакомой. Забыл про меня. Павлик вернулся уже к шапочному разбору. Отвел в сторону, зашептал:

— Не знал, друг, что ты такой робкий. На танцевальную площадку даже не заглянул, все в сторонке да в тени. Придется, видно, помогать тебе на женском фронте. Откладывать это дело не будем. Я тут с двумя девчонками договорился завтра за цветами на речку пойти. Заряжай свои кассеты, бери аппарат — и ко мне. Я свою «лейку» тоже возьму. Договорились? Завтра у нашего дома в двенадцать…

Встретились в условленное время. Девчонки принарядились. У той, смазливой, с которой только вчера познакомился Павлик, платье с вензелями, а подружка в ярком сарафанчике. Павлик в белой рубашке, при галстуке. Рукава лихо завернуты по локоть. Я тоже не лыком шит. Надел самую любимую рубашку — льняную, с вышитой каймой. О такой одежде лет десять назад и не мечтали: был бы хлеб, не до обновок и мод.

Девчата не сводили глаз с фотоаппаратов. Не у многих они имелись в Няндоме. Фотоаппараты, да еще с затворами для моментальной съемки.

Павлик без конца сыпал:

— Улыбайтесь, девочки, пляшите, пойте. Хоть на голове ходите. Мы с Женей сделаем любой снимок, какой душа ваша пожелает. Будет что вспомнить… И погодка нам, репортерам, помогает. Небо-то, небо-то чистое, голубое, без концами края…

Чем дальше от поселка, тем гуще лес. В воздухе — хвойный настой. О близости реки напомнил ветерок, Няндома-речка петляет среди холмов. Она мелководная, Во многих местах ее можно перейти вброд. Вода прозрачная и холодная, как в роднике.

Справа от дороги — мельница. Перед ней — плотина, обросшая мохом. В озерке у плотины стайки мальков. Они то появляются, то исчезают как очумелые. Видно, в глубине, в укромном месте, мелюзгу подстерегает щука.

Пойма усеяна цветами всех расцветок. Развернулись к солнцу ромашки, раскрылись лепестки желтых бубенчиков, качаются на тоненьких стебельках колокольчики. В густой траве на пригорках горят, зазывают к себе тонким ароматом россыпи спелой земляники и поляники. Есть чем угостить девчат.

Возвратились к вечеру. Милым созданиям отдыхать, а нам с Павликом работать: проявлять пленки и пластинки, сушить негативы, печатать и увеличивать. Хватит дел на всю ночь. Не придешь же завтра в парк с пустыми руками! Отчитываться за прогулку надо снимками.

И пошло… Павлик, Павлик! Ты даже не представляешь, что со мной сотворил!

Любовь, любовь!

Мудрые высказывания об этом загадочном и необыкновенном чувстве просятся в дневники из каждой вновь прочитанной книжки.

> «Кто не испытывал, как возбуждает любовь все силы человека, тот не знает настоящей любви».

Это — Чернышевский.

«Хотя любовь и называют чувством капризным, безотчетным, рождающимся, как болезнь, однако ж и она, как все, имеет свои законы и причины. А если до сих пор эти законы исследованы мало, так это потому, что человеку, пораженному любовью, не до того, чтоб ученым оком следить, как вкрадывается в душу впечатление, как оковывает как будто сном чувства, как сначала ослепнут глаза, с какого момента пульс, а за ним сердце начинает биться сильнее, как является со вчерашнего дня вдруг преданность до могилы, стремление жертвовать собою, как мало-помалу исчезает свое «я» и переходит в н е г о или в н е е, как ум необыкновенно тупеет или необыкновенно изощряется, как воля отдается в волю другого, как клонится голова, дрожат колени, являются слезы, горячка…»

А это — Гончаров.
И как предостережение:

«Хитрят и пробавляются хитростью только более или менее ограниченные женщины. Они за недостатком прямого ума двигают пружинами ежедневной мелкой жизни посредством хитрости, плетут, как кружево, свою домашнюю политику, не замечая, как вокруг них располагаются главные линии жизни, куда они направятся и где сойдутся.

Хитрость все равно что мелкая монета, на которую не купишь многого. Как мелкой монетой можно прожить час-два, так хитростью можно там прикрыть что-нибудь, тут обмануть, переиначить, а ее не хватит обозреть далекий горизонт, свести начало и конец крупного, главного события».

Тоже Гончаров.

«Женщины — это главный камень преткновения в деятельности человека. Трудно любить женщину и делать что-нибудь. Для этого есть одно средство с удобством без помехи любить — это женитьба».

А это — Лев Толстой.

Август выдался на редкость жаркий, с высоким, не по северному знойным небом, без дождинки, без ветерка — хорошая пора жатвы. Для нас, работников районной газеты «Лесной

рабочий», время тоже было горячее, своего рода экзамен. И когда однажды утром редактор вызвал меня в кабинет, я уже заранее знал: предстоит командировка.

— В Мошу, — сказал редактор.

Тамошний председатель колхоза Иван Петрович Тучин, как поговаривали, слыл человеком крутым, замкнутым. Газетчиков почему-то не жаловал. И те в свою очередь старались стороной объезжать его хозяйство. Я же был всего-навсего практикантом, новичком и, услышав о задании, в первую минуту растерялся.

«Опозорюсь. И почему именно я? Может, я редактору просто не приглянулся, вот и решил сыграть шутку».

— У нас из Моши давно никакой информации, — сказал редактор и добавил уклончиво: — Может быть, именно тебе повезет с председателем. Маленьких обижать не принято.

Он рассмеялся. Мне было не до шуток, буркнул:

— Мое дело подчиняться.

— Ну-ну, — смягчился главный, — смотри ты, с характером, в отца. Значит, решено. Напишешь очерк. Как-никак журналист, со спецобразованием.

Заглянул к Павлику Попову. Зашел — и засел до полудня. Не отпустили без обеда. А Павлик, услышав о полученном мною задании, загорелся:

— Там же родина папы! Отчего бы и мне с тобой в Мошу не закатиться, перо попробовать. Напишем на пару. Вдруг во мне откроется дар! Или не хочешь славу делить. А? — И пошел, и пошел. — Ма, ну-ка скажи свое слово!

— Может, и впрямь что выйдет, — заволновалась Анна Яковлевна. — Он ведь у меня говорун.

Павлик сидел, откинувшись на стуле, нога на ногу. Его трудно было понять: не то он шутит, не то всерьез решил побывать на родине отца.

— Ладно, — сказал я. — Поедем!

Сказал и засомневался: за язык меня дергали. Как объясню свою затею редактору?

Редактор, на удивление, тотчас согласился.

— Ну что ж, — сказал он, — вдвоем веселее. И время сэкономим. Вместо двух — один день. — И в глазах его, как мне показалось, промелькнула усмешка.

Я тут же познакомил его с Павлом, стоявшим все это время за дверью.

Павел, прощаясь с редактором, сказал:

— Все будет в лучшем виде. Ол райт!

Утром, нагрузившись домашней снедью, мы тронулись в путь, надеясь на развилке поймать попутную машину.

…Солнце уже поднялось, когда мы подъезжали к Моше. Большое озеро дымилось. У берега сновали лодки с мальчишками. По их расплывшимся рожицам можно было определить, что лов на утренней зорьке был хорошим.

Мы выпрыгнули прямо в дорожную пыль, не останавливая машины. «Давай порыбачим, — предложил Павлик. — Ну что нам стоит? Времени вагон. Ты посмотри, какое у ребят серебро в лодках. Окуни по килограмму. Я из этих окуней сделаю такое — язык проглотишь. Костерик разожжем. А?»

Пытаясь охладить попутчика, доказывал, что «костерик» — это уже не полчаса. К тому же утренняя зорька кончилась, а днем какой клев?

— Да ты что, ты что, — возражал, размахивая руками, Павлик. — Я гарантирую, час — не больше.

Я пошел, не оборачиваясь, к белевшему на окраине домику, чтобы узнать, где находится правление колхоза. Вскоре за спиной послышались шаркающие Павлушкины шаги. Нагнав меня, он шел враскачку, сунув руки в карманы, весь его вид говорил о высшей степени огорчения.

— Павлушка, — сказал я, — начало мне не нравится.

Он пожал плечами, видимо не поняв или не расслышав, о чем я толкую.

— Чайку, — сказал он, — с дороги полагается чаек. Два часа пыль глотали, надо промыть глотку.

В чайной не было ни одного посетителя. За стойкой орудовала девушка в косынке. Павлик точно преобразился. Вытряхнул из баульчика весь съестной запас, объяснил, что все это — домашняя стряпня, не чета столовской. Готовила мать, он у матери единственный, не женат и не собирается влезать в хомут. Впрочем, кто его знает? Может, порог этой милой чайной станет роковым в его жизни? И все это, как из пулемета. Тут же он познакомился с буфетчицей.

— Маня, — обратился он к девушке, — я без вас есть не буду.

— Я ж на работе, — ответила Маня.

— Я подожду, — сказал Павлушка, — буду ждать вас вечность. Вы хоть скажите, дома вас кто ждет?

Похоже, Павлик уселся всерьез и надолго.

— Ты как хочешь, Павлик, а я в поле, — сказал я.

— Да, конечно… — пробормотал он в ответ.

В конторе никого, кроме старичка счетовода, не оказалось. Председатель, как выяснилось, был в пятой бригаде. Дорогу туда покажет каждый встречный.

За деревней шумела пароконная косилка. Машинист, поравнявшись со мной, остановился. Охотно отозвался на

приветствие, но на вопросы отвечал односложно и торопливо: «да», «нет». Приложил козырьком руку к потному лбу, обвел взглядом горизонт и, довольный безоблачным небом, натянул поводья. Упряжка тронулась: человек не хотел понапрасну терять минуты в этот погожий день.

За пригорком я увидел комбайн и возле него группу людей, о чем-то горячо споривших. Среди толпы выделялся высокого роста мужчина в армейском френче.

— Как же так, Митюха, — пробасил мужчина во френче, обращаясь к веснушчатому парню в засаленном комбинезоне. — Ты же, родимец, курсы прошел. Что вы там, лапшу ели или матчасть изучали? И что прикажешь делать — механика из МТС вызывать? День пропадет. И какой день!

— Можно мне поглядеть? — предложил я.

Люди оглянулись. Какая-то молодуха в платке хихикнула:

— Тебе, кавалер, только в энтих премудростях и разбираться. Смотри, колесо с юбкой не перепутай.

Тут уж грохнули все разом. Даже у старшего под усами скользнуло что-то похожее на улыбку. Он спросил:

— Кто будешь?

— Был когда-то слесарем. Попытка не пытка.

Мужчина пожал плечами. Я, не дожидаясь согласия, скинул пиджак и полез под комбайн.

— Гляди, портки не замарай.

— Ну-ка, марш по местам, — баснул председатель. — Кино вам тут, что ли?

Из-под машины мне видны были заспешившие врассыпную загорелые бабьи ноги, комбайнер, сидевший на стерне, и густо смазанные дегтем яловые сапоги.

«Не осрамиться бы, — думал я. — Неужели не соображу что к чему? Не сложнее же паровоза эта машина».

— Ну что, темный лес? — донесся голос старшего, который опустился на корточки.

— Не торопите, — сказал я, оттягивая время. — А вы-то кто будете?

— Считай, хозяин.

— Митюха, так тебя, что ли? Дай ключ шесть на восемь.

Ключ тут же брякнулся рядом.

— Вот беда, — сказал председатель, следя за моими руками, — совсем новая машина, и на́ тебе.

— Новой радоваться должны.

— К ней бы еще кадры знающие. А где их взять? Мудрят там у вас в городе.

Брови его густо сошлись.

Я подумал: уж не тут ли кроется разгадка председательской неприветливости. Спросил безразлично:

— С чем мудрят-то?

— Ты наши поля знаешь? Это тебе что, шутка: клочок на клочке. Надо кустарник корчевать, тогда простор технике будет. А чьими руками? Мужики невылазно в лесу. А нынче на лесохимии.

— Какой химии?

— Ну, смолу там собирают. Это летом. А зимой — на валку, на вывозку древесины. Весной — на сплав. Все в порядке разверстки. В колхозе мужики лишь числятся, работают одни бабы… Тут целая цепочка, проблема на проблеме. Сколько раз писал в разные инстанции, в газету. Где там! Воды в рот набрали. А ведь сельское хозяйство поднимать надо. Вы там, чай, хлеб нонче без карточек едите. А? То-то…

— Митюха, шестеренку найди, — сказал я, а сам подумал: «Вот откуда его обиды. Видно, накипело в душе, раз первому встречному изливает». А ведь дело говорит. Есть над чем подумать. Может, впервые в своей короткой практике я напал на проблему. Может, она будет так же важна для жизни, как и те проблемы, с которыми выступают в печати опытные газетные зубры?

— Тебе говорят, Митюха! Оглох, что ли? — рассердился председатель. — Человек шестеренку просит. Или ты запчасти с маслом съел? Ну вот… нет запчастей…

Но шестеренка нашлась. Еще полчаса ушло, чтобы собрать передачу. А одна мысль не выходила из головы: только ли в шестеренке дело? Пойдет ли комбайн? Чтобы скрыть внутреннее волнение, спросил:

— Ну а как уборка, заготовки?

— Идут дела. Техника техникой, но, учитывая профиль местности, клочковатость полей, применяем и конную тягу. Небось косилку возле села видел? Убираем выборочно, вяжем снопы вручную. Одним словом, маневрируем, выкручиваемся. Но рук, рабочих рук и тут не хватает. И стало быть, эта проблема опять на первом месте. — После короткого раздумья он сказал: — Эх, сюда бы человека со смелым пером, чтобы ребром поставить вопрос о том, что лесную промышленность надо ставить на ноги силами кадровых рабочих, а не откомандированными на сезон колхозными мужиками. Я понимаю — лес нужен. Это деньги, валюта нужна государству. Оно у нас одно.

Я вылез, прокашлялся, кивнул Митюхе:

— Пробуй!

Он сел за штурвал, нажал стартер. Легкий гул отдался во

всем моем существе трепетной дрожью. Даже голова закружилась, когда поплыл комбайн в хлебах, поплыл с красным флажком на радиаторе.

Председатель какое-то время смотрел ему вслед. Потом я почувствовал на локте его железное пожатие.

— Спасибо, — сказал он. — Не знаю, кто ты, что ты, бывший слесарь, добрый прохожий, а только спасибо. А ну пошли.

— Куда?

— Пошли, пошли. Я тебя медком угощу.

— Ну что вы. Неудобно.

— Почему неудобно? Заработал, слесарь!

— Да не слесарь я. Давно не слесарь. Корреспондент я из районной газеты, той самой, что вас не поддерживает.

На мгновение он замолчал. Потом раскатисто засмеялся:

— Ну и ловок, мужик!

— Что вы?

— Ловок, ловок! Пошли. У меня все равно дело в конторе. Сводку тебе покажу, расскажу все подробности.

По дороге он рассказывал мне про родные места, которые не уступают Швейцарии. Так, по его словам, говорили о северной нашей земле многие путешественники.

Вспомнил он гражданскую, бои под Шенкурском, до которого отсюда рукой подать, бои на Северной Двине.

— Ты поройся в архивах, — советовал Тучин, — много интересного найдешь. Красивое прошлое у нашего края, прекрасное будущее. Но дядя это будущее не построит. Вот этими руками надо делать. Ты понял?

Я понял…

В правлении колхоза председатель приказал выдать мне сводки, сведения о лучших бригадах. Распрощались мы с Иваном Петровичем, как старые друзья.

Павлика Попова я нашел у чайной. Он сходил с крыльца под ручку с буфетчицей. Увидев меня, вдруг отрапортовал:

— Выполняю поручение, товарищ корреспондент! Беру интервью у Марии Алексеевны.

СОЧИНЕНИЯ

«Делу — время, а потехе — час» — любил повторять отец.

Пришла пора расставаться. Пришла пора отправляться в дорогу, теперь уже не в Москву, а в Ленинград.

Тоскливо в городе после родных мест. Никак не отогреется сердечко, хотя, куда ни глянь, — торжество. Не потускнели еще цветы на Марсовом поле. Манит к себе пляж у Петропавловской крепости. Снуют буксиры и речные трамвайчики по Неве, зовут на Кировские острова. Сплошной визг у американских горок в парке на Петроградской стороне.

Успокоили, привели в чувство учебные дни.

Прослышал, что при кафедре литературы и искусства, которую возглавляет кандидат филологических наук профессор Лев Рудольфович Коган, работает литературный кружок.

«А что, если мне попробовать поступить в этот кружок?»

В кабинете Когана яблоку негде было упасть. В тот вечер к нам в гости приехал Вячеслав Яковлевич Шишков. Начал он с шутки:

— Лев Рудольфович присвоил мне звание шефа-консультанта вашего кружка. Пусть будет так. Люблю иметь дело с молодыми. И отказать в просьбе Льву Рудольфовичу не могу: у нас с ним старая дружба. Немалую помощь оказал он мне в работе над «Угрюм-рекой», помогает создавать и «Пугачева». Вам, молодые люди, очень повезло. В добрые руки вы попали. Кто-кто, а Лев Рудольфович поможет вам изучить и русский язык, и литературу. Ну-с, с чего начнем?

Почти хором прозвучал вопрос:

— Как нам научиться писать?

— Рецептов давать я не умею. Да их в нашем деле и не может быть.

— Ну а все же! С чего-то начинать надо?

Вячеслав Яковлевич говорил обстоятельно, неторопливо. Помнится, он размышлял о том, что писателю необходимо индивидуальное своеобразие, свое лицо, что штамп, шаблон, стандарт — злейшие враги всякого искусства, что главное в творчестве — правдивое изображение жизни, смелая выдумка, зрительное образное слово. Настоятельно советовал он изучать народное творчество — эту богатейшую сокровищницу словесного языка.

Потом Вячеслав Яковлевич рассказал, как родился замысел «Пугачева», какие были сомнения и тревоги.

— Если бы не Алексей Николаевич Толстой, — заметил

Шишков, — я бы, наверное, и не взялся за этот труд. Смущала «Капитанская дочка» Пушкина. Алексей Николаевич, это может подтвердить и Лев Рудольфович, рассеял все мои сомнения. Сказал он мне, что бояться нечего. По его мнению, у Пушкина повесть камерного характера. Через семейную хронику пропустил он гениально всю эпоху. Дураком, мол, надо быть, чтобы попытаться повторить это после Пушкина. Алексей Николаевич посоветовал дать большое полотно, народную эпопею. По уши погряз я отныне в восемнадцатом веке. Лев Рудольфович помог мне составить обширную библиографию. Читаю и мемуары, и книги того времени, и письма, хожу по музеям, по-другому смотрю на архитектурные сооружения, созданные в те годы.

Слово, говорил Вячеслав Яковлевич, что сноровистый конь. Не сумеешь его подчинить себе — сбросит. Бывает это и с опытными писателями. Бывает, напечатаешь уже книгу, а потом с ужасом видишь слова и фразы, которые теперь не посмел бы не то что напечатать, а и написать. За волосы хочешь себя драть. Редко, с кем таких историй не бывает. Вот с Алексеем Толстым, Пришвиным, Фединым не бывает.

— Будьте беспощадными к себе, — повторил на прощание Вячеслав Яковлевич.

На следующее занятие кружка пришло человек двадцать. Лев Рудольфович начал с места в карьер:

— Помните наказ Вячеслава Яковлевича? Хочу, чтобы вы сразу же зарубили на носу: ходите вы сюда не для забавы. Не буду огорчен ни капельки, если кто-то из вас отсеется. А сейчас начнем с того, чтобы, так сказать, опробовать каждого. Сегодня будем учиться наблюдать. Выйдем на берег Невы, потом вернемся, и каждый напишет картинку с натуры. Эти зарисовки мы и разберем на следующем занятии.

Перед нами — Кировский мост, мечеть, домик Петра, Военно-медицинская академия, осенняя Нева, натужно гудящие катера. Обо всем этом каждый написал на листочке, вырванном из общей тетради. Написали и отдали на суд Когану.

Очередного занятия еле дождались. Лев Рудольфович сидел в кожаном кресле с высокой резной спинкой. Пружины сиденья проваливались под его рыхлой и грузной фигурой. Из-за массивного стола мы видели только лицо профессора, круглое, с двумя копнами черных не по годам бровей, с подергивающимся левым веком.

Лев Рудольфович отметил работы Вали Канатьева, Миши Дорофеева и мою.

Миша и Валя с восторгом рассказали о Комвузе.

— Наше высшее учебное заведение, если хочешь знать, —

говорили они наперебой, — создано еще в 1922 году, в Москве. Называлось оно Академией коммунистического воспитания. Имя Надежды Константиновны ему присвоено не случайно. Она была душой академии. Сама читала лекции. Читала ни много ни мало четыре часа в день. — Валя раскрыл записную книжку. — Вот послушай, что говорит сама Крупская о том времени: «Мы все, и я, и ребята, весьма увлечены курсом. Молодежь чудесная, рабочая и крестьянская, энтузиастически настроенная, над которой стоит поработать».

— Комвуз совсем недавно переведен из Москвы, — добавлял Миша, — не пожалели для него ни помещений, ни кадров. Мы же занимаемся не где-нибудь, а в помещении бывшего Английского посольства. Все кафедры укомплектованы профессурой. Один Лев Рудольфович чего стоит!

Литературное дело сблизило нашу троицу.

Миша Дорофеев увлекался прозой. Валя Канатьев баловался стихами.

Друзья то и дело давали мне на первую читку свои сочинения. Чаще всего сочинения отвергались. Миша и Валя не обижались.

Они заключали:

— Доводы железные. Ничего не скажешь. Быть тебе критиком.

— А тебе, Валя, поэтом.

— Ну, а я буду рассказчиком, — басил самоуверенно Миша.

Миша был плодовит. Его тумбочка ломилась от литературных эскизов. Один из эскизов он, видимо, тайком от нас отдал Когану. Лев Рудольфович решил преподать нам предметный урок, как создавать сюжет.

— Петров, — заявил он, — к нашему следующему занятию предложит тему, попытается ее развить, построить сюжет, а мы вместе попробуем наполнить сочинение плотью и кровью. При этом одно условие: замысел Петрова до занятия никто не должен знать.

— Ваше слово, — сказал мне на следующем занятии Лев Рудольфович.

— Предлагаю, — начал я, — рассказ о рабочем парне. Он решил стать летчиком. Подал заявление в военкомат. Желание юноши одобрили. В летном училище состоялась предварительная беседа. Парень окрылен тем, что ему, оказывается, можно поступать без экзаменов, так как у него есть общее образование и большой опыт практической работы в клубе ДОСААФ. Надо лишь пройти медицинскую комиссию. Парень побывал у хирурга, терапевта, окулиста. Осталось получить «добро» у невропатолога,

к которому пациент попал уже к концу рабочего времени. Врач неохотно взялся за осмотр. Парень раздраженно ждал окончания последних формальностей. И вдруг он увидел на обходном листке слово — «Не годен». Ошарашенный, он выскочил из кабинета, хлопнув с досады дверью.

— На этом пока остановимся, — прервал меня Лев Рудольфович.

Отпечатав ладонью по столу, он предложил:

— Теперь давайте подумаем коллективно. Тема, я думаю, нас всех устраивает. У нас — два главных героя: рабочий парень и старый доктор. Надо дать им имена. У Петрова есть предложение?

— Своего героя я назвал бы Иваном Покатовым.

— Недурно, — заключил Лев Рудольфович. — Поразмышляем о его внешности. Каким может быть юноша, мечтающий о полетах?

Мы молчали.

— Рассуждайте логично, — подсказывал Коган. — Не может же этот парень быть тучным?

— Разрешите? — вызвался Миша Дорофеев.

— Будьте любезны!

— Я представляю Ивана Покатова сухощавым, среднего, а может быть, и выше среднего роста. Человек, судя по всему, волевой. Это можно было бы подчеркнуть вытянутым лицом и широким подбородком. Он немногословен. Говорит отрывисто. Когда выходит из себя, у него на лбу собираются складки.

— Ну что ж, для первого случая приемлемо. А какого цвета у него волосы?

— Парень рабочий. Значит, живет в городе. И вероятно, в большом городе, так как здесь имеется летное училище. Такие города есть и в Центре, и на Урале, и в Сибири. Иван Покатов, скорее всего, волжанин, — значит, блондин.

— Вполне логично, — похвалил Коган. — Теперь попробуем представить второго героя — доктора.

Невропатолога мы сообща назвали Юрием Константиновичем Черенковым. Ему лет под сорок. Низкого роста. Начинает слегка полнеть. Лицо рыхлое. Есть небольшая лысина. На затылке седые волосы. Носит пенсне. Круглый подбородок и клиновидная бородка. Специалист он опытный, всеми уважаем.

— Сейчас, — заметил Лев Рудольфович, — наши герои стали вроде бы осязаемы.

Занятия в тот день закончились поздно. Мы выкладывали десятки предположений о том, почему Иван Покатов решил стать летчиком. Мы убеждали друг друга в том, что такой человек, как

Юрий Константинович, не может не вспомнить дома о Покатове. У него должен зародиться червячок сомнения: нехорошо поступил, мол, я с молодым человеком. Надо его обязательно найти, осмотреть еще раз. Казнит себя за нетактичность (хлопнул дверью) и Иван Покатов. Эти два человека в конце концов встретятся. Покатов поступит в летное училище.

Мы грезим образами и на лекциях, и в читальне. На клочках бумаги, на обложках тетрадей набрасываются картинки синего осеннего утра, когда просыпается Летний сад, Марсово поле, вырастают силуэты Павловского дворца. В записных книжечках выписки из Жан-Жака Руссо, Бальзака, Стендаля, Роллана. Классики! Они будто подслушивают наши мысли! Ведь надо же, чтобы мудрый старец Л. Н. Толстой когда-то признался самому себе:

> «Наш брат беспрестанно, без переходов прыгает от уныния и самоуничтожения к непомерной гордости».

Миша Дорофеев после лекций открывает мне свою тайну:

— Сегодня впервые появилось у меня уважение к самому себе. Не хочется быть ни одним, ни другим, ни третьим. Хочу быть таким, какой есть. Не завидую больше ни красавцам, ни удачникам, ни краснобаям. Горжусь тем, что мучаюсь в поисках слова. Не жалко отдать этому всю жизнь.

Валя Канатьев подслушал наш разговор.

— Молодец, Миша, — одобрил он. — Гордость и собственное достоинство — великая вещь. Видно, что-то тронулось в нашем самосознании. Сказать честно, я сам еще совсем недавно разевал рот, услышав оригинальные разговоры о жизни. Теперь на многое у меня свой взгляд, свое мнение. Я смотрю на мир своими глазами. Могу рассуждать, что хорошо, что плохо. Так и хочется лезть в драку, постоять за себя, поспорить, отстоять свою точку зрения. Вот, например, идет навстречу нам красавица. За душой у нее — наверняка ни капельки. Самая настоящая каприза. У нее свое «я» на первом плане.

— Так уж, Валя, с первого взгляда и определил человека, — возразил Миша.

— А что? Не веришь? — загорелся Валя. — Я эту мысль давно вынашиваю. А что такое писатель? Это прежде всего долгодум. Скороспелая мысль никогда не может быть точной и глубокой. Я к этим красавицам давно уже приглядываюсь. Им бы только глазки строить, почесать язычком. Вогнать парня в краску, чувствовать свое превосходство. Кокетничают, кокетничают, а в конце концов и попадают в сети к таким же пустым красавчикам.

— Это ты, Валя, от зависти, — заметил Миша, — не

наградила тебя мама смелостью перед женским полом. Вот и наговариваешь на каждое милое создание.

— Ты, я вижу, смел! — возмутился Валя.

— Разве в этом счастье, друг, — успокоил Миша. — Я уверен, что живут где-то, ждут встречи с нами и наши милые подруги жизни. Давайте помечтаем об этом.

Миша сделал несколько шагов вперед, обернулся к нам и, как настоящий поэт, тут же, на аллее Марсова поля, начал читать:

За окном свирепеют морозы,
Серебром запушилась сосна.
Но страстей разгораются грозы,
И живет в моем сердце весна.

Почему, отчего нарастает
В сердце радости солнечный гимн?
Мчится чувств соколиная стая,
Мчится вдаль, к берегам дорогим.

Берега. Где они, далеко ли?
Где он, счастья желанного край?
Вижу речку, широкое поле,
Под тесовою крышей сарай.

Ходят девушки в белых косынках,
Слышен песни волнующий ритм,
В их глазах — поднебесная синька,
А на лицах — сиянье зари…

Дорогие, любимые лица,
Дорогие мечты и дела…
Разве может все это присниться,
Если радость живой не была?

Потому, хоть и злятся морозы
И под снегом уснула сосна,
Занимаются радости грозы
И живет в моем сердце весна.

— Ну как? — задиристо спросил Миша.

— Кто же так с ходу спрашивает, — буркнул Валя.

— Могу повторить!

— Не надо, дай поразмыслить.

Из головы не выходила фраза:

Разве может все это присниться,
Если радость живой не была?

Эти строчки, пожалуй, хорошая Мишина находка. Дай бог тебе успеха, друг!

…Наш Комвуз в трауре. 27 февраля пришла печальная весть о кончине Надежды Константиновны Крупской. В Москву поехала делегация от нашего института. Вышел специальный номер стенной газеты. Он занял весь простенок у актового зала. Открывалась газета портретом Надежды Константиновны в траурной рамке. А дальше — соболезнования общественных организаций, заметки, написанные студентами, документы. В центре газеты разверстано «Приветствие АКВ». В нем говорилось:

> «Перед нами стоит громадная задача превращения нашей школы в орудие воспитания поколения, способного довести до конца строительство социализма. Это может быть сделано на основе изучения и проведения в жизнь идей основоположников марксизма, под руководством партии, на базе наших достижений в области строительства социализма.
>
> Нужна упорная коллективная работа. Надо работать вовсю.
>
> 27 июня 1935 года. Из Москвы в Ленинград».

И еще один документ: письмо директору Ленинградского Коммунистического политико-просветительного института.

> «Тов. Бланкштейн, прочитав Ваши соображения, я не могу с ними согласиться. Нам сейчас нужны в первую очередь **организаторы** библиотечного дела, школ взрослых и политпросветдела, близко знающие массу, умеющие к ней подходить, на нее влиять, ее — эту массу — вооружить необходимыми знаниями. «Гвоздь строительства социализма — в организации», — говорил Ленин.
>
> Для организации политпросветработы нужны организаторы не вообще, а организаторы, знающие политпросветские дисциплины, их теорию и практику.
>
> Вы хотите превратить институт в обычный комвуз, готовить лишь преподавателей (профессорского типа). Простите, но в Вашем проекте сквозит известное презрение к политпросветским дисциплинам, во-первых;

другое — полное игнорирование специфики подхода к широким массам, игнорирование обязательного учета их потребностей.

…Насчет необходимости повышения грамотности студентов и необходимости обращать больше внимания на мировоззренческие дисциплины — на более глубокую увязку их с партийной сознательностью — согласна, но брать только кончивших девятилетку нельзя — это означает брать только горожан, только зеленую молодежь без опыта.

…Практика необходима очень серьезная и ответственная.

Москва. 1936 год».

В письмах студентов сквозит одна мысль — земной поклон тебе, Надежда Константиновна, за заботу о нас, за заботу о воспитании всесторонне образованных организаторов дела! Земной поклон за то, что ты помогла нам обрести радость познания мира, познания революционной теории, познания огромного культурного наследия человечества. Здесь, в стенах Комвуза твоего имени, зачитывались мы произведениями, дневниками и письмами Льва Толстого и Жан-Жака Руссо, Антона Чехова и Оноре де Бальзака, Максима Горького и Ромена Роллана. Здесь, в Ленинграде, мы впервые услышали музыку Верди и Легара, Мусоргского и Чайковского. Здесь мы узнали о полотнах Рафаэля и Микеланджело, Тициана и Рубенса. Здесь вошли в нашу жизнь творения Рокотова и Воронихина, Кипренского и Казакова, Росси и Брюллова, Перова и Крамского.

Прощай, Надежда Константиновна! Мы будем, обязательно будем организаторами ленинского дела!

Приближался Первомай. Практичные люди распишут наперед каждый праздничный час, а у меня никаких прогнозов. Так вышло и сегодня. Волнами перекатывались по улицам и площадям песни, гремели оркестры. А после прохождения Дворцовой площади наша колонна растаяла. И сразу вопрос: «Куда податься?» Брат и его семья уехали. Может, к Мише и Вале в общежитие заглянуть? Они живут на улице Воинова. Сегодня дежурили. Может, уже отдохнули после ночного бдения? Валя встретил восклицанием:

— Юджин, дорогой, вовремя пришел, к обеду, — значит, счастливый!

— Какой я тебе Юджин!

— Вот те раз! Английский же вместе изучаем! Неужели

нельзя потренироваться? И притом же хорошо звучит: «Юд-жин!»

— Ладно, называй хоть горшком, только в печь не ставь.

— Это другой коленкор!

Валя держал в руках кусок теста, завернутый в бумагу.

— Посмотри, что получилось от вчерашних пельменей, — растерянно говорил он. — Как их теперь варить?

— Давай я попробую покухарничать, — вызвался Миша.

Он ковырял тесто перочинным ножичком. За лезвием тянулись ниточки.

— Не так, Миша, — возразил я. — Дай-ка я попробую формовать пельмешки чайной ложечкой.

— Дельный совет, — обрадовался Миша. — Тогда тебе и карты в руки.

Втроем отправились на кухню. Миша заправил примус. Валя разжился у девчат алюминиевой кастрюлей. Прошла, наверное, целая вечность, пока закипела вода и кусочки всплыли вверх. В кипящем вареве блеснули жировые звездочки.

— Мировое получилось блюдо! — восторгался Миша, облизывая губы. — Будет и первое, и второе. Бульон разольем в стаканы, а пельмешки оставим в кастрюле.

— Моя помощь, видно, вам теперь не нужна, — заключил Валя. — Пойду займусь закусками.

Когда мы вернулись в комнату с дымящимися пельменями, на столе на клочке газеты лежала селедка, разрезанная вместе с потрохами. На другом клочке бумаги — ломти хлеба.

Захмелевший Валя говорил:

— Не единым хлебом, как говорят, сыт человек. А мы как-никак уже почти интеллигенция. Не упиваться же нам этой отравой. Нужна же и духовная пища. Слушайте Маяковского.

Валя вытащил стул на середину комнаты и, опершись на спинку, начал декламировать. Читал он с чувством. Судя по всему, он хорошо понимал поэта. Многие знакомые стихи вдруг будто заново открывал. Мы дружно аплодировали.

Вошел в азарт и Миша. Сменив Валю, он читал свои стихи. В них было уже что-то зрелое.

Я был и зрителем, и слушателем. Распирала гордость за милых друзей. Утверждалась уверенность, что со временем они выйдут, выйдут во что бы то ни стало в большую жизнь, познают и муки творчества, и славу.

— Теперь на улицу, на народ! — предложил Миша.

На Неве от Зимнего дворца до Петропавловской крепости выстроились «Аврора» и подводные лодки. Их расцвеченные силуэты пунктирами отражались в легкой зыби. Набережная полыхала флажками, подсвеченными прожекторами. Арка

Адмиралтейства вспыхивала то красными, то зелеными цепочками огней.

— Красоту сегодняшнего вечера можно передать только стихами, — мечтательно сказал Валя. — Давай, Миша.

— Но я же не поэт, мы же договорились, что я прозаик, — попробовал возражать Миша.

— Ну зачем же ты прибедняешься! — обрубил Валя. — Кто час назад услаждал нас своей музой?

Друзья сочиняли на ходу. Поначалу казалось, что они просто забавляются, рифмуют первые попавшиеся слова. Потом в одном, другом четверостишье мелькнуло мгновением очарование сегодняшнего вечера.

Валя забеспокоился:

— Надо записать, а то забудем. — Он пошарил по карманам и раздосадовался: — Как назло, ни клочка бумажки, ни ручки.

— Возьми мою книжечку, — предложил я.

Валя положил блокнот на парапет набережной. Вокруг нас сгрудилась толпа. Старичок в старомодном цилиндре подтягивался на цыпочках, силясь заглянуть в книжечку через плечо Вали.

Миша, отойдя в сторону, рявкнул басом:

— Больше трех не собираться!

Люди отпрянули. А старичок, перекрестившись, проворчал:

— Напугал насмерть, молодой человек. Разве так шутят? Я, грешным делом, за городового тебя принял.

А Валя, будто никого не замечая, читал:

Мы идем по берегам гранитным,
И искрится серебром Нева.
Сколько дней прекрасных пережито,
Сколько их умчалось вдаль.

Ветер майский в сизой дымке тает,
Торжество вокруг кипит,
Ну а мы все лишь о том мечтаем,
Что нас ожидает впереди?

Не хотелось в этот вечер расставаться. Но уже полночь. Пора в общежитие.

На другой день получил письмо из Комитета по делам Высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР. В письме говорилось:

«Ввиду большого желания студента Петрова Е. А. в переводе из Политико-просветительного института в Государственный институт журналистики имени Воровского Всесоюзный комитет по делам Высшей школы при СНК СССР считает возможным перевод из института в институт».

После лекции помчался на канал Грибоедова. Ректор Института журналистики Шамис встретил без восторга. Прочитав бумажку, не поднимая головы, пробурчал:

— Приму, если за лето подготовитесь по пяти предметам. Экзамены осенью, в начале учебного года.

Легко сказать: пять предметов. Выходит, что летние каникулы будут почище экзаменационной сессии. Стоит ли огород городить с переводом?

«Стоит ли?» — этот вопрос не выходил из головы. Молчать и таиться от Вали и Миши было невмоготу.

На очереди были экзамены по изобразительному искусству. Миша и Валя предложили пойти в Эрмитаж. Долго не могли оторваться от «Блудного сына». Казалось, что в картине вся душа, все мысли, вся выстраданная жизнь художника.

— Финал большой жизни, — задумчиво произнес Валя.

— Какой финал? — удивился Миша. — А «Ночной дозор»? Не ее ли создал Рембрандт ван Рейн в конце жизни?

— Я, Миша, до сих пор более высокого мнения был о твоих познаниях в истории живописи, — уколол Валя.

— Это мы еще посмотрим! — запетушился Миша. — Советую тебе, Валя, самому получше проштудировать материал.

— Эх, Миша, Миша, — огорчился Валя. — Каким ты был, таким остался. Ведь спорить со мной в данный момент — значит проявить невежество. В Рембрандта я влюблен, если хочешь знать. Закрою глаза — и вижу «Урок анатомии», «Ночной дозор», «Данаю», «Похищение пастуха орлом Зевса», «Снятие с креста». Посмотри на дату картины «Возвращение блудного сына», Миша.

— Около 1669 года. Ну и что? — не сдавался Миша.

— А то, что в этом году Рембрандт ван Рейн скончался, — заключил Валя.

— Д-а-а, — протянул Миша. — Выходит, что я опростоволосился.

— Такое с тобой иногда бывает.

Но Миша никак не хотел быть побежденным. Это было не в его натуре. Помолчав немного, он заметил:

— В спорах рождается истина.

Чтобы отвлечь ребят, я рассказал о письме. Валя и Миша

переглянулись. На мой вопрос «Стоит ли?» первым ответил Миша:

— Раз такое дело, надо действовать. Переходи, а то, может, когда-нибудь будешь упрекать себя за нерешительность. Поработаешь лето, не велика беда, зато больше нас будешь знать на пять предметов.

Валя выдавил всего несколько слов:

— Печально, конечно, Юджин. Кривить душой не могу. Дорог ты нам с Мишей. Но ничего не попишешь… Видно, судьба!

ГАЗЕТНАЯ КАМПАНИЯ

После первого учебного дня сломя голову помчался в Комвуз имени Крупской. Валя Канатьев и Миша Дорофеев встретили восторженно:

— Здравствуй, Юджин! Сколько лет, сколько зим не виделись? Рассказывай, рассказывай, как прошло лето? Как экзамены? Как чувствуешь на новом месте?

— Не знаю, с чего и начать.

— Выкладывай все по порядку. Мы на солнце пятки грели, а он в каникулы готовился к экзаменам.

— Лето действительно «жаркое» для меня было. Поломал же я голову над «Капиталом». Лекций-то по этому разделу не пришлось слушать. Учебников, как известно, пока нет. Все по первоисточнику. Товарищи — на озеро, а я — за конспекты. Сестра Надя поговаривала: «Люди, бывало, библию постигали, с ума сходили. Не надорвешься над «Капиталом»?»

— Ну а экзамены?

— Сплошная экзекуция! Чуть не сорвался на работе по редактированию.

— Не может быть! Заливаешь?

— Не до шуток. Готовил одно, а предложили написать передовую к первому сентября в вузовскую газету «Большевистский журналист». Чтоб все там было: злоба дня, знание вопроса и публицистика. Назвал ее «Советское студенчество». Вот черновик, посмотри.

Миша пробежал статью, некоторые места зачитал вслух:

— «Наступил сентябрь 1939 года. В аудитории вузов нашей страны пришло 600 тысяч юношей и девушек. Советское студенчество приняло в свою семью 165 тысяч новичков…»

— «Великий русский писатель Л. Н. Толстой с горечью говорил: «Человек, который оторвался от своего народа, это уже не человек, это пыль… куда ее ветер дунет, туда ее и песет… такова наша интеллигенция…»

Наша, советская интеллигенция — это бывшие рабочие и крестьяне, плоть от плоти нашего народа. А народ наш сплочен вокруг большевистской партии. Он не раз демонстрировал свое морально-политическое единство перед лицом всего мира. Мы живем, творим, учимся в дружной семье братских народов Советского Союза…

Ушли в предание те времена, когда русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин имел основания говорить: «Мы, русские, не имеем сильно отраженных систем воспитания. Из нас не

вырабатывают будущих поборников и пропагандистов тех или иных общественных основ, а просто оставляют расти, как крапива растет у забора…»

В наше время каждый будущий специалист, будь то химик, геолог, строитель, математик, гордится тем, что он не только знаток своего дела, но и стойкий, последовательный поборник дела Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина!»

— А что? Неплохо! — заключил Миша. — Я, например, впервые вычитал мысли Толстого и Щедрина об интеллигенции. Эти цитаты очень даже к месту.

— Это ты так рассуждаешь, Миша, а профессор говорит, что статья написана «в общем и целом». Нет в ней конкретного разговора о задачах советских журналистов. Такая статья, мол, не годится для вузовской многотиражки. С натяжкой «удочку» поставил. Да и то, наверное, потому, что вручил я ему вырезки из газеты «Северный путь» с моими очерками и зарисовками, напечатанными в летние месяцы.

Лекции на новом месте чаще, чем в Комвузе, перемежались классными занятиями и семинарами. На виду у преподавателей был каждый человек.

Не было спуска на уроках русского языка. Преподаватель, знакомясь с нами, заявил:

— Я — Мейер. Типичный представитель старой школы. Мечтаю о том, чтобы ввести вас в чудесный храм науки, имя которой: фи-ло-ло-ги-я. «Фи-ло» — люблю. «Ло-ги-я» — слово. Выходит: «Люб-лю сло-во!»

Лицо у Мейера чеховское. На остроносом носу пенсне — стеклышки-полумесяцы. Терпеливо и просто излагал он нам сложные вещи.

Урок обычно начинался с каверзного вопросника. Мейер спрашивал:

— Что такое омоним?

Смельчаков отвечать не находилось.

— Растерялись? — шутил преподаватель. — Не надо теряться! Академию художеств я не кончал. Но вижу, что есть необходимость потренироваться в рисовании.

Мейер взял мел и в левом углу доски сделал набросок луковицы, а рядом нарисовал дужку — лук для стрел.

— Как понимать эти наброски? Без греческого здесь не обойтись. — У лука и дужки появился столбик слов: омонимы — одноименные; синонимы — вместоименные; антонимы — противоименные; анонимы — безыменные; псевдонимы — ложноименные.

Столбик слов он обвел большой скобкой и заключил:

— Все эти слова имеют общий корень: «оним» — имя. Ну-с как, понятно?

Класс молчал.

Учитель заслонил своей широкоплечей, чуть сутулой фигурой правый край доски, что-то поколдовал. Потом лихо, как иллюзионист, повернулся к классу, сделал шаг в сторону.

На доске был нарисован скачущий конь с развевающейся гривой.

— В данном случае, — сказал Мейер, — вы, так сказать, можете либерально подойти к употреблению слова. Назовете «конь» — правильно, «скакун» — пожалуйста. Животное не обидится. А язык ваш будет богаче. Тренируйтесь, будущие газетчики, на здоровье.

В конце занятия он предупредил:

— В следующий раз перейдем к повторению. Приготовлю вам диктантик-соляночку. Добавлю туда несколько ложечек глауберовой соли, чтобы вас прочистило.

В день диктанта, чтобы избежать всевидящего взгляда старика, мы сели подальше от доски. Мейер, войдя в класс, удивленно повел бровями:

— Что это за центрофузия? Слыхали такое слово? Оно означает бегство из центра. Бывает в жизни, что к центрофузии и приходится прибегать. Но вы меня ставите в неудобное положение. Я могу подумать, что вы удалились от меня, так как боитесь, как бы я при объяснении случайно не плюнул на своих слушателей. Но я до такой низости еще, как вам хорошо известно, не дошел. Есть, видимо, другие причины вашей центрофузии. Называть эту причину своим именем я не буду. А теперь пусть каждый займет свое прежнее место. А я это зафиксирую.

Мейер на листочке бумаги набросал план класса. На каждом столике начертил квадратик, а в него вписал наши фамилии. В назидание пояснил:

— На первых порах пусть место красит человека. Ну а со временем человек будет красить место!

В диктанте он не поскупился на выкрутасы. От каждой новой фразы нас бросало то в жар, то в холод. Перечитывали каждое предложение десятки раз. Чем больше корпели, тем загадочнее и сомнительнее становились самые простые слова, мельтешили в глазах точки и запятые.

Мейер, заложив руки за спину, ходил вдоль столов, косил глазом в наши листочки. Он то и дело вытаскивал из кармана жилета часы на цепочке, покачивал головой. Потом, не выдержав, проскрипел:

— Уйдите от зла да сотворите благо!

В переводе на обыденный наш язык это означало: можно и переусердствовать.

Махнув от досады рукой, ребята вставали и несли контрольную работу на стол учителя. Он, ухмыляясь, провожал нас до двери.

Следующий урок Мейер начал с присказки:

— Красному яблоку червоточинка — не в упрек. Это бесспорно. Но вся беда, что вы далеко еще не красные яблочки. Дело с диктантом — дрянь. Поверьте уж мне, старому, так сказать, травленому волку. Каждый из вас — настоящий оригинал. Вы возразите: «Не так уж это плохо. Тем более что живем мы в век расцвета индивидуальностей». Согласен. Я тоже за расцвет индивидуальности. Но за какой расцвет? Вот в чем вопрос. Представьте себе, что человек обладает индивидуальностью — толкать людей в трамвае.

Старик гоголем прошелся вдоль столов, изображая, как он бесцеремонно протискивается сквозь толпу.

— У многих из вас, друзья, такого рода индивидуальности. Вы пишете неразборчиво, не говорю уже об ошибках. Пишете, не задумываясь над тем, какие муки доставляете тому, кто вас будет читать. Я, мол, изобразил и с меня достаточно… а лен пусть преет.

Эти нотации не были нудными и оскорбительными. Мейер был неистощим на выдумки. Он то и дело преподносил нам «сюрпризы» и различного рода истории, которые хорошо запоминались. Ни к селу ни к городу он вдруг спрашивал:

— Сегодня суббота. А какой смысл в этом слове?

Мы были в тупике.

— «Суббота» происходит от греческого слова «соббота», что означает — кончать работу. По-еврейски это слово звучит «шаббота». А в русский язык «суббота» пришла через слово «шабаш».

Мейер писал на доске знак «!». И следом за этим вопрос: «Что это такое?» На этот раз мы уверенно, почти хором отвечали: «Знак восклицания!»

— Ломоносов называл этот знак «удивительным». Ну хорошо. Все это между делом, к слову. А теперь займемся идиомами. Под идиомой по-гречески понимается единственное, особенное. Почему, например, медведь стал медведем? Зверей когда-то опасались называть своими именами. Медведь — это зверь, который любит мед.

Или, скажем, — продолжал преподаватель, — почему русское слово «брюхо» стало вдруг животом? Живот — жизнь. Ранение в живот считалось смертельным. Вот и выходит, что, если цел

живот, есть жизнь. В брюхе, так сказать, вся жизнь. Но я вам не советую наживать брюхо, так как сытое брюхо к учению глухо.

С юмором, с легкой издевкой разбирал он наши диктанты и изложения.

— Уму непостижимо, когда взрослому человеку все равно, что «кампания», что «компания». А между тем, вижу по всему, люди вы компанейские. Зарубите на носу: «Кампания — «кампус» — поле». Перевод опять-таки с греческого. И все очень просто. В древние времена носили тоги. Без штанов, простите, ходили. Когда наступали холода, чтобы не застудить известных мест, люди отсиживались у костров. Весной ворота городов открывались нараспашку. Народ высыпал в поле. Вот вам и кампус, кампания; кампания посевная, уборочная. А вы, газетчики, пишете иногда и «случная».

И новое внушение по другому поводу:

— Люди вы, безусловно, интеллигентные. К женщине относитесь мягко, благородно. Вы уже прочно усвоили, что слова женского рода, оканчивающиеся на шипящую, пишутся с мягким знаком. Но и у уважительности должен быть предел, а то и размякнуть можно. Вот кое-кто из вас и размяк. Даже слово «луч» оженствили.

Не думали мы, что мейеровские омонимы так скоро встретятся нам в жизни. В класс вдруг пришло страшное слово — «плагиат».

В комитете комсомола института мне вручили письмо. На уголке конверта резолюция:

> «Комсоргу 10-й группы. Обсудить на комсомольском собрании».

Из редакции газеты «Полярная правда» сообщали, что студент Василий Баранов допустил недобросовестный поступок. Имея на руках удостоверение нештатного корреспондента, Баранов посылал статьи и очерки о театральных премьерах, сообщал о новостях музыкальной жизни, об экспозициях ленинградских музеев. На поверку оказалось, что его широкие познания и эрудиция — показные. Все его статьи и очерки списаны из других газет.

Новость всполошила весь класс. Баранов стоял перед группой в складно сшитом черном костюме, который подчеркивал его мертвецки бледный вид. На вопросы он не отвечал, так как не мог выдавить слова, беспомощно чмокал губами.

— Гадко, очень гадко на душе, когда тебя обманывают, — говорил, с трудом подбирая слова, Коля Пхакадзе. — Был я недавно в опере. Отелло без жалости расправился с Дездемоной.

Умирающая Дездемона обращается к Эмилии. Последний миг жизни, а она поет! Меня взорвало от такого обмана! Не может умирающее существо петь! Какая-то бутафория, а не представление…

Председательствовал на собрании Гера Захаров. Он был подтянут и серьезен. Чувствуя ответственность своего положения, осторожно заметил:

— Коля, дорогой, мы же на комсомольском собрании, а не на дискуссии в комнате нашего общежития. При чем тут Верди, Отелло и Дездемона?

— Вот именно на собрании, — подтвердил Пхакадзе, — именно в этом случае прошу не перебивать.

— Мне что. Пожалуйста, продолжай. Только хорошо бы ближе к делу.

— Я к этому и веду, — подтвердил Пхакадзе. — Вчера после занятия я пошел на Сенной рынок. Искал рубашку поприличнее. Подошел к одному ларечку. Глаза разбежались: одна рубаха лучше другой. Вдруг чувствую, что в моем грудном кармане что-то шелохнулось. А рядом со мной в толпе, слева, — молодой парень. Он согнул в локте правую руку и через левую, которая лежала на прилавке, тянется к моим часам. Я тут и про рубашку забыл, уставился парню в глаза и спрашиваю: «И тебе не стыдно?» А он в ответ: «Брось, не выдумывай! Мы с дружком трусы себе присматриваем». Я взорвался: «Ты мне, черноокий, зубы-то не заговаривай!»

— Ближе к делу, — бросил председательствующий.

— А я что, не о деле? — обиделся Пхакадзе. — На Сенном рынке я впервые увидел живого вора. Гадко, очень гадко видеть живого вора. А Баранов тоже вор, только литературный.

Коля Пхакадзе сплюнул и пошел на место. На ходу, повернувшись к председателю, он пробурчал:

— Все, я кончил.

В минутном затишье прозвучал писклявый голос Гриши Некрашевича:

— На этом можно и закруглить. И так все ясно. И лошади такой на свете нет, которая бы не спотыкалась.

Гриша не подозревал, что подольет масла в огонь. Гере Захарову едва удалось навести порядок.

— Некрашевичу делаю замечание, — сказал он. — Если хочешь выступать — выступай, излагай свою философию. А кричать, как на базаре, неприлично.

— Я такой же комсомолец, как и вы, товарищ Захаров. Имею я право свое мнение высказать? — огрызнулся Некрашевич.

— Мне-ние, — протянул Гера. — А оно у тебя есть? Ты сам

недалеко от Баранова ушел. Как начнешь, так и понадергаешь фраз. Одну из газетки, другую из журнальчика.

— Это клевета, не потерплю! — взвизгнул Некрашевич: — Требую переизбрать председателя.

Но Гера взял себя в руки:

— Прошу простить, Григорий Платонович Некрашевич. Деталей о вашей литературной работе на данном собрании мне не следовало бы приводить. Виноват.

Слово взял Володя Лабренц.

— Баранову все доставалось легко. Он без стыда и совести лез в чужой карман. Что ни день — то новая вырезка из газеты. А потом — денежный перевод. На его надменном лице было написано: «Я — гений, я — талант!» А на деле оказалось, что за душой-то у него — ни гроша. В народе говорят, что согрешать позволено девице, иначе ей не в чем было бы каяться. Баранов согрешил так, что и не покаешься. Паршивую овцу из стада вон! Так я думаю.

Чем дальше шло обсуждение, тем больше росло у ребят чувство омерзения и брезгливости к Баранову — подлецу в святом для нас деле.

Итог обсуждения подвел Гера Захаров. На этот раз он был краток и серьезен:

— Я вычитал у Салтыкова-Щедрина такую фразу: «Чтобы быть литератором, надобно: во-первых, быть человеком; второе — уметь управляться с выражением так, чтобы оно действительно было выражением мыслей; третье — иметь самые мысли».

У Баранова нет ни первого, ни второго, ни третьего.

Вся наша группа проголосовала за исключение Баранова из комсомола. Новые мои друзья показали свое единодушие.

…Литературный воришка кого-то все же разжалобил. Он отделался выговором.

Миша Дорофеев и Валя Канатьев нанесли мне ответный «визит». Вид у обоих был встревоженный.

— Какая беда стряслась? — насторожился я.

— Пройдемся, поговорить надо.

Уселись в скверике нашего института.

— Видел последние номера «Литературного современника»? — спросил Миша.

— Не привелось.

— Ты многое потерял. Там напечатаны главы первой книги «Пугачева».

Миша вытащил из портфеля несколько номеров журнала и протянул их мне.

— Почитай, — сказал он. — Одно наслаждение. Какой язык! Какие образы! Не верится, что такое чудо может сотворить простой смертный.

— Спасибо, Миша, сегодня же начну читать. Такая радость, а вы чем-то расстроены.

— Расстроены! Не то слово. Хочется морду критикам бить.

— Каким критикам?

— Вот полюбуйся, — сказал Миша, протягивая мне вырезку из газеты.

Пробежал заголовок: «По проторенной дорожке Иловайских».

— Читай, мы с Валей помолчим.

> «Суррогат подлинно художественного произведения… построен по рецептуре «пошляка Салиаса на анекдотах…», квасной патриотизм… шовинизм…»

— Откуда эта вырезка, Миша?

— Представь себе, из центральной газеты. Номер за семнадцатое июня. А вот еще одна статейка. Какой-то К. Миронов разносит «Пугачева» в «Литературной газете», напечатал мерзкую статейку «Об исторических и псевдоисторических романах».

— Как все это понять, друзья? — недоумевал я. — Ведь Вячеслав Яковлевич рассказывал нам, как скрупулезно изучает события восемнадцатого века.

— Я тоже толком ничего не пойму, — признался Валя. — Лев Рудольфович костит тех критиков на чем свет стоит. Рассказывал, что Вячеслав Яковлевич страшно расстроен.

— Как помочь-то, ребята?

— Мы плохие помощники, — вздохнул Миша. — Коган сказал, что будто бы в Ленгосиздате по этому поводу должны собраться видные историки.

— Вот бы побывать на этом совещании!

— Лев Рудольфович сказал, что совещание рабочее, нас туда не пустят. Он пообещал рассказать о сути дела.

— Не забудете сообщить мне о новостях?

— Не сомневайся!

Журнальной публикацией «Пугачева» я был восхищен. Полностью разделял мнение Миши и Вали о книге. А слова газетных критиков казались мне ядом, который может отравить Вячеслава Яковлевича. Большой русский писатель после той первой встречи на занятии литературного кружка стал для меня совсем близким, родным.

Друзья не давали о себе знать. Поехал в Комвуз, чтобы вернуть журналы с «Пугачевым» Мише.

— А мы, Юджин, к тебе только что собрались, — обрадовался Валя Канатьев.

— Ну?

— Совещание состоялось! Были на том совещании академик Тарле, профессор Предтеченский и многие другие светила. Тарле, как рассказывал Лев Рудольфович, признал концепцию Вячеслава Яковлевича правильной. Он даже пошутил, как бы Вячеслав Яковлевич не отбил хлеб у историков! Настолько верны исторические факты в повествовании Шишкова!

— Ну а как же с критикой?

— Время свое скажет — так рассуждает Лев Рудольфович.

— Скорее бы все прояснилось. Сердце болит за Шишкова. А мне как будущему газетчику стыдно за людей, которые с низменными целями могут использовать газетный лист. Не может же быть такого в наше советское время!

— Стыдно не только тебе, журналисту, стыдно и нам, — вставил Миша. — Мы еще с пионерского возраста привыкли верить печатному слову.

Как-то вечером меня вызвали к вахтеру. Шел и думал: «Что еще стряслось? Кому и зачем я понадобился?» На тумбочке у вахтера лежала телефонная трубка.

— Юджин, родной! — клокотало в мембране. — «Литературную газету» сегодня не смотрел?

— Нет, не читал, Валя.

— Дуй в библиотеку, посмотри передовую. Есть радостная весточка.

— Какая, Валя?

— Прочти, прочти быстрее, порадуешься вместе с нами.

В газете было написано, что статьи Малахова (он же Миронов) о «Пугачеве» несостоятельны и носят клеветнический характер, что, введя в заблуждение редакции газет, критик намеренно пытался опорочить патриотический роман.

«Как это хорошо, что газета исправила ошибку! Снят навет. Защищено доброе имя писателя! — подумал я. — Наша профессия святая, не позволено нам кривить душой, а тем более — клеветать!»

ВЕЩЬ В СЕБЕ

Что такое комсорг, мне известно по учебе в ФЗУ и по работе в депо. Надо отвечать не только за себя, но и за людей. Надо знать, чем дышит каждый, вовремя помочь, ободрить.

Надвинулись экзамены по политической экономии. Ребята ходят пришибленные. Гера Захаров, мой сосед по койке в общежитии, расхаживая по комнате, шепчет:

— Стоимость. Конкретный и абстрактный труд. Всеобщий эквивалент. Прибавочная стоимость.

Гера морщится, как от зубной боли, досадует: «Ну ни бум-бум».

— Поменьше бы спал на лекциях, — ворчит Гриша Некрашевич.

— Пореже бы являлся утром с гулянок, — вставляет Коля Пхакадзе.

Геру точно подстегнули. Он ринулся в наступление:

— Я бы на вашем месте помалкивал! Что вы из себя представляете? Старые, старые мерины! У обоих лысины пробиваются. Не обидно было бы, если бы они появились от страсти и избытка чувств, а то от конспектов. От работы лошади и те дохнут. А я парень в соку. Я не прозябаю, а живу. Живу на всю катушку! А стоимость и потребительская стоимость для меня за семью замками.

— Давайте порассуждаем вслух, — предложил я.

— Я — «за»! — обрадовался Гера.

— Согласны, — поддакнули Гриша и Коля. — Начинай, комсорг.

— Гера, назови предметы, которые находятся в нашей комнате, — попросил я.

— За идиота меня принимаешь? — обиделся парень. — Я как-никак сейчас в трезвом виде. В глазах не двоится и не троится.

— Ну, а все же назови.

— Ну, извольте: три кровати, три стула, три тумбочки, стол, потрепанный Гришкин патефон.

— А еще?

— О мелочах я не хотел говорить. Но, если надо для науки, могу продолжить. Один стакан на троих. Треснутый графин. Это наверняка Гришкиных рук дело. Любит, стервец, со стеклянной посудой к титану бегать.

— Давайте без ненужных деталей, — оборвал я Геру. — Мы же выясняем вопрос о стоимости, а не о том, кто графин разбил. Назови, Гера, каждый предмет в единственном числе.

— Тут и вопроса нет. Каждый предмет — товар. Не будь стула, Гриша не мог бы пить чай за столом или учить уроки. Не будь кровати, Коля не храпел бы на ней с утра до вечера. То есть мои уважаемые коллеги не удовлетворяли бы свои человеческие потребности, хотя, если говорить откровенно. Человеком с большой буквы я не назвал бы ни крохобора Гришу, ни гордеца Колю.

— Опять тебя заносит. Не касайся личностей.

И тут смышленый Гера из ученика превратился в учителя. Он подсел к Пхакадзе и стал предметно объяснять про стоимость, про общественно необходимый труд.

Обернувшись ко мне, Гера попросил:

— Давай, комсорг, таким же путем разделаемся и с формулой «деньги — товар — деньги».

В день экзаменов Гера с утра дежурил у класса. Заглядывая в замочную скважину, он определил, что настроение у преподавателя хорошее. Тем не менее сдавать Гера пошел последним. В его зачетке появилась еще одна пятерка.

Шагая в общежитие, он бодро посвистывал. На вопрос «Как политэкономия?» глубокомысленно отвечал:

— Еще одна вещь в себе стала вещью для нас!

ЖЕНАТИК

Гера Захаров утром шепнул:

— Новость! Володя Лабренц из общежития уходит — женился!

— Как всегда, разыгрываешь, Гера?

— Куда там! Когда сам узнал, чуть в обморок не упал. Ох, и плут Вовка! Ох и плут! Никогда бы не подумал, что друзей на девчонку променяет.

Вид у Геры был злой. Лицо его округлилось и походило на сильно надутую камеру. Скрипя зубами, он ворчал:

— Это же настоящая измена! И все втихомолочку, втихомолочку! Ну я тебе отомщу. Век будешь помнить!

— Случай, конечно, из ряда вон выходящий. Но зачем же мстить? — спросил я.

— Я буду не я, если не отомщу, — злился Гера. — Вот придет завтра на занятия, так я при всем честном народе и спрошу: «Ты чего сегодня бледен, дружок?» Володя наверняка удивится. А я ему: «Не препирайся, отвечай: «Да, же-нил-ся…»

Володя самый молодой в нашей группе. В этом парне все на месте и в меру: атлетическая фигура, открытый взгляд, теплота и отзывчивость. Он — заводила в спортивных играх. С ним приятно беседовать. Он легко уговаривает нас куда-нибудь пойти.

— Ты, Женя, бывал на бегах? — спрашивал Володя.

— Нет.

— Тогда после экзамена махнем.

И мы «махали». А потом удивлялись, почему до сих пор не удосужились познакомиться со скачками, удивительно красивым видом спорта.

От Володи нельзя было скрыть ни огорчения, ни внутренней тревоги.

— Ты чем-то расстроен? — озабоченно спрашивал Володя.

— Ты не ошибся.

— Чем же?

— Так, пустяки. Расскажу в другой раз.

— Поверь, ведь я не из любопытства. Пойдем-ка пройдемся.

— Не так-то просто, Володя, начинать разговор после того, когда впервые в жизни почувствовал, как может ранить слово.

— Не таись, начинай.

— Об этом я ни разу еще не говорил вслух. Можешь себе представить, что я веду дневник…

— Так это же чудесно! — искренне порадовался Володя.

— А вчера один наш парень заглянул из-за плеча в мою

тетрадь и пошел издеваться: «Вот не знал, что ты, комсорг, кисейная барышня!» Думал, что шутит, переспросил: «Почему барышня, да еще кисейная?» «Да ты что, не знаешь, что альбомчиками да дневниками только несмышленые девицы пробавляются. Они, видите, мечтают удивить человечество. И ты туда же?»

Молча шагали мы вдоль чугунной решетки канала Грибоедова. Володя положил ладонь на мое плечо, долго-долго, так по крайней мере показалось мне, размышлял. Потом, глубоко вздохнув, заговорил. Начал он откуда-то издалека.

— Я, Евгений, сейчас Далем увлекся. Исписал несколько тетрадей. Советую тебе заглянуть в эти замечательные тома. В них — кладезь народной мудрости.

— Спасибо, Володя, обязательно воспользуюсь твоим советом, — поторопился я ответить, радуясь в душе, что друг очень тактично поступил, уходя от неприятного разговора.

— Даля я, Евгений, не случайно вспомнил. Только вчера я вычитал такую премудрость: «Козла спереди бойся, коня — сзади, а злого человека — со всех сторон». Я это к тому, что подлец тот парень, имени которого не хочешь назвать, издевавшийся над тобой. Ты мне в сию минуту еще ближе, дороже стал. В тебе я увидел частицу самого себя. Не будем загадывать, кем мы будем. Но стремиться к мечте нам ничто не помешает.

Володя снял очки, протер кусочком замши стекла, близоруко окинул взглядом Триумфальную арку, позолоченную лучами вечернего солнца. Зажмурился от яркого света. Неторопливо, очень изящно и красиво закинул дужки очков за уши и, будто не прерывал начатого разговора, продолжил:

— У Даля, помнится, есть такие изречения: «Вечер покажет, каков был день», «Умный любит учиться, а дурак — учить». Вычеркни, Евгений, из памяти эпизод с придурком. Дневник — это же прекрасно!

Я молчал.

— Значит, не переубедил, — огорчился Володя. — Не все, наверное, сразу. Ладно, сменим пластинку! Поехали на Елагины острова.

Катались на лодке. Сноровисто работая веслами, Володя рассказывал о своем детстве, об отце — суровом, но очень чутком и справедливом.

На другой день после лекций Володя таинственно сообщил:

— Есть повод поговорить.

В скверике, перелистывая тетрадь, он сказал:

— Послушай, что я вычитал, вычитал не у кого-нибудь, а в томике Владимира Ильича Ленина. Закладка в книге, скорее

всего, сделана моим папой на тот случай, чтобы я прочитал эти строки. Слушай:

> «Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно».

Кончив читать, он заглянул в мои глаза.

Мне хотелось обнять друга.

Володя закрыл тетрадь в ледериновой обложке, предложил:

— Вечером в театр. Посмотрим «Дачников» Горького.

— Согласен.

Однажды я дал почитать Володе небольшой отрывок:

> «Медленно раздвигался тяжелый бархатный занавес. На круглом постаменте, освещенном перекрестным светом прожекторов, стоял юноша. Он принял позу Давида Микеланджело. Все: гармония, сила и мужество — воплотилось в этом окаменевшем атлете».

— Неплохо, — заключил Володя.

— Это о тебе, — шепнул я.

— С какой стати?

— Задумал представить в дипломную комиссию рассказ.

— Рассказ? Ты не шутишь? — усомнился Володя. — Это же большой риск! Я уже давно определил, что буду писать статью — передовую или пропагандистскую. Кое-кто пишет очерк. Любой из этих жанров тебе под силу. О попытке создать рассказ слышу впервые. А между прочим, заманчиво. О чем?

— О красоте. Красоте внешней и красоте внутренней. Наберись терпения, слушай. Действие происходит на маленькой станции. Мой Давид, назовем его Игорем, красуется собой. Пользуется большим успехом у девушек, но относится к ним высокомерно. Он считает, что в захолустье, где он живет, нет простора, нельзя показать себя с самой лучшей стороны, нельзя стать героем. Игорь стал холоден даже к своему школьному другу Вите, который никогда не выделялся своей внешностью, но был скромен и честен. Игорь не может примириться с тем, что Витя неравнодушен к Ане — простой девушке-стрелочнице. Игорь в конце концов решает покинуть родное местечко и отправляется в

большой город. Прощаясь, он говорит Вите и Ане: «Таким, как вы, удел жить в этой глуши. Жить, чтобы плодиться. Я же создан для подвига. И я его совершу!»

Прошло несколько лет. Слесарь Витя стал помощником машиниста, стрелочница Аня — дежурной по станции. Юношу наградили орденом, девушка предотвратила крушение. А Игорь… ищет подвиг.

Володя встал и, заложив руки за спину, прохаживаясь вдоль столов классной комнаты, подошел к окну и щелкнул пальцем назойливо шумевшую муху. Потом неожиданно подошел, положил руки на мои плечи, осторожно тряхнул:

— Пиши, не сомневайся. Я, грешным делом, хотел тебя отговорить от рискованного шага. А теперь уверен, что получится, обязательно получится!

…А теперь странно как-то: Володя — и вдруг женатик!

ТРЕВОГА

Ночью в репродукторе раздались шорохи. А за ними как набат: «Внимание! Внимание! Внимание! Говорит радиоузел института. Просим всех студентов собраться в актовом зале».

Такого еще не бывало. Спешим на зов. В зале не горят, как обычно, хрустальные люстры. Зажжены лишь плафоны. За большим столом президиума маячит широкоплечая фигура секретаря парткома. Уже все собрались, а он почему-то молчит, тщательно протирает платком бритую голову, которая в притемненном зале блестит словно медный котелок. По рядам потянулся недовольный гул. Тогда секретарь парткома встал, поднял руку. Прихрамывая, подошел к трибуне, вытянул по бортам руки, обвел взглядом аудиторию. Но вместо длинной речи мы услышали всего лишь несколько фраз: «Есть срочное и ответственное задание. Получим его у военкома».

— У военкома? — шепотом сказал Гера Захаров. — Значит, дело пахнет керосином.

— Струсил? — подкузьмил Коля Пхакадзе.

— Поосторожнее на поворотах! — обиделся Гера. — Не хуже тебя стреляю. В метании гранат не на последнем месте. Для твоего сведения, по военной подготовке у меня одни пятерки!

Годы, отведенные нам для учебы, не такие уж безмятежные. Распоясался Гитлер. Бушевали бои в республиканской Испании. Фашисты прибрали к рукам Австрию. На очереди — новые жертвы. Свежи в памяти Хасан и Халхин-Гол. А теперь что?

В военкомат пригласили не только нас. Здесь — парни и девчата из других институтов. Незнакомая девушка затянула песню. Ее дружно подхватили. Под сводами особняка плывет мелодия:

Три танкиста, три веселых друга —
Экипаж машины боевой!

Военком предписал: «До начала рабочего дня развесить приказ о частичной мобилизации в связи с войной Германии против Польши».

Новая ночь. И опять в репродукторе: «Внимание! Внимание!»

В военкомате нам сообщили, что, вопреки приказу о частичной мобилизации, не явились на регистрацию некоторые резервисты. Нам дали повестки с адресами и приказали: «Вручить лично, под расписку. Вручить утром, пока люди не ушли на

службу».

Утро занималось хмурое. На небе — ни проблеска. Тучи низко и стремительно неслись на запад. Стонали провода. Гремела жесть на крышах. Вздыбилась Нева. В каналах вода достигла парапетов. Казалось, что мосты вот-вот приподнимутся и поплывут, как плотики. От обилия влаги лоснились тротуары.

Мои адресаты проживают в районе Литейного. На проспекте в этот час безлюдно. Нахожу нужные дома и подъезды. На лестничных площадках еще стоит ночная тишина. Тускло горят запыленные лампочки.

Разных людей я наблюдал в этот день. При виде повесток бледнели бабушки, матери, невестки. Но злоумышленников, уклоняющихся от выполнения приказа, не нашел. Кроме Литейного пришлось побывать и на Петроградской стороне, и на Выборгской, и на Васильевском острове.

Ларчик открывался просто: прошло много лет с тех пор, как люди отслужили в армии. Многие обзавелись семьями, сменили адреса. А военкомат давно не вспоминал о резервистах, и поэтому сведения, хранившиеся в личных делах, стали неточными, устарелыми.

Задания военкома мы выполнили точно и в срок. Но в них не было того, чего мы ждали, шагая по ночному вызову, — не было романтики, не было подвига.

События, которых мы подсознательно ждали, произошли чуть позже.

Зима пришла рано, суровая, злая. Неву и каналы сковал лед. Стекла в рамах и витринах заплыли узорами. В небе — ни облачка. В звенящем от мороза воздухе необычно резко звучали сигналы «эмок», звонки трамваев.

Свирепствовала стужа, а казалось, что где-то близко сгущаются тучи и вот-вот грянет гром. Первым разрядом неурочной грозы стало короткое известие: на финской границе совершена провокация, убито пять красноармейцев, семь — ранено.

Это совсем рядом. Выходит, беда подкатилась и к порогу нашего дома.

В нашу мирную жизнь пришло необычное слово: «война».

Город погрузился в темноту. Фары автомобилей прикрыты козырьками. Кругом — в автобусах и трамваях, на столбах и в подъездах домов — синие лампочки. Мосты охраняются нарядами конной милиции. Городской транспорт движется медленно, будто ощупью. На улицах и проспектах притихла людская сутолока. На площадях и в скверах молчат репродукторы. Но вечером 30 ноября они вдруг загремели: «Сегодня в восемь часов утра

советские войска перешли границу. Армия продвинулась на пятнадцать — двадцать километров».

Окна в общежитии затянуты одеялами. Укрываемся на ночь чем попало. Чуть свет — за работу. Занятия идут в прежнем напряженном темпе. Никаких скидок на войну. Но она, война, даже в будни нет-нет да и напомнит о себе.

Как-то вечером в комнату ввалился старик в белом халате, огорошил:

— Разрешите обыск сделать.

— Какой еще обыск? — набросились мы на непрошеного гостя.

— Из санитарной инспекции я, — представился старик. — Насчет насекомых.

Коля Пхакадзе, стиснув зубы, пошел на пришельца:

— Ты, старый, за кого нас принимаешь?

— За людей, за людей принимаю. Но война-то в тридцати километрах. Не дай бог, сыпной тиф или еще какая напасть не нагрянула.

Мы притихли. Раньше всех очнулся Гера Захаров.

— Раз дело такой важности, обыскивай.

Старик, сощурив глаза, стал шарить по Геркиной спине.

— Ты бы, любезный, — обратился к инспектору Коля Пхакадзе, — лучше помог бы нам с крысами справиться.

— С крысами? Какими? — удивился инспектор.

— Обыкновенными, которые на четырех ногах бегают. Как ночь — житья нет. Носятся по комнате сломя голову. Я спасаюсь только старой калошей. Чуть они к моей кровати — хлопаю резиной по стулу: отбегают.

— Санинспектор тебе в этом деле, Коля, плохой помощник, — вмешался Гера. — Нам надо у девчат, у своих соседей по комнате, поучиться. Представь себе, им крысы не мешают.

— Мели, Емеля — твоя неделя, — огрызнулся Пхакадзе.

— А я не мелю, чистейшую правду говорю. Сам только, вчера про их секрет узнал. И все очень просто. Девчата, перед тем как ложиться спать, на полу, на середине комнаты, расставляют блюдечки. Тут тебе и молочко, и булочка, и колбаска. Крысы у девчат покушают, а поиграть к нам, холостякам, идут. Это факт!

— Тьфу, — сплюнул Коля. — Вечно ты какую-нибудь мерзость придумаешь!

Их перепалку прервал санитар:

— Грызуны в такое время, как сейчас, не менее опасны, чем насекомые. Я, пожалуй, этим делом всерьез займусь.

Но Коле не пришлось спокойно спать, когда крыс истребили: военкомат удовлетворил его просьбу о направлении

добровольцем в действующую армию. На другой же день Коля пришел в общежитие сияющий, в новом военном обмундировании. Мы с любопытством и завистью осматривали своего товарища. Шинель была перетянута широким ремнем с большой бляхой, на которой сверкала пятиконечная звезда. На петлицах горели три красных кубика.

Даже Гера в этот момент не паясничал. Он обнял Пхакадзе, чмокнул его в губы, сдавленным голосом произнес:

— Ты, Коля, не поминай меня лихом. Если когда и досаждал, так это от озорства, а может, и по глупости. Ни пуха тебе, ни пера.

— Что это за пух и перо? — насторожился Коля.

— Это не обидно, Коля. Да и не до шуток мне сейчас. Удачи, большой удачи желаю я тебе, товарищ политрук.

Гера взял под козырек.

Провожали Колю всей комнатой. На перекрестке он остановился и категорически заявил:

— Дальше не надо! Я не ребенок! — Круто повернулся, поправил вещмешок на спине и зашагал к трамваю.

В это мгновение, наверное, мы думали об одном: «Коля мечтал быть литератором, а стал солдатом. Он был всегда прямым, бескомпромиссным, решительным. Такой не дрогнет перед опасностью».

На Карельском перешейке шли бои. В городе дымились трубы заводов. Афиши приглашали на «Пиковую даму», «Бориса Годунова», «Русалку», «Демона». В консерватории проходили лекции-концерты о творчестве Люлли, Монтеверди, Баха, Бетховена, Моцарта. Школьники и студенты ходили в классы и аудитории. Мы читали положенные по программе произведения Льва Толстого, Фурманова, Серафимовича. Учили стенографию.

Все, как до войны. И все не так, как до войны.

Институт шефствовал над военным госпиталем. Девушки сутками дежурили в палатах. В классах собирали деньги на подарки раненым. Предметом номер один стали занятия по военной и физической подготовке. Вузовская газета «Большевистский журналист» сообщала о подвигах бывших студентов, а ныне политруков Василия Герасимовича, Якова Падерина. Они отмечены правительственными наградами.

Наша комната с нетерпением ждала писем с фронта. Конверты не приходили. Коля Пхакадзе почему-то молчал…

НОКАУТ

К осени, когда завершались работы в поле и можно было покинуть на время деревеньку в Архангельской области, в Ленинград приезжала бабушка, чтобы навестить свою дочь Марию.

Старушка высохла, плохо видела, но ум ее был молодым и пытливым, а память светлой и богатой красками. Когда мы в семье брата Мити оставались одни, бабушка любила пооткровенничать.

— Смотрю, Женюшка, и своим глазам не верю: детишки-то Марии — Юра и Гена — от белого хлеба с маслом да вареньем нос воротят. Им неведомо, что хлеб и молочко с потом да кровью достаются. Мы с муженьком покойным всю жизнь о достатке мечтали. Тимофей — муженек мой — ладен и статен был, зол и жаден до работы. Эта его злость раз мне боком вышла.

Прикрывая рот кончиком платка, бабушка вспоминала:

— Отправились мы как-то с Тимофеем на дальний покос. Днем разморило. Пошла я к речке искупаться. У самого берега поскользнулась и со всего маху упала рукой на твердый как камень глинистый бугор. В локте что-то треснуло. Боль поднялась — мочи нет. А Тимофей говорит: «Поболит да перестанет. Сено надо ворошить».

Всю ноченьку ревела. Тимофей смилостивился, привел какую-то старуху от лесника. Она, сказывали, ловко разные вывихи лечила. Повертела, покрутила она мою руку и сказала: «Ни молитвы мои, ни травы, ни примочки не помогут. Сломана у тебя кость. К фельдшеру надо идти, в гипс недель на шесть руку заковывать».

А Тимофей другое: «Кость без гипса зарастет. Наберись терпения. А сено не уберем — корова сдохнет».

«И то верно, — подумала я. — Нужда да голод страшнее боли».

Потом бабушка призналась:

— Попозже бы мне народиться, свет бы увидела. Не думай, что жалуюсь. Живу — радуюсь: дети в люди вышли. А народ наш северный не унывчатый. Горазд он на выдумки, особенно на притчи да сказки.

Бабушка часто сокрушалась:

— Как ни приеду в гости, а зять в отъезде.

— Работа у него такая.

— А какая у него работа? Марию пытала, так и не допыталась.

Что я мог ответить? Признаться, что рабочие тайны брата мне неведомы? Не поверит, подумает, что хитрю. Сказал, что знал:

— Инженер он по электротехнической части. Изобретает с товарищами приборы для кораблей. А испытывают в открытом море.

— Вижу, что Мария-то не в своей тарелке. Понять ее можно. Не всякую правду легко сказывать.

И в самом деле трудно было определить, чем озабочена Мария Тимофеевна. Тем ли, что муж за тридевять земель? Тем ли, что его работа сопряжена с риском и опасностями? Или тем, что, бывая дома, он выглядел утомленным и раздраженным?

Брат нередко посылал проклятия по адресу кляузников и доносчиков, обливающих грязью честных людей. «Негодяи, карьеристы! — шумел он в своей комнатушке. — Так и норовят ставить палки в колеса. От этого страдает дело. Мерзавцы — липкие, увертливые, как налимы, не ухватишь голыми руками».

Я старался не ввязываться в разговор. Ни к чему было знать подробности. Дело важное, государственное. Но где-то подсознательно возникали вопросы: «Почему он так часто негодует? Неужели у него кругом только один препоны? Может ли так быть?»

Однажды, не сдержавшись, бросил:

— Вечно у тебя плохо! Взрослый человек, а какой-то пессимист!

Брат встал, не сказав ни слова, размахнулся, дал мне оплеуху. Зазвенело в голове. Уходя, я слышал его гневные слова: «Катись к чертовой матери, оптимист!»

Сердце распирала обида. Чуть придя в себя, послал «обвинительное письмо». Ответ не задержался. Хлестала каждая фраза:

> «После твоего письма нам разговаривать не о чем. Ты святой, а святых не судят. Живи, набирайся мудрости и до конца оставайся оптимистом. Будет время — узнаешь о трагедиях. Не так-то легко после тяжелых драм выстоять, остаться в строю.
>
> *Д. П.»*

Еще один удар. Он как нокаут. Но за что? Надо бы выяснить. Но уже поздно. Брат снова далеко. Может быть, в Татарском проливе или в Японском море. А мне скоро покидать Ленинград.

Потом, много позже, я прочитал в центральной газете, что брат вместе с группой ленинградских инженеров удостоен Сталинской премии.

«Пессимист», — вспоминал я брошенное случайно слово. Не всякое слово к месту. За дело попало!

Не стыдно будет признаться, если наша встреча состоится…

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ

Закончилась зимняя сессия. Еще одна гора свалилась с плеч. На очереди последняя, преддипломная практика. Настроение у ребят приподнятое. Еще бы! Едут в родные края: в Куйбышев, Саранск, Чебоксары, Ижевск, Свердловск. Гриша Некрашевич — в Белоруссию. Гера Захаров и Володя Лабренц остаются в Ленинграде. Мише Ширямову, Коле Горбачеву и мне предложено попытать себя в центральной газете, и не в какой-нибудь, а в «Известиях».

— Не завидую, — замечает Гера Захаров, почесывая затылок. — Уж больно высока колокольня.

— А я что? Не замечаешь, что места себе не нахожу?

— Вижу, потому и встрял в разговор. Про себя думаю: не боги же горшки обжигают. Ты так поступай, комсорг. На первых порах побольше слушай. Меня, бывало, так бабушка напутствовала. Старушка, правда, никогда не была высокого мнения о моей персоне, считала, что я не первого десятка, да и не первой тысячи.

— А все же ехать на практику робковато, — признался я.

— Моя бабушка на этот счет, бывало, сказывала: «Что проку робеть? Року все равно не минуешь, а только надрожишься», «Глаза страшат, а руки делают».

Он ходил вокруг стола. Остановившись, хлопнул ладонью по лбу:

— Чуть главного, комсорг, не забыл. В Москве сходи обязательно в Музей нового западного искусства. Я там был прошлым летом. Больше всего приглянулись обнаженные женщины.

Был бы Коля Пхакадзе, досталось бы Герке за эти вольности.

Москва после затемненного Ленинграда выглядела празднично. Краше всех казалась Пушкинская площадь. Она была для нас магнитом. Вдоль Тверского бульвара и по улице Горького плыли залитые светом трамваи. С шипением, как фейерверк, рассыпались искры от контактных дуг над крышами вагонов. Здание «Известий» выглядело небоскребом. Оно было величественным, особенно вечером. Высоко-высоко, почти на небосводе, бежала световая реклама, приглашавшая на кинокартину «Девушка с характером» и советовавшая вносить вклады в сберегательную кассу. Световое табло казалось последним чудом века.

У огромных витрин «Известий» — толпы людей. За зеркальными стеклами фотографии героического экипажа

ледокола «Седов», дрейфовавшего во льдах Арктики восемьсот двенадцать дней. Ныне «Седов» с помощью мощного ледокола «Иосиф Сталин» прибыл в Мурманск. Со снимков улыбаются людям капитан «Седова» Бадигин, помполит Трофимов, старший помощник капитана Ефремов. На подверстку дана «Оперсводка штаба Ленинградского военного округа». В ней говорилось:

> «На фронте ничего существенного не произошло. Наша авиация произвела разведывательные полеты и боевые действия по военным объектам, во время которых сбито три самолета противника».

От, обилия огней, беспечной городской разноголосицы и смены обстановки голова шла кругом. Здесь, на Тверском бульваре, не останавливаются ни на минуту телетайпы. Летят в столицу новости со всех концов света. Из Москвы молнией разносятся сообщения о нашей жизни. Они тотчас же комментируются на сотнях языков. Здесь — водоворот событий. А я в нем — ничтожная песчинка.

С этими мыслями возвращался вечером на квартиру брата. К Леше и его семье у меня еще с детства сохранилась нежная привязанность.

…Это было еще в Няндоме. Леша получил отдельную квартиру. Младшая сестренка Тамара нет-нет да и пристанет ко мне:

— К Леше хо-чу.

— Какие у тебя там дела?

— А просто так.

— Не просто и не так! — огрызнулся я, но устоять перед настырной девчонкой не мог.

Тамарка всю дорогу прыгала на одной ноге, а когда появлялась в квартире брата, становилась настоящей тихоней. Смотрела в пол, молчала, будто проглотила язык.

— Что ж, Петровы, так и будем играть в молчанку? — шутила Фаня. — Проходите, будьте гостями. Чай сейчас согреем.

Хозяйство у молодоженов не богатое. В комнатке — железная односпальная кровать, самодельный стол и табуретки. В углу у окна вместо туалетного столика фанерный ящик, накрытый простыней. Постоять у этого столика — наслаждение. У Тамарки разбегаются глаза. Так и хочется ей раскрыть яркие коробочки с пудрой, кремом, поиграть флакончиками с одеколоном и духами.

Фаня хлопотала у примуса.

— А чаю я не хочу, — выдавила, осмелившись, сестренка.

— Тогда угощайтесь. Чем богаты, тем и рады, — предлагала Фаня, пододвигая на край стола вазочку с печеньем и карамелью.

— И есть не хочу, — тянула сестренка.

— Так уж и не хочу? — удивлялась Фаня. — А карманчик где у тебя, девочка, покажи.

— Вот он, — отвечала Тамарка, поспешно поднимая клапан.

Мама, увидев нас с подарками, сокрушалась:

— Опять у Фани были? Ни стыда у вас, ни совести!

Мне ничего не оставалось делать, как оправдываться:

— Это не я, это все Тамарка.

Сестренкино самолюбие от этого не страдало. Карамельки одна за другой исчезали из ее карманчика и похрустывали за щекой.

Леша — четвертый по счету в нашей семье. Внешне он — сухарь. Скуп на слова. Но люди тянулись к нему. Привлекала неподдельная искренность, честность. Его квартира в Москве — как постоялый двор. Транзитные пассажиры считали неудобным не побывать у брата. Для родных и знакомых праздник не праздник, если он прошел не у Леши.

Не забыть, как, возвращаясь с кладбища после похорон отца, он, смахнув слезу, признался: «Имеешь — не ценишь, потеряешь — плачешь». Он казнил себя. Казнил очень жестоко, так как никто не мог упрекнуть его. Уж кто-кто, а Леша заботился о стариках. Я сказал об этом вслух. Леша вспыхнул:

— Помогал? Разве это помощь — посылать по почте деньги? Я лучше тебя знал отца. Он не имел привычки жаловаться. А незадолго до смерти я получил от него письмо.

Брат достал из кармана пиджака бумажник, дрожащими руками извлек из него листок в клеточку, вырванный из тетради, на котором плохо отточенным карандашом были нацарапаны строчки. Я сразу узнал почерк отца. Леша хотел было читать, но мешали спазмы.

— Прочти сам, — выдавил он.

> — «Привет и наилучшие пожелания Лене, Фане и Наталочке. Очень и очень благодарны за присланные деньги. Только, Леня, напрасно так много посылаешь, и так часто. Ведь у тебя своя семья и в твоем кармане не густо. Покуда Женька живет с нами и работает, у нас особой нужды нет. А вот когда Женька уедет учиться, тогда действительно будет трудно. На мою пенсию, 62 рубля, далеко не разгуляешься.
>
> Поклонись от меня сыну Васе, его жене Гале и внуку Юрику. Мы живем по-старому. Новое только то, что у меня очень часто стали болеть легкие. Каждый день приступы удушья — раз по пять, а то и больше. Иногда

так прихватит, что с ног валишься. Только и спасаюсь тем, что держу мокрую тряпку на груди. У мамы тоже свои болячки. Никак не отвяжется ревматизм. Хоть и вспухли суставы, а собирается ехать в Ленинград, навестить Митюшку.

Зима стоит у нас теплая. Сейчас пошел снег.

Как у тебя, Леня, обстоит дело с экзаменами? Нас это очень интересует. Женька напишет тебе отдельно от нас.

Еще раз спасибо за деньги. Остаемся пока живы, но нельзя сказать, что здоровы.

А. и А. Петровы».

Я прочитал письмо и молча вернул его Леше.

— «Спасибо за деньги», — повторил Леша. — После этого письма надо было мчаться на помощь, везти отца к докторам, думать о его лечении… Никогда, никогда не прощу себе эту уже непоправимую оплошность.

В комнате на Божедомке Фаня встретила вопросом:

— Ну как дела, журналист?

— Плохи! Крутился у «Известий», но не верится, что наберусь смелости перешагнуть порог редакции.

— По-рог, — протянула Фаня. — По-рог — архангельский говорок.

Это был любимый конек невестки. Шуточками над оканьем она каждый раз вгоняла меня в краску.

— Перешагнешь, — уверенно сказала Фаня. — Люди в «Известиях», я думаю, не кусаются. Посмотрят на тебя — и вспомнят свою молодость, свои первые репортерские шаги. А потом — ты же не новичок. Сам присылал вырезки из «Лесной магистрали», «Лесного рабочего», «Северного пути».

— Так то же провинция. А здесь, как сказал друг Гера, другая колокольня.

— Про-вин-ция, — опять протянула невестка. — Она в тебе еще сидит. Это верно. Но это же не великий грех. Уверенность придет со временем. Москва тоже не сразу строилась.

На другой день в отделе кадров «Известий», куда я предъявил предписание о практике, предложили пойти в экономический отдел. Я не стал возражать. Редактор отдела долго расспрашивал меня. Потом, поправив массивные очки, заключил:

— Хорошо, что кое-какая практика у вас есть. Перейдем от слов к делу. В Москве сейчас ведется большая работа по пересмотру технических норм. Лучше всего, как нам стало

известно, это дело поставлено на Инструментальном заводе. Завтра побывайте на этом предприятии.

Фактов собрал, наверное, больше, чем требовалось. Исписал весь блокнот. За статью принялся чуть свет, чтобы к полудню, когда надо будет идти в редакцию, иметь хотя бы «болванку». Прошел час, другой, а у меня не родилось ни строчки. На столе большая стопа исписанных и перечеркнутых листков.

В комнату вошел Леша. Вид у меня, скорее всего, был жалкий и растерянный. Брат подсел к столу, участливо спросил:

— Не клеится? Трудно этому верить. Иногда прислушаюсь, как ты толкуешь с Фаней, чувствую, что в твоем разговоре есть все — и логика, и краски, и, главное, собственное мнение. А сейчас в чем загвоздка?

— Не знаю, с чего начать и чем кончить.

— Да, это дело нелегкое. Отложи-ка на время бумагу. Она тебя, видно, загипнотизировала. Расскажи, что видел на заводе.

Леша внимательно слушал. Время от времени он делал пометки на листочке. Когда я кончил рассказ, он удивился:

— Что же тебя смущает? У тебя же богатый материал!

Свои пометки Леша пронумеровал. Они явно не совпадали с последовательностью моего рассказа.

— Я не журналист, — осторожно сказал Леша. — Не знаю, в чем состоит премудрость редактирования, композиции. Но интуитивно чувствую, что главное в любой корреспонденции — проникновение в существо вопроса. У тебя нет сейчас логической связи, стройности. Надо, наверное, подумать над планом статьи. Кроме того, не следует мудрить, искать красивых выражений. Пиши, как рассказывал. Статью можно начать просто: «На Московском инструментальном заводе проведена большая работа по просмотру технических норм».

Я написал эту фразу.

— Самое ценное в опыте инструментальщиков, на мой взгляд, — продолжал Леша, — то, что и дирекция, и общественные организации многое сделали, прежде чем ужесточить нормы. Тут и тщательный хронометраж на рабочих местах, и совершенствование технологии. В этом суть. Это, основное, и надо развивать в статье.

Все стало на свои места. Материал начал «вытанцовываться».

— Ум — хорошо, а два — лучше, — пробурчал я, пытаясь оправдаться за свою беспомощность, отблагодарить Лешу, хотя сентиментальностей в нашей семье не терпели.

— Это правда, — подтвердил Леша. — Но говорят и по-другому: «Ум — хорошо, два — лучше, а три — никуда не годится». Так что лучше уж без пословиц — надейся только на

самого себя.

С рукописью я пришел в кабинет редактора отдела.

— Написали? Превосходно! — подбодрил он. — Но читать я буду только после машинки. Потрудитесь напечатать, тщательно вычитайте, проверьте факты, цифры, фамилии.

Машбюро располагалось в большой комнате. Стены и потолок обтянуты белой тканью. Приглушенно трещали десятки машинок. Я протянул листочки седой женщине с папиросой во рту. Скорее всего, это была заведующая.

— Не скажете, когда можно прийти за материалом? — робко спросил я.

— Зачем приходить? — удивилась заведующая. — Диктовать будете сейчас.

Она обернулась и попросила:

— Мария Алексеевна, займитесь молодым человеком.

Я сел на низкий стул рядом с креслом машинистки. Женщина вставила в каретку фирменный бланк. Предложила диктовать. Меня будто пронзило током. Как бы Мария Алексеевна, вроде невестки, не решилась издеваться над моим оканьем. Его же в карман не спрячешь.

Я то шептал, то заикался, то неестественно громко выкрикивал фразы. Мария Алексеевна удивленно посматривала на меня. В ее взгляде нетрудно было прочесть вопрос: «Откуда ты взялся, необстрелянный?»

Регулярно проходили летучки. Хвалили Кармена, доставившего на специальном самолете снимки героев «Седова» и написавшего очерк «Капитан Бадигин». Среди лучших материалов были стихи А. Твардовского «Слово о Родине», Вас. Лебедева-Кумача «На Балтике родной», Николая Асеева «О любви» — отрывок из новой повести в стихах «Маяковский начинается», очерк Бориса Агапова «Огненный воздух».

В конференц-зале работники всех отделов уверенно и в то же время как-то запросто говорили о новых работах Капицы в Институте физических проблем, спорили, как лучше отметить 20-летие советского кино. Сошлись на том, что не обойтись «Известиям» без выступлений Александра Довженко и Григория Александрова. Давались поручения подготовить материалы и иллюстрации в связи с 80-летием Фаворского, 65-летием Василия Ивановича Качалова. Предлагались в номер информации о награждении орденом художника Грабаря, о последней работе академика Тарле «Крымская война».

Все, что я слышал и видел в те дни, трудно было объять. Слишком велика оказалась известинская высота. К такой высоте,

видно, надо долго, очень долго привыкать. А сейчас от этой высоты захватывало дух.

По поручению редакции побывал я на «Шарикоподшипнике», «Серпе и Молоте». Знакомился с производством бритвенных лезвий. Брал интервью у работников промышленных наркоматов. И не было ни одного спокойного дня. Казалось, что где-то рядом находится серьезный соперник из другой газеты, готовый обставить меня, как на соревнованиях, вырваться вперед, посрамить перед ревущей от азарта публикой.

Уже несколько моих статей набраны. Я читал их в гранках. Одну видел вечером в полосе. Но к утру она вылетела из номера. На внутренних полосах с продолжением шло Постановление Главного комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки о награждении победителей большими и малыми золотыми медалями.

Успокаивал себя: «Стоит ли удивляться, что мои статейки вылетают? Читатель «Известий» конечно же ждет очерки Татьяны Тэсс, Мариэтты Шагинян, Ольги Форш, Виктора Полторацкого, Евгения Кригера, Леонида Кудреватых. А что я представляю собою по сравнению с когортой известинцев? Просто недоучка, даже не подмастерье».

Мой рабочий день начинался рано. Спешил на улицу. Тянуло к газетным витринам, пахнущим типографской краской, спешил увидеть свои материалы, но постепенно мой пыл к витринам остыл. Видно, не напечататься мне в «Известиях». Часами бесцельно бродил по улицам. Наступила настоящая весна. На Божедомке пели ручьи. Они стремительно мчались под уклон к Цветному бульвару. В сквере людно даже в утренние часы. Спешат понежиться на солнце старики и старушки. А домашние работницы толкают коляски, тянут за поводки салазки. Цветной бульвар! Хорош этот уголок Москвы. Здесь переплелось новое и старое. На площади Коммуны высоко поднялись леса строительства Театра Советской Армии. С утра до вечера тянутся стайки ребятишек в Уголок Дурова.

Не пустуют скамеечки в сквере. Здесь беседуют, вяжут, читают. Подсел к старичку, который уткнулся носом в сложенный вчетверо газетный лист. Заглянул через плечо. В глаза бросился заголовок: «Перед торфяным сезоном». Пробежал первые строчки:

> «Скоро весеннее солнце растопит снег. Обнажатся огромные пространства торфяных болот».

Что-то колыхнулось в груди. В голове мелькнуло: «Кажется, мои слова!» Побежал что было сил к витрине. Читаю: «Скоро весеннее солнце растопит снег». А внизу — моя фамилия. Значит,

не мираж! Шел от витрины к витрине, и везде солнце готовилось растопить снег. Не заметил, как добрался до Пушкинской. Улыбались при встрече незнакомые люди. А мне хотелось кричать, чтобы слышали все:

— Петров — это я! Я — журналист! Я — известинец!

С практики я привез несколько номеров с собственными «произведениями». Были и гранки статей. Может, они позднее тоже попадут в номер. Газеты ходили по рукам. Прочитал статьи и Гера Захаров. Похвалил и похвастался:

— А у меня публикаций погуще!

Гера положил на стол объемистый альбом с вырезками из газеты. Шепотом поделился, почему у него такой богатый урожай:

— Работать в многотиражке пришлось одному. Как на грех, заболел редактор. Хочешь не хочешь, а пиши. Сначала оторопь взяла, а потом ничего, привык. Приеду домой — первым делом к бабке пойду. Скажу: «Кто, любезная, говорил, что я не первого десятка да не первой тысячи?» Хлопну в грудь и выпалю: «Я, к вашему сведению, первый парень на деревне…»

— А не осрамишься ты, Гера, перед бабушкой? — спросил я.

— Это почему же?

— У твоей присказки есть еще и конец.

— Какой?

— А в деревне той был всего один дом.

— Нет, после такой школы, что прошел в многотиражке, не осрамлюсь!

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ВЕСНА

В марте выдались солнечные дни. Сугробы осели и искрились хрустальными иголочками. В скверах черной оспой выступила копоть. Зима сопротивлялась заморозками. Но на помощь солнцу пришли теплые ночные туманы. На асфальт и булыжник рванулись ручьи. Их уже нельзя было остановить ни днем ни ночью. Талая вода устремилась в каналы. Лед посинел, натужился.

В эти дни на улицы и проспекты Ленинграда пришел праздник. Его принесли в город ребята в засаленных маскировочных халатах. Остриженных наголо парней рвали на части. Победители боев на Карельском перешейке были самыми званными гостями в заводских цехах и учебных аудиториях.

На мирный лад перестраивались и студенческие общежития. Так было и в нашей комнате на канале Грибоедова. Гера Захаров сорвал с окон светомаскировку. Швыряя одеяла, он восторженно кричал:

— Разбирайте по принадлежности! И чтобы к вечеру — полный порядок!

От дневного света комната преобразилась. Белели старательно взбитые подушки. Блестел надраенный пол. Уют портила кровать в углу напротив двери.

— Так не пойдет, — проворчал Гера. — Надо заправить и ее.

За эту кровать Гера не раз вступал в бой с комендантом общежития, который намеревался подселить в нашу комнату нового жильца.

— Ни стыда у вас и ни совести, — возмущался Гера. — Коля Пхакадзе воюет. Это вам известно. Коля равноправный член нашей семьи. Мы его ждем, понимаете, ждем!

После обеда общежитие обычно затихало. Наступал не установленный никакими регламентами тихий час. Но однажды тишину нарушило гулкое эхо: по коридору печатали шаг кованые солдатские сапоги. В нашу комнату постучали. Ответили почти хором:

— Войдите!

Дверь распахнулась. Первым увидел гостя Гера. Его будто током подбросило с кровати. Он ошалело закричал:

— У-р-р-а!

Человек в военной форме, перешагнув порог, застыл и, приложив правую руку к козырьку, отрапортовал:

— Прибыл в ваше распоряжение!

Мы окружили гостя. Коля Пхакадзе молча улыбался. Гера,

стоявший за спиной Коли, подмигнул: «Толкай, мол, победителя в грудь». Коля, не ожидавший от меня подвоха, покачнулся. Гера ухватил его под мышки. Малыш Гриша Некрашевич вцепился в Колины ноги и, натужившись, оторвал их от пола. Леня Худобин и я, встав друг против друга, подхватили парня за спину и приподняли. Герой полетел к потолку. Упал на наши руки — и снова вверх.

Мы остановились лишь тогда, когда заметили, что брови Колины потянулись вниз, губы сжались, а в его главах начинала закипать ярость.

Поставив Колю на ноги, мы разбежались кто куда. Заправляя растрепавшуюся форму, Коля презрительно растянул:

— Мальчишки!

— Удивил! — отпарировал Гера. — Америку открыл! Конечно мальчишки. А то еще кто? Ты же, Коля, уже не мальчишка.

— А я что, по-твоему, баба? — обиделся Коля.

— Фью! — свистнул Гера. — Узнаю друга! Прежний: ершистый и задиристый! Не дуйся! Не собираемся обижать. Ты теперь, Коля, муж, воин. Ты — настоящий мужчина!

Расспрашивать Колю о боевых делах было неудобно. Будет лучше, если разговорится сам. Гера все же не вытерпел, спросил:

— Ну как там, на войне-то, было?

— На войне как на войне, — неохотно отозвался Коля, — она везде была: и на земле, и в снегу, и на льду, и под водой, и на соснах, и в воздухе, и черт знает еще где!

— А ты поподробнее, поконкретнее, — просил Гера.

— Читай газеты, там все сказано, — отрубил Коля.

Но свои, выстраданные на войне мысли он все же высказал чуть позже, когда, казалось, что и повода для такого разговора не было.

Филолог прочитал нам рассказ неизвестного автора и предложил, чтобы мы дома сделали пересказ.

Вечером в общежитии Гера, записывая фразу за фразой, шептал:

> «Было это в Моравии, в начале девятнадцатого века. Русский полк расквартировался в глухом селе. Солдатам был оглашен строгий приказ: не допускать даже малейших конфликтов с местным населением.
>
> И все же утром поднялся скандал. Одна хозяйка, вцепившись в солдата, кричала, что он украл ее кур. Солдат, которого звали Егорушкой, крестился и божился, но женщина не унималась. В этот момент на улице появился командующий и его свита. Генерал грузно

сидел в седле, на его плечах всеми цветами радуги отливали эполеты. Женщина, позабыв про Егорушку, выбежала на улицу и встала на колени перед лошадью генерала. Она молила его сиятельство защитить ее и наказать грабителя.

Солдат стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку. Генерал заплывшими глазами смерил солдата, потребовал ответа.

Егор не мог выдавить ни слова. На его лице не было кровинки. На губах застыло подобие улыбки.

Генерал приказал повесить Егора.

Солдата повели на казнь. Егорушка шептал, что, видит бог, он не виноват.

Когда на шею солдата набросили петлю, он обмяк. Поцеловав крест, посветлел и высказал последнее желание. Он говорил, что кару принимает, но не уносит с собой зла. Он прощал ту женщину, сделавшую навет. Просил передать, чтобы она не казнила себя, не убивалась.

Солдата вздернули. Поручик молился и плакал. Не стыдясь своих слез, он гордился Егорушкой, Егорушкой-праведником».

— Все! Разделался с заданием! Сделал пересказ! — радовался Гера, потирая руки.

— Нашел чем хвастаться, — оборвал его Коля Пхакадзе.

— А почему бы и нет?

— Я этим пересказом и не собираюсь заниматься. Это — во-первых. А во-вторых, многое из того, что ты слышал на уроке, у тебя в одно ухо влетело, а из другого — вылетело.

— Не сказал бы! Память у меня шустрая. Я на ней только и выезжаю.

— Вот именно шустрая. Тебе бы только схватить в общем и целом. А детали?

— Какие еще детали?

— Забыл, что хозяйка-то нашла своих кур. Нашла, да поздно. Солдата на тот свет отправили. Выходит, что болваны командовали Егорушкой! Я знаю, что такое приказ. Его положено выполнять. Но прежде чем отдавать — не мешает все взвесить: и «за», и «против».

— Признаюсь, Коля, мне и в голову не приходило, чтобы рассмотреть данный рассказ с точки зрения стратегии и тактики. Я в этих науках не силен. Но задание-то филолога надо выполнять. Как ты думаешь?

— Задание — тоже приказ. Но в данном случае глупый. Даже больше — опасный, как снаряд или мина.

— Скажешь тоже! По-моему, очень миленький эпизод. В конце даже слезу прошибает.

— Вот именно слезу! А нам не умиление, не слеза нужна, нужна ненависть, злость. Кто твой Егорушка? Хлюпик! С таким не навоюешь.

Коля прошелся по комнате, на тумбочке у своей кровати взял в руки свежий номер газеты «Большевистский журналист». Очерк «Мужество», помещенный на третьей полосе, был придирчиво исчеркан. На полях — сплошные вопросы и знаки восклицания.

— Умиление вредно, не лучше и громкая фраза, — продолжал размышлять Коля. — Вы только послушайте:

> «Раздался возглас:
> — Вперед, за Родину!
> Этот клич бросил политрук. Красноармейцы поднялись со своих мест и, увлекаемые великим чувством советского патриотизма, бросились на врага.
> Через полчаса высота была взята. Схватка была ожесточенной. Бойцы все время видели в своих рядах политрука. Он умел беседовать с красноармейцами в цепи, на ходу, под огнем противника. Бойцы в эти минуты делились с политруком своими мыслями, и всегда они находили у него ответные чувства — такие же яркие и задушевные».

— Это же сплошная патока! — возмутился Коля… — Я тоже водил в атаки. И высотки мы брали… У тех высоток остались лежать в земле наши люди. Они ко мне по ночам приходят. Я бью себя в грудь, казню себя. Но погибших не воскресишь. Нельзя, преступно было ходить в атаки без разведки, без огневого прикрытия. Воевать надо не числом, а уменьем. Это давно было сказано. Пришло, пришло время вспомнить нам и Суворова, и Кутузова. Пришло время набираться военной мудрости.

А пока над Ленинградом было мирное небо. Гудел на Неве лед. Торосы набегали друг на друга, проваливались. Воронки тут же заплывали кашицей. Лавина теснилась в гранитных берегах. Глыбы со скрежетом ползли на волноломы, разбивались на большой высоте и, будто сбросив оковы, падали у опор мостов. Набирая скорость, лед мчался в Финский залив.

Перед Первомаем на речной глади Невы появились подводные лодки. Набережная расцветилась кумачом. Трудовой Ленинград славил новых стахановцев — многостаночников и рабочих, овладевших несколькими профессиями. Славил

колхозников, награжденных золотыми медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Славил героев недавних сражений.

Шла двадцать третья советская весна. В ней была наша молодость!

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВА В КАЧЕСТВО

Повседневные студенческие заботы отошли на второй план, после того как я решился на самый ответственный шаг в жизни — вступить в ВКП(б). Момент, которого, конечно, долго ждал, наступил неожиданно. В конце совещания секретарь комитета комсомола предложил обменяться мнениями, кого наша организация могла бы с полным основанием рекомендовать в партию. В числе таких назвали и меня, комсорга группы.

Мучительно вынашивал слова заявления. Десятки раз переписывал бумагу. Долго не решался заглянуть в партийное бюро, где бывал не на одном совещании и инструктаже. Ведь теперь мне предстояло идти туда в новом качестве, в качестве заявителя. В час приема посетителей робко постучался.

За столом в кресле с высокой резной спинкой сидел секретарь партбюро Агафоненков — тоже студент, мой однокурсник. Выглядел он старше нас. Его кряжистая фигура с крепко посаженной бритой головой вполне соответствовала массивным столу, креслам и дивану кабинета.

Агафоненков встал, шагнул навстречу мне, крепко пожал руку и кивком пригласил сесть. Пробежав заявление, он одобрил мое решение, посоветовал, что надо делать дальше. Все просто и буднично: что почитать, что припомнить.

— Думаю, впросак ты не попадешь ни на партбюро, ни на собрании, ни в райкоме, — успокоил он на прощание.

Все ясно как дважды два. И все очень сложно. Не составит, конечно, труда прочесть еще раз Устав партии в редакции, принятой XVIII съездом партии, припомнить даты съездов и конференций. Но в этом ли главное? Будучи комсомольцем, я выполнял немало поручений. Выполнял не за страх, а за совесть. Но то были поручения, веление опытных товарищей. Готов ли я к тому, чтобы встать в один с ними строй? Они, партийцы, не безликие, а живые, в чем-то одинаковые и в то же время разные, непохожие друг на друга.

…Помню, как на одном из зданий в Няндоме появилась вывеска: «Районный комитет ВКП(б)». Секретаря райкома Чумбарова, присланного из Архангельска, знал в лицо старый и малый. Люди не замечали его физического недостатка — грубо обтесанного протеза правой ноги, пристегнутого на ремнях. Люди любили его за выступления. Они вызывали бурю восторга или заставляли негодовать. Такого оратора Няндома до сих пор не знала. Чумбарову верили, за ним готовы были идти в огонь и воду. Так, во всяком случае, о нем говорили взрослые. Лишь

однажды вера в этого человека, в его неподкупную справедливость вдруг поколебалась. В те дни широко развернулась кампания по борьбе с религией. В речах секретаря все чаще и чаще звучали призывы: «Долой иконы! Долой церковный дурман!»

«Церковный дурман, — размышлял я. — А какой он? Как выглядит?»

В нашей квартире икон уже давно нет. Только одну, маленькую, мама сохранила в спальне. Вечером и утром она шептала у образа. Я слышал, как она молила, чтобы ее дети вышли в люди, чтобы в доме царило благополучие и семейное счастье.

Икона и странная молитва? Это у мамы, скорее всего, дань старой привычке. Ни больше ни меньше. Она такой же богомолец, как и другие матери больших рабочих семей. Они пекутся о своих детях, радуются вместе со всеми большим переменам и не хотят другой жизни, чем та, что пришла на их улицу, в их дом, в их семью.

В один весенний будничный день Няндома всполошилась, как улей. Огромная толпа собралась у церкви. Людей не пускали за ограду, где орудовали незнакомые мужчины. Первым делом они опечатали сургучом парадную и боковые двери. Потом по лестницам забрались на крышу, набросили на кресты петли, а концы веревок сбросили вниз. Цепочка мужиков, ухватившись за канаты, хором выкрикивала:

— Эй, ухнем!

— Еще разик!

— Еще раз!

Позолоченные кресты надломились и с грохотом полетели вниз, обдирая голубую обшивку куполов и крыши. Обнажились стропила. Жесть гремела на ветру. Толпа молча разошлась. Здание, именуемое няндомской Зосимо-Савватеевской церковью, выглядело, как после нашествия. Лозунг, намалеванный на фанерном листе, призывал: «Долой церковный дурман!» Мама тихо причитала. Старшие братья отводили в сторону глаза, не желая отвечать на немые вопросы матери. Мне ее хотелось утешить. А что сказать — не знал. В голове царила какая-то сумятица. Сам не мог понять, почему сорвали кресты, испортили купола, созданные руками искусных мастеров.

Ответ дал не кто-нибудь, а Михаил Иванович Калинин. В «Известиях» в разделе «Хроника» появилось сообщение о том, что ВЦИК объявил выговор Няндомскому горсовету за незаконные действия, оскорбляющие чувства верующих.

Секретарь райкома не отмолчался. Выбрав удачный момент,

он признался народу:

— Перегнули палку. Круто взяли. Урок на всю жизнь. Ошибаться, да еще так грубо, нам не положено.

За обедом, когда вся наша семья была в сборе, отец, не отличавшийся красноречием, заключил:

— Молодец районный секретарь. Восстановил свой авторитет. Сумел совершить ошибку, сумел ее и признать, сумеет и исправить.

Беспартийный отец гордился, что и Митя, и Вася, и Леша — члены ВКП(б). Он не раз толковал, что надо в большом и малом хранить честь и достоинство. Отец больше сыновей переживал, когда началась чистка. Вернувшись с собрания, на котором проходил чистку Леша, отец вспылил:

— Ты, мать, подведешь своих детей под монастырь!

— Не греши, старый, — всполошилась мать. — Чего плохого я своим детям сделала?

— Чего, чего? Ты бы сама послушала, со стыда бы сквозь землю провалилась. Хорошо еще, что Леня не растерялся.

— Да не казните вы меня, — взмолилась мама. — Хоть бы ты, Леня, просветил, в чем дело.

— Да ничего особенного, мама, успокойся. После того как я рассказал о себе, какая-то женщина, сидевшая в последнем ряду (я ее не узнал), крикнула: «Небось в рождество да в пасху, коммунист, пироги лопаешь?» «Отвечай, раз задали тебе вопрос», — предложил председатель. Ответил: «Не лопаю, а ем». «Что в лоб, что по лбу!» — опять крикнула женщина. Народ за меня заступился. Кричат: «А ты, Марья, сама от пирогов и пышек не откажешься! Сама видела, как за обе щеки уплетаешь!», «Чего привязалась к парню? Партия не против вкусных пирогов». Председатель успокоил собрание. Вот и все. Прошел я чистку.

— Ну, а я-то при чем? — спросила, недоумевая, мама.

— А при том, — вставил отец, — поменьше носись с жаревом да паревом. Они теперь, после чистки, и сухой коркой будут довольны.

— Это верно. Теперь, прежде чем кулич да пасху пробовать, надо будет хорошо поразмыслить, — шутил Леша.

— Напугали, чуть не до смерти, непутевые! — ворчала мама.

…Алексей — ныне ответственный работник ЦК ВКП(б). В партию вступил и брат Миша, и сестра Кланя. Пришел и мой черед.

Бюро заседало в кабинете ректора. Там я бывал не раз. Резная мебель и особенно шкаф с часами создавали обстановку торжественности. Мерно качался за стеклом маятник. Через определенные промежутки механизм шипел, а затем следовало:

«бум», «бум», «бум». Заседание началось в пять. Пробило уже шесть, семь, восемь, а моя очередь еще не подходила.

Все, кто находились в приемной, слышали голоса, раздававшиеся за дверью, обитой дерматином. Каждую кандидатуру разбирали с пристрастием и строгостью. Неожиданно загремел секретарь партбюро:

— Советской власти двадцать три года. У нас выросло немало сознательных и честных тружеников. Но не каждый может быть удостоен носить высокое звание члена ВКП(б). Вы допустили случай выпивки. Учитесь середка наполовинку. Поручения выполняете кое-как. Есть предложение воздержаться от приема. Кто за это предложение? Кто против? Кто воздержался? Принято единогласно. Следующее заявление — товарища Петрова.

Меня пригласили в кабинет. Агафоненков медленно читал заявление. Со стороны слова, сочиненные мной, звучали высокопарно. Потом я говорил о себе, отвечал на вопросы. Тяжелее всего, наверное, слушать ораторов, когда они говорят о твоих «заслугах и достоинствах».

В конце июня состоялось партийное собрание, а вскоре меня пригласили в райком. Сухой, как мумия, инструктор долго перелистывал мое личное дело, шевеля губами, читал от корки до корки все документы. Эти минуты показались мне вечностью. А за ней больнее удара хлыста — заключение:

— У вас слово расходится с делом. В вашем заявлении сказано, что за десять лет пребывания в комсомоле вы готовили себя к этому шагу. А историю ВКП(б) сдали на «хорошо». Одно с другим не вяжется.

— «Хорошо» есть «хорошо», — выдавил я.

— А почему не «отлично»? Почему?

От инструктора едва унес ноги. В общежитие вернулся разбитым. Коля Пхакадзе, узнав суть дела, возмутился:

— Попадись этот чинуша мне, я бы показал ему, где раки зимуют. Но ты не кисни. Ты теперь боец. Понял? А бойцу положено драться.

Бюро райкома утвердило решение первичной организации. Секретарь райкома, вручая билет, пожелал успешного прохождения кандидатского стажа.

В тот же день нам вручили дипломы об окончании Государственного института журналистики имени Воровского.

Гера Захаров философствовал:

— Вот и состоялся переход количества в качество. Качественные изменения, как известно, наступают внезапно, скачкообразно. Был, скажем, товарищ Петров студентом, был беспартийным. А теперь кто? Читай: «Жур-на-лист, кандидат в

члены ВКП(б)».

…В Ленинграде — белые ночи. Давно-давно не зажигались уличные фонари. Яркими коврами расцветились скверы. Сотни загорающих у Петропавловской крепости. Но летнее торжество почему-то не вызывает восторга. Немножко грустно оттого, что вот-вот придет минута расставания.

Друзей теперь много. Они будут работать во всех концах страны. Отныне свяжут нас друг с другом лишь письма. Полетят они к Мише Хутинаеву и Халиду Вагутлеву на Кавказ, к Володе Лабренцу — на Дальний Восток, к Коле Пхакадзе — в Тбилиси, к Грише Некрашевичу — в Минск. Уже уложили чемоданы Миша Дорофеев и Валя Канатьев.

Необычно оживлен в эти дни перрон Октябрьского вокзала. У вагонов толпы людей. И везде: «Прощай, Ленинград! Прощайте, друзья! Доброго пути! Больших дел!»

Пришел и мой черед. Махну в Москву, а потом в родную Няндому.

В Москве встречал брат Леша. Хлопнув по плечу, пробасил:

— Поздравляю, журналист!.. Жаль, отца нет. Порадовался бы. Как-никак заявился в семье человек, влюбленный в слово. Может, придет время, скажешь доброе и о нас.

— Поживем — увидим.

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

Летом на витринах, заборах и стенах домов развесили приказ военкома об очередном призыве в Красную Армию. Почти в каждой семье — повестка. Дело не чрезвычайное, но многие отцы и матери встревожены. На улицах, в магазинах суды и пересуды:

— Оперились птенчики! Пора выполнять гражданский долг!

— Что будет с сыночком-то? Он ведь у меня еще хилый, слабосильный.

Прошли собрания призывников, митинги. Газета «Лесной рабочий» печатает подборки писем родителей, клятвы новобранцев:

> «Мы будем примерными красноармейцами! Выполним свой священный долг по защите Отечества, записанный в новой Конституции».

Призывной пункт — на окраине города. Стены украшены флагами, а высокие заборы — плакатами и лозунгами. В ворота с аркой, увитой хвоей, тянутся парни с рюкзаками за плечами. Одеты кто во что горазд. Предупредили, что форму дадут на месте, в части.

Первое построение и перекличка.

Для нового командира эти ребята всего лишь новобранцы, а для матерей, которые осматривают строй сквозь щели забора, каждый парень — свой человек.

— Соколов!

— Это не тот, что неисправность в горящей топке устранил?

— Он самый.

— Дубровский!

— Не он ли от отца и матери убежал?

— Он. Начитался приключений и решил попутешествовать. Милиция вернула. Теперь, слава богу, в армии ума-разума наберется.

— Кабрин? Егорка? Кажется, он девочку на воде спас?

— Он, он…

Команда за командой: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Разойдись!», «В баню!», «На комиссию!».

Небольшими группами вызывали в комнату, где заседала призывная комиссия. Егорка Кабрин выскочил из комнаты как ошпаренный:

— Срамотища, ребята!

— Что такое?

— Разделся, стою в трусах. А военный предупредил: «Скидавай все, оставайся в чем мать родила». Я переминаюсь с ноги на ногу в надежде, что отстанут. С мольбой смотрю на Ритку. Помните ее? С нами в школу бегала… Она выучилась на хирурга. А военный как гаркнет: «Долго еще ждать? Твоя очередь уже подошла!» Была ни была, скинул трусы, ладошками прикрылся. А Ритка командует: «Руки на пояс!» Наглость ее отбила всякий стыд. Решил: любуйся, если тебе нравится!

Спали на призывном пункте. Ждали, когда же под оркестр, в строю мы пойдем на станцию. Но получилось все иначе. Ночью раздалась команда: «Подъем!» Сонные, мы заняли места в теплушках, стоящих в тупике. Не слышали, как вагоны прицепили к составу. Проснулись от мерного перестука колес. Эшелон шел в сторону Вологды.

На большой станции эшелон перешерстили. Строем водили в пищеблок, а потом рассортировали по разным вагонам. В теплушке, в которую меня определили, не оказалось ни одного няндомского парня. Кто из Коноши, кто из Вожеги, кто из Вологды, кто из Ярославля, кто из Вятки.

Нары в два яруса. В центре теплушки — железная печь. Примостился на втором этаже, потому как не было желания говорить, заводить знакомство.

Внизу парень в поношенной телогрейке, засаленных ватных штанах, в лаптях бренчит на балалайке.

— Похуже дерюгу не нашел? — ворчат ребята.

— А чо? Разве плоха? Я ведь не на свадьбу еду. В части форму дадут? Дадут! Хорошее-то штатское может еще пропасть, а я свое-то хоть на помойку!

— Ох и жмот же ты!

— Нашли о чем! Лучше слушайте:

Эх, на ком бы мне жениться,
Как из армии вернусь?

На красивенькой жениться?
Сна солдатского лишиться:
Правым глазом будешь спать,
Левым глазом охранять…

«Салага! Холостяк», — думаю про себя.

Мама не раз намекала:

— Жениться пора, сынок.

Бросало в краску, молчал.

— Аль не подыскал там, в Ленинграде?

— Нет. Ребята пугали: «Все девушки красны, все хороши, а отколь берутся злые жены?»

— Слыхала такое. Говорят и так: «Волков бояться — в лес не ходить». Выбирай, друг, жену не глазами, а ушами.

— Потому и не выбрал.

— Не нашел в столицах, найдешь в Няндоме. Небось уже приметил, приглянулась, наверное, уже? Хитришь?

— Рано об этом, рано, мама.

— Самая пора! Чем не жених? Про дурака говорят, что от него ни творога, ни молока — одна сыворотка. Ты же теперь ученый. Про хилых скажут: «Такому жениться — чужой век должить». Ты же на земле твердо стоишь. Ищи. Есть на свете и совестливые, и понятливые, которые разбираются, кто ряб, да люб, а кто и гладок, да гадок.

«Семейный совет» состоялся не дома, а у Павлушки Попова.

Анна Яковлевна заговорила о его женитьбе.

— Не торопись, мама, — отмахнулся Павлушка. — Ты только и твердишь: «Везучий!», «Везучий!». А невеста, как тебе известно, мне изменила. Моя желанная где-то бродит, а у Жени здесь, в Няндоме. И не кто-нибудь, а известная тебе Люба.

— Правда?

— Да.

— Ох и рада, ох и радешенька! Дала, парни, ваша дружба хорошие всходы. Где-то я читала, что дружба возводит стены, а любовь — купол. Есть у Женьки Петрова и стены, и купол! Поздравляю!

А вскоре состоялось и застолье. Анна Яковлевна больше всех кричала: «Горько!», «Горько!», «Горько!»

А мне было не горько, а сладко. Горько стало теперь, в эшелоне. В Няндоме остались мама, сестры Надя, Кланя, Тамара, брат Миша. Там и новые родные — деверя, сваты, сватьи, полусватьи. Там — жена. Она, никому об этом не говорил вслух, самый близкий человек на земле.

Ночью заморозки. В теплушке стужа. Командира нет, а охотников дежурить всю ночь у печки не находится. В темноте бренчит балалайка, сыплются байки.

— Эхма! Не дома. Эхма! Дома, да не на печи. Эхма! На печи, да не под шубой. Эхма! Под шубой, да не с Любой!

Эшелон редко останавливается. Сегодня нас даже не накормили. Сосед, заваливаясь спать, сует ложку под вещевой мешок.

— Для чего?

— Вдруг во сне каша приснится.

Днем тепло. Настежь распахнута дверь. К барьеру, тяжелой

тесине, не подступиться. Балалаечник, не удавшийся ростом, кричит:

— Мелочь пузатая! Из-за вас и меня не видно!

— Помалкивай! Разошелся, как старый самовар.

Мелькают какие-то странные названия станций, написанные по-латыни. Не прочтешь, не выговоришь. Аккуратные вокзальчики, цветы на платформах. Всю ночь эшелон где-то стоял, а утром дали команду: «Строиться!» Над большой луковицей станционных часов прочли вывеску: «Каунас».

Конец пути. Станция назначения теперь известна…

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН



ИСПЫТАНИЕ НА МУЖЕСТВО

Шел июнь 1941 года. Мгновением пролетали солдатские ночи. Не успевали просохнуть с вечера гимнастерки и портянки, как солнце пробивалось шелковыми ниточками сквозь щели брезентовой палатки. Зайчики ползли по одеялу, предвещая нежеланную побудку. Хочется потянуться, подремать, а мой сосед Коля Франчук проснулся чуть свет и шепчет, шепчет:

— Довольно дрыхнуть, мил дружок. Полюбуйся, какая сегодня благодать!

— Отцепись!

— Подъем скоро. Сейчас только и время посекретничать.

— Ты же знаешь, Коля, что у меня от тебя секретов нет.

— Вот и неправда! А письмо почему не показываешь!

— Какое?

— А то, что на днях получил. Дурень ты, дурень! Будто я и не замечаю, что ходишь ты после того письма важный-преважный, будто шпагу проглотил.

— Никакого письма нет, ей-богу!

— Не божись. Не бери грех на душу.

Коля что банный лист. От него не отвяжешься.

— Ну хорошо. Так и быть, дам почитать. Только одно условие: болтать не будешь?

— Клянусь!

Я вытащил конверт из-под подушки и протянул его другу. Коля извлек из него маленький листочек, пробежал по строчкам, написанным химическим карандашом на бумаге в клеточку из ученической тетради. Читал вслух:

— «Дорогой Женя!

Письмо, написанное вчера, не попало на поезд. Старые новости обычные, а сегодня сообщаю приятную для тебя весть: поздравляю тебя с сыном-наследником. Родился 1 июня в 11 часов вечера. Люба чувствует себя хорошо.

Надя».

Коля сбросил одеяло, подмахнул ко мне, трепал за уши, упрекал:

— И не стыдно, стервец! Разве можно таить такое?! Это же надо. Отцом стал — и молчит!

Отступившись, потешившись вволю, Коля возбужденно ходил

взад-вперед, потирая от радости руки:

— Сегодня, слава богу, воскресенье. Отметим такое дело, папаша!

Восклицания Коли перебил горн. Над палаточным городком, раскинувшимся на обрывистом берегу, тревожно бился сигнал. Это не подъем. Это — тревога.

Такие звуки не были в диковинку. Без них не обходилась ни одна июньская ночь. Привыкли подниматься без суеты, действовали автоматически: на ощупь находили сапоги, одежду, ремни, подсумки, саперные лопаты, мчались как очумелые к пирамидам с оружием. Кто хватал винтовки, кто изготовлял к походному маршу станковые пулеметы. Проходило мгновение — и все военно-политическое училище уже в строю.

Так было и на этот раз. Удивляло и поражало лишь одно: «Воскресенье — и тревога? Какая-то неувязка. Чья-то нелепая прихоть!»

А над городком, наполненным ароматом сосны, черемухи и сирени, эхом разносится команда за командой: «Равняйсь! Смирно! Направо! Шагом марш!»

Коля рядом, плечо к плечу. Повел носом, ворчит:

— Чуешь, каким ароматищем тянет из столовой?

— Что-то не разберу.

— Не силен ты на нюх. Какао повар сварил в честь выходного дня. Кому приспичило гнать людей от такого лакомства?

— Не огорчайся, друг. Прогонят, как вчера, до первого привала — и обратно. Не киснуть же сладости!

Колонна вытянулась на асфальтированном шоссе. Старшина почему-то не приказывает запевать, не подгоняет. Миновали поворот, где обычно бывал первый привал. А команды «Стой» все нет и нет.

— Не очумело ли сегодня начальство? — недоуменно шепчет Коля. — И солнце обнаглело. Палит, мочи нет.

Другу достался станок пулемета. Потное лицо налилось кровью, повлажнела гимнастерка. На лопатках выступила соль.

— Давай поменяемся поклажей?

— Не сейчас. Не торопись. Достанется и тебе.

Миновали не один хутор, не один городишко. И везде у ворот, в подъездах домов — толпы людей. Все чем-то встревожены, а старухи уголками платков утирают повлажневшие глаза.

— Вроде бы к Риге идем, — размышлял Коля. — На зимние квартиры. Тогда на кой леший строили городок, корчевали пни, посыпали песком дорожки, натягивали палатки?

Недоуменные вопросы прояснились лишь в пригороде.

Прозвучала долгожданная команда «Стой». Колонна развернулась во фронт. Перед строем появился комиссар Логунов. Короткое слово «война», произнесенное сдавленно-тихо, пронзило каждого из нас.

— Войск в Риге нет, — продолжал комиссар. — Мы в ответе за все: за поддержание порядка, за охрану важнейших объектов.

Рижане знали нас, курсантов. И в зимние дни, и весной, когда мы готовились к первомайскому параду в латвийской столице, ходили мы в строю, бравые, подтянутые. Ходили всегда с песней и лихим припевом, от которого не раз шарахались на мостовую не привыкшие к лихости ломовые лошади. А теперь строй шел молча.

Грозу, конечно, ждали. Бесконечные летние тревоги не забава. От беспокойных ночей тревожно было на душе. И вот прогремел гром. Прогремел средь ясного неба.

На одном из перекрестков старик зло прошипел: «Раскисли, вояки!» Это подхлестнуло, обожгло. Поль Концевой, щупленький, запыленный, хорошо знакомый мне еще по учебе в Институте журналистики, без команды запел. Мы подхватили знакомые слова:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход…

— Молодцы, ребята! — подбадривал комиссар.

И мы пели. Одна песня сменялась другой. Пели так, что дребезжали стекла в рамах. Пусть все слышат и знают: нас не сломить! Мы готовы в бой!

Вот наконец и наше Военное училище на улице Кришена Барона. Здание, построенное еще в царское время, — солидное, приметное. Территория училища обнесена массивной чугунной оградой. Во дворе — сад. Он сейчас в буйном цветении. Решетка ограды затянулась плющом. Тень и прохлада после палящего солнца — первая награда, награда в первый военный день.

Курсанты притихли. Каждый думал о своем, и, наверное, все об одном: «Как там, на границе? Хоть бы кто просветил…»

Поль Концевой расстегнул карман гимнастерки, достал записную книжечку, предложил:

— Вытаскивай свой талмуд, друг. Я ведь ивановский, знаю, что ты архангельский. Если что случится, не будешь же писать, как Ванька Жуков, на деревню дедушке. Обменяемся точными адресами. Кто из нас выживет — сообщит хоть кое-что родным.

И пошли книжечки по кругу. Дела впереди нешуточные. Всякое может быть. Надо смотреть правде в глаза.

Время отбоя, а спать никто не ложится. Все в полном снаряжении. Гирей стал поясной ремень. Чего только на него не нанизано: и подсумки, туго набитые патронами, и лопата, и фляга.

В ночном небе шарят прожекторы. Гудят сирены. Где-то в районе аэродрома то и дело ухают взрывы. С потолка сыплется штукатурка.

Утром не шипит плита на кухне. Добрая наша столовая не приглашает в гости.

— Затягивай потуже ремень, — шутит сквозь зубы Коля Франчук.

— Потерпим. Лишь бы подальше от греха. Дым из трубы может демаскировать.

А в полдень появилась во дворе походная кухня. Вместо трех положенных курсанту блюд — одно: гороховое пюре.

Личный состав то и дело выстраивается по тревоге. По списку, как на перекличке, назывались знакомые фамилии. Дисциплинированные, привыкшие к уставам, курсанты выходили вперед и щеголевато поворачивались лицом к строю. Зачитывался приказ о назначении в часть. Друзья-товарищи садились в машины и, не успев как следует проститься, уезжали на фронт, прямо в бой. Наш строй редел.

Днем выполняли бесконечные задания, а ночью попарно — в патруль.

Коле и мне досталась набережная Даугавы. Шагали туда и обратно от лабазов, что за городским базаром, до статуи Свободы. Над самыми крышами плыли зловещие машины с черными крестами. Казалось, что бомбу можно достать рукой. А в это время то из окна дома, то с крыши мелькал огонек сигнальщика.

— Не пойму, — ворчал Коля, — почему нам запрещают открывать огонь по этим негодяям, указывающим фашистам цель? Разве проймешь их пальбой в воздух?

Жужжали не раз над нашей головой пули. Мы неслись что было сил на выстрелы. На мостовой валялись горячие гильзы, а враг проваливался, будто сквозь землю.

Вскоре объявили приказ: училище сопровождает штаб округа. У комиссара — карта. На ней красным кружочком обведен Псков. Нам выдали новые противогазы. Таких мы еще не видели. Распахнуты двери складов, выставлены во двор ящики с гранатами и патронами. Бери сколько хочешь. У училища много автобусов. Каждому взводу — отдельная машина. Даны инструкции, как вести себя при бомбежке, при обстреле с земли, выделены наблюдатели за воздухом. Все вроде понятно. Только

все еще не верилось, что это не занятия.

Военной смекалке лучше всего учит пуля. В этом убедились в тот же день. При выезде из Риги по нашей колонне полоснул из кирпичного дома пулемет. Все машины замерли. Командир нашего взвода, старший лейтенант, побледнел как полотно, закричал: «К бою!»

Мы били прикладами стекла. Кто через двери, а кто из окон прыгали на тротуар и не чувствуя ног неслись в первые попавшиеся подъезды. Разворачивали на лестничных клетках пулеметы. Перестрелка стихла. И тут же команда: «По машинам!»

Придя в себя, Коля размышлял:

— Я думал, у нашего взводного ума палата. А вышло, что он глоткой только силен. Растерялся хуже бабы при первом выстреле. Леший с ним, со взводным! А мы-то, мы-то вели себя как идиоты. Забыли, как надо действовать в уличном бою. Надо на выстрелы бежать и уничтожать противника пулей или гранатой. А у нас вышло все шиворот-навыворот. Глупо! Очень глупо подставлять спину под выстрел.

И пошла фронтовая выучка. День и ночь нас настигали немецкие пикировщики. Машины часто останавливались. Мы прятали голову в густых придорожных насаждениях. А немецким летчикам, видно, этого и хотелось. Вели они себя нагло.

Фашисты проносились низко над землей, поливая свинцом полоски кустарника у дорог.

— Ты понимаешь, друг, — делился со мной Коля. — Мне показалось, что эти жеребцы в самолетах со свастикой посмеиваются над нами. Посмеиваются так же, как в Бельгии, Голландии, Франции. Люди, мол, как бараны, сами лезут в пекло. Я не я, чтоб еще раз вроде страуса прятал в этих елях свою голову!

И потом при появлении немецких самолетов мы рассыпались в открытом поле, ложились на спину и резали по врагу из винтовок. Дело вроде бы нехитрое, а немец стал осторожнее, реже спускался до бреющего полета.

И командир колонны сделал свой маневр. Автобусы свернули с асфальта. Колонна пробивается к намеченному пункту проселками. Машины, правда, часто буксуют. Но не беда. Помогаем плечами. Иногда не мешало бы разжиться хворостом, тесиной. Но крестьяне на хуторах плохо понимают русскую речь, не скоро столкуешься.

А однажды на рассвете с обочины дороги нам приветливо замахали девчата. Лица у них кумачовые, кровь с молоком. Подолы заткнуты за пояс, сапоги и лапти на веревке через плечо. Босые ноги до колеи в черноземе.

— Чьи вы? — кричат ребята.

— Мы псковские!

— Здравствуйте, девчата! Здравствуй, русская земля!

Но радость этой встречи омрачилась. Оказалось, что огонь войны несется впереди нас. В Пскове пожары. Взорваны хранилища с горючим. Столбами поднимается в небо густой черный дым.

Штаба Прибалтийского Особого округа больше нет. Есть штаб фронта, он расположен в Новгороде. А наше училище — в лесу. В лагерь приехал представитель штаба и перед строем зачитал приказ. Каждый из нас получил звание младшего политрука. Ребята не без гордости прикрепляли к петлицам красные кубики.

Здесь же, в лесу, большую группу недавних курсантов стали готовить к выполнению особого задания. Какого? Никто не говорил. О важности операции можно было судить лишь по тому, что каждому из нас предложили отослать все ненужные документы домой, оформить денежные аттестаты по своему усмотрению: жене, матери или отцу.

Спали в шалашах, подушкой служил подсумок, набитый до отказа патронами. За эти шалаши, наполненные ароматом увядающего березового листа, однажды крепко влетело. Поверяющий из штаба фронта распекал командира группы:

— Разнежились! Разленились, как та кошка, которая разучилась мышей ловить! Забыли про саперные лопаты! И противогазы в сторонке!

С тех пор, что ни ночной привал, — рой глубокую одиночную щель. Привыкай спать в сырой земле, в полном снаряжении. Тоскливо кемарить в окопе одному, не ощущаешь привычного «локтя» товарища. Но, как говорят, солдат потому и гладок, что поел, да и на бок. Так и мы: могли беспробудно засыпать и сидя, и стоя. Как-то я проснулся в окопе и оцепенел. В лесу раздавались какие-то булькающие звуки, подобные тем, когда животному на няндомской бойне перерезали горло. Молнией мелькнуло: «Не расправились ли с нашими вражеские десантники? Если да, то как действовать в этом случае?» Осторожно приподнялся.

Солнце уже набрало силу, согнало росу. На песчаном пригорке, прижавшись друг к другу, лежали наши ребята. Подполз и начал что есть силы тормошить крайнего. Парень сел. Он был в противогазе. Не сразу узнал через стекла маски милые глаза Коли Франчука. Обнял и крикнул: «Жив-здоров, дружище!»

— Чего тебе? — сонно пробурчал Коля.

— Чего, чего! Объяснил бы, что к чему.

— Окоченели в окопе, вот и вылезли погреться.

— А противогазы при чем?

— Поль Концевой рационализацию придумал. Смотри, как все просто. Коробка противогаза, как и положено, в сумке. И шланг там же. Только он отвинчен от коробки. Воздух поступает вволю. А выдох через клапан. Спать приятно, и вроде бы перед командиром показываем себя с лучшей стороны. Тренируемся, так сказать, без приказа, проявляем инициативу. От резины, правда, скулы воротит, но зато никакого кровопролития. Не видишь, что на полянке, какой рай. Комары от нашего храпа за три версты улетели.

Все дни напролет до седьмого пота метали гранаты, имели дело с толом, совершали бесконечные броски, как кроты зарывались в грунт. Рады были радешеньки, когда в одну из июльских ночей затрещал в нашем лагере грузовик и раздалась команда: «По машинам!» Мы чинно расселись, закрепили лямки касок, бережно держали винтовки между колен.

К утру мы оказались на полевом аэродроме недалеко от Ильмень-озера, поразившего нас своим васильковым цветом. На аэродроме нас, как именинников, снабдили щедрым сухим пайком, в котором был даже шоколад. Это лакомство не улежало долго. Странно, что не приказывают окапываться, спи сколько хочешь в плащ-палатке на земле или собирай в кустарнике землянику.

Беспечное это житье нарушил пожилой, скуластый интендант с туго затянутым на поясе ремнем.

Мы вытянулись в струнку.

— Вольно! Не на параде! — сказал интендант и отрекомендовался: — Майор Гукай. У меня к вам, товарищи младшие политруки, вопросик: нет ли среди вас журналистов?

— Есть, и не один! — отрапортовал Коля Франчук. — Петров и Лисун работали в редколлегии газеты нашего училища. Да и образование у них подходящее, литературное.

Майор отвел нас в сторонку, долго расспрашивал Колю Лисуна и меня, что-то записывал в книжечку, а потом, наказав никуда не отлучаться, ушел. Возвратился он днем, вручил Коле и мне предписание из политотдела 11-й армии прибыть в распоряжение редактора газеты «Знамя Советов».

— «Знамя Советов»? Что-то знакомое. Не выходила ли она в Каунасе? — робко спросил я майора.

— Так точно, выходила! А откуда ты, младший политрук, знаешь?

— Так я же еще в сороковом году был там.

— Вот и отлично! Значит, старые знакомые. Владимир Борисович будет очень рад пополнению.

— А кто этот Владимир Борисович? И почему пополнение?

— Вот те раз: газету «Знамя Советов» читал, а редактора полковника Фарберова и не знает!

— А мне до вас было тогда, что до небес. Я дальше своего ефрейтора ничего и не видел.

Майор задумался. Снял фуражку, вытер испарину на лбу.

— Пополнение, говоришь, почему? — повторил он вопрос. — Пока добрались от Каунаса до здешних мест, поубавилась наша газетная семья. Все было: и бомбежки, и засады, и бездорожье, и отсутствие связи…

В редакции встретили тепло, по-семейному.

— В нашем полку прибыло! — воскликнул редактор и похлопал нас по плечу.

На добро надо было отвечать делом. Но нашли мы себя в новом коллективе не сразу. Бывали в действующих частях. Блокноты ломились от записей, а нужных, возвышенных слов не находилось. Завидовали втихомолку Аркадию Кулешову: «Ему, мол, что. Он поэт. Может воспеть героизм. А у нас — сухая проза. Какие-то пустые фразы, которые ни капельки не отражают того, что видели и слышали». А видели и слышали мы много, очень много.

…Разведчики совершали дерзкие вылазки в тыл врага, стрелковые роты бросались в контратаки, артиллеристы уничтожали врага прямой наводкой, раненые не уходили с поля боя, танкисты утюжили немецкие окопы, наши «ястребки» в неравном бою поджигали фашистские самолеты, рядовой солдат — вчерашний школьник — шел с гранатой на вражеский танк, поджигал его. Каждый случай, каждый факт просится в очерк, зарисовку. А нужных слов, хоть казни, растерзай себя, нет. К тому же секретарь редакции Гильманов беспощадно режет всякие «красивости», чтобы втиснуть в две маленькие полоски как можно больше свежих новостей.

Не сразу дошло до нас, что в те дни газете нужны были не громкие фразы. Полегчало, когда мы поняли, что корреспондент — это чернорабочий, что надо прежде всего научиться раскрывать суть солдатского подвига, заметить мелочи, из которых складывается воинское мастерство, увидеть технологию боя, проведенного умным, прошедшим огонь и воду командиром.

И вот уже исхожена вдоль и поперек земля под Старой Руссой. «Исхожена», пожалуй, не то слово. Вместе с солдатами ползали по-пластунски, пробивались через трясины, окапывались. Отдельные кустики, пригорки, ручейки встречали нас как старых знакомых. Научились мы слушать обманчивую лесную тишину, не попадать впросак, когда менялась обстановка на передовой, а

линия фронта извивалась, точно змея. Зарубили на носу, что перед походом в дивизии и полки надо заглянуть в штабную землянку, развернуть свою планшетку и уточнить координаты на полевых топографических картах. Ошибок в работе штабников становится все меньше и меньше. Чаще они располагают точными, достоверными данными о положении на всех участках нашей армии.

Конечно, положение наше не из легких. Подумать только: немцы продвинулись вперед уже на 500 километров, они рвутся к Великим Лукам, к озеру Ильмень и Пскову, чтобы отрезать Ленинград с востока… Сурово звучат слова только что тиснутого в нашей газете обращения к войскам командования Северо-Западного фронта:

> «Товарищи красноармейцы, командиры и политработники! Над городом Ленина — колыбелью пролетарской революции — нависла прямая опасность вторжения…
>
> Всеми мерами борьбы приостановить дальнейшее вторжение врага на нашу территорию, драться с ним, не щадя своих сил и самой жизни: бить фашистских разбойников там, где они очутились. Наша земля должна стать могилой гитлеровскому фашизму!»

Это было 14 июля. Войскам ставилась задача — остановить фашистов на линии Новгород — Старая Русса — Великие Луки.

И началось на первый взгляд невероятное. С 14 по 18 июля день и ночь гудела земля под Сольцами, древним городом, как мы узнали от старожилов, занесенным в летопись еще в 1300 году. Войска нашей 11-й армии, принявшие первые бои на литовско-германской границе, вынесшие тяжелейшие оборонительные бои, перешли в наступление. Удара советских войск в этих местах враг не ожидал. Вражеская линия обороны треснула. Пехота, поддержанная огнем артиллерии, ринулась в прорыв.

«Успешное наступление!» — эти два слова были набраны самым крупным кеглем и тиснуты на первой полосе над заголовком. Наши войска отбросили немцев на 40 километров. Случайность? Шальная удача? «Нет!» — утверждали наши редакционные спецы. Главное сейчас — фланги! И о них предусмотрительно позаботилось командование. Бурлило в эти дни озеро Ильмень. Канонерские лодки и катера вели разведку, прикрывали нашу пехоту, действующую в районах Старой Руссы, Шимска и Новгорода.

Немецкие танковые и мотомеханизированные дивизии

оказались под угрозой окружения. Наша разведка установила, что немецкое командование 19 июля отдало приказ — прекратить наступление на Кингисепп и Лугу. Фашистам пришлось перейти к обороне.

Мы хорошо знали этих героев, осмелившихся наступать и давших фашистам по зубам. Вместе с пехотой — царицей полей шли маленькие пушечки, которые все ласково называли «сорокапятками». Легкие, подвижные, они чаще всего били по фашистам прямой наводкой. «Сорокапятки» были почти неуловимы для врага. В критический момент расчеты мгновенно снимались с огневых позиций и скрытно занимали новые засады. Мы, газетчики, не скрою, гонялись в поисках отважных ребят.

В те июльские дни я таки добрался до одной такой батареи. Пришел и с ходу начал расспрашивать про боевые эпизоды. Но меня вежливо спросили:

— Завтракал?

— Нет.

— Тогда какие же разговоры? Жди, когда котелок освободится. Испробуешь нашей каши: гречка со свининой — язык проглотишь, позабудешь и про бои!

Повар не поскупился, отвалил полный черпак, не то что в нашей армейской столовой. Я достал из кармана брюк алюминиевую ложку с обломанным черенком, попробовал. Горячий комочек согрел до самых пят. Торопился. Да где там! Каша не убывала. Вкусна, да уж больно горяча.

В этот момент наблюдатель доложил:

— Справа — немецкие танки!

— Менять позицию! — приказал командир.

Черепашками, почти бесшумно подкатились к пушкам тягачи на гусеничном ходу. К кухне прирулила полуторка. Никакой суеты. Хладнокровие и деловитость.

А я стою с дымящимся котелком и не знаю, куда податься.

— Становись на крыло, корреспондент! — крикнул водитель полуторки. — На новом месте кашу доешь. Такое добро надо ценить. Познавай нашу тактику. А фашисты? Они далеко от нас не уйдут!

Я встал на крыло и подумал: с такими немцев можно бить!

«БАТРАКИ»

Наступил август. В нашем газетном полку прибыло: приехали из Москвы одетые с иголочки писатели Евгений Поповкин, Юрий Корольков, Игорь Чекин, Ваграм Апресян. Теперь творческий состав редакции разделился на ранги: «писательская гвардия» и «батраки».

Коля Лисун, Вася Кучин, Володя Авсянский, Петя Белый и я числились в «батраках». Нас это новое «звание» ничуть не смущало, так как «батракам» полагалось совершать бесконечные походы к пехотинцам и артиллеристам, к саперам и минометчикам. Снаряжение у нас было нехитрое: револьвер системы «наган», противогазная сумка, набитая записными книжками и сухарями, планшет с верстовой картой. В карманах шинели — гранаты. Их было не меньше двух: одна — для врага, другая, на крайний случай, — для себя.

Добрым словом вспомнил я в те дни своего школьного товарища Павлика Попова, пристрастившего меня к фотоделу. При мне всегда был редакционный фотоаппарат. Восторженно встречал меня в редакции Тимоша Мельник. Катушка немедленно проявлялась. Тимоша был на седьмом небе. Еще бы! Есть богатейший выбор фотоиллюстраций. Есть возможность ходить гоголем перед редактором, который нет-нет да и ворчал на Тимошу за то, что он, мол, тяжел на подъем, мозолит глаза начальству, вместо того чтобы «сидеть» на передовой.

Раз в неделю проводились редакционные летучки. Весь наличный состав редакции рассаживался на полянке или в хате и слушал дежурного критика. К речи докладчика никто не был равнодушен, так как не все равно, что скажут вслух о напечатанных материалах. Редактор не перебивал ни докладчика, ни выступающих. Время от времени он что-то записывал на листочке, а потом подводил итог. Доброе слово полковника было выше всякой награды.

На августовских летучках 1941 года хвалили и Петю Белого и Мишу Строкова, и Евгения Поповкина и Колю Лисуна. А хвалить было за что.

Петя Белый, например, установил хорошие деловые связи со штабными работниками и по той причине оказывался раньше всех там, где развертывались самые значительные события. Само собою разумеется, что заметки и статьи Пети Белого, «причесанные» нашим начальником Михаилом Строковым, который, как и Петя, превосходно знал все уставы и наставления и имел изрядный практический опыт, с ходу шли в набор. Они

набирались крупным шрифтом, сопровождались броскими заголовками и шапками. Одна из корреспонденции Пети Белого была в те дни озаглавлена:

«Враг отброшен еще на 60 километров!»

Ее, эту корреспонденцию, Петя раздобыл в полках, сражавшихся на южных берегах Ильмень-озера. Гитлеровцы, как достоверно разузнал Петя, перебрасывают под Старую Руссу бронированные части из-под Смоленска и других участков фронта.

Все мы (какой может быть разговор!) отдавали дань уважения Пете Белому за хорошую сноровку, без которой не было бы в газете такого радостного, ободряющего материала.

А писательская гвардия тоже не дремала, хотя, это мы замечали, им было очень даже не легко. Одно дело, когда поэт или романист создает широкое полотно, а другое дело, когда надо уложиться в небольшой подвальчик или в несколько строк.

Аркадий Кулешов и Игорь Чекин из номера в номер вели поэтический раздел: «Рассказ о том, как бьет врага на фронте Алексей Петров».

Писатели с нами, «батраками», на первых порах не очень-то откровенничали. Тот же Поповкин при встрече смерит черными глазами, а на вопрос «Над чем работаешь?» промолчит. Напечатают, мол, — прочтешь. Удивляло в Поповкине одно: он находил удивительные вещи там, где мы, вероятно по неопытности, даже не пытались искать. Писатель раздобыл у разведчиков толстую тетрадь в добротном переплете. Несколько дней корпел вместе с переводчиками над этой тетрадью. И вдруг в газете появился дневник унтер-офицера дивизии СС, воевавшего под Старой Руссой. Печатался дневник почти без комментариев: факты говорили сами за себя. Мы читали:

> **«24 июня 1941 года.** Прекрасен восход солнца, и радостно раздаются песни в воздухе. Совсем мирная картина…
>
> **26 июня.** От холода и комаров я на рассвете проснулся… Воздушной разведкой установлено, что русские на нашем фланге и мы должны взять на себя защиту флангов.
>
> **28 июня.** Самолеты донесли, что новая большая колонна русских движется навстречу. Как кроты, мы зарываем наши танки в землю, после чего имеем вид свиней. Если бы дома нас увидели в таком виде! Непредусмотренный дождь дополнил картину. Русские

оказывают ожесточеннейшее сопротивление и стреляют во всю силу своих пушек. При взятии высоты нас обстреляла собственная артиллерия. Мой шофер Вилли Харер убит осколком снаряда.

3 июля. Неприятель своим тяжелым вооружением оказывает такое сопротивление, какого мы еще не переживали. Никто не думал остаться в живых. Этот день мы будем долго помнить.

4 июля. Как только занялся день, советские бомбардировщики начали обстреливать нас. Когда же наконец нас заменят и отведут обратно?

6 июля. 3-й пехотный полк и 2-я и 3-я роты штурмуют укрепления. Это стоило многих жертв, и множатся кресты у дорог…

10 июля. Мы понесли тяжелые потери. Можно сказать, что в эти дни был настоящий ад. Воздух заполнен жужжанием гранат, свистом осколков и пуль. У обрыва неприятель нас почти окружил, и наше наступление захлебнулось.

11 июля. Измотанные, мы готовимся к обороне. Нас должны заменить в ближайшие часы. Вздох облегчения прошел по рядам. Как говорят, 2-й полк расформировывается для пополнения 1-го и 3-го полков, ибо они больше небоеспособны.

13 июля. 1-й батальон будут менять — он потерял 346 человек…»

Это была последняя запись в роскошной унтер-офицерской тетради. Такие строки не могли не радовать нас, участников боев на старо-русском направлении.

Но не все, что мы видели, ложилось в строку. Не всякий маневр приносил удачу.

Однажды наша разведка обнаружила солидную брешь в немецкой обороне. В одной из дивизий родился замысел: ввести в тыл противника пехотные и артиллерийские полки, сосредоточиться в лесном массиве под Старой Руссой и на рассвете штурмовать врага. Вася Кучин и я находились как раз в этой дивизии, загорелись замыслом и решили быть участниками дерзкой операции. Но явиться в редакцию с отличным материалом на этот раз не удалось.

Утром на горизонте показался немецкий разведчик. «Костыль» то плыл, то зависал. На земле с появлением самолета все замерло. И в этот момент какая-то запоздалая грузовая машина пересекла линию фронта как раз в том месте, где ночью

прошли наши войска. «Костыль» бросился вниз, словно коршун пронесся над дорогой. А ухарь шофер, ничего не подозревая, ехал к лесу, где укрылась его часть. «Костыль» исчез. А бомбардировщики с черной свастикой на крыльях не заставили себя ждать. Небольшой участок леса воздушные пираты разбили на квадраты. Действовали педантично и размеренно. От машин то и дело отделялись черные точки. Свист переходил в сатанинский гул. Взрыв следовал за взрывом. Люди, не успевшие окопаться, укрывались в ложбинах, в зарослях кустарника.

Коля и я лежали лицом вниз недалеко от повозки. Конь, привязанный к дереву, рвал удила. Не раз загребали мы пальцами рук влажную землю. Казалось, что бомба летит на спину: еще секунда — и смерть!

— Семи смертям не бывать, а одной — не миновать, — проворчал Коля. — Давай лучше выберемся на полянку, ляжем на спину. Будет немного поспокойнее. По крайней мере можно видеть самолеты и отличать свою бомбу от чужой.

И мы «спокойно» наблюдали, как, освободившись от крепления, бомба опережала машину и стремительно неслась то в один, то в другой квадрат. А одна из них показалась нашей. Мы почти оглохли, полузасыпанные комьями земли и сосновыми ветками.

Вася Кучин, товарищ по газетным походам, долго потом удивлялся:

— Как же мы уцелели?

Ответ на его вопрос дал артиллерист:

— Очень просто! Оказались в мертвом пространстве. Такое пространство всегда бывает рядом со взрывом.

— Каково же оно? Сколько сантиметров в ту или другую сторону? — допытывался Вася.

— А ровно столько, чтобы корреспондент после перепалки мог ходить по земле, — смеялся раскатисто артиллерист.

Смех смехом, а у двадцатилетнего Васи Кучина в то утро появилась на виске прядь седых волос.

Во время этого разговора на батарее раздался сигнал: «Воздух!», и тут же прозвучала команда: «К бою!»

Мигом солдаты скинули с орудий маскировку. Стволы поползли по направлению звуков воздушных моторов. А потом команда за командой: «Огонь! Огонь!» Зенитки выплевывали снаряд за снарядом. И вдруг одна вражеская машина вспыхнула и стала рассыпаться. Другие фашистские пикировщики, сделав круг, исчезли. Командир батареи, только что шутивший над Колей, разгладив густую смолистую бороду, произнес басовито:

— Вот, товарищи корреспонденты, типичный случай, когда

воздушного мертвого пространства не было. Точнейшее попадание в цель. Да-с, в цель!

После этого комментария он сел на пенек, вытащил из кармана шинели томик Пушкина и углубился в чтение, будто не было ни на земле, ни в воздухе никаких опасностей.

— Странный какой-то человек, — прошептал Коля. — Рисуется, что ли?

— Никак нет! — пояснил солдат. — Сейчас нашего командира не оторвешь за уши от «Евгения Онегина». Беседа закончена. Приходите в другой раз…

Прошло два месяца войны. В редакции то и дело возникали дискуссии. Как ни горячи были споры, сходились на одном: это факт, и неопровержимый факт, что наступление нашей армии, контратаки дивизий и полков и, наконец, прочная оборона на новгородской земле оказали неоценимую помощь Ленинграду, хотя об этом пока вслух никто не говорит. Ради такого стоило драться. В боях июля и августа созревала вера в нашу победу!

…«Батраки» совершали походы. Они все чаще и чаще находили людей хладнокровных, выдержанных, для которых война становилась хотя и суровой, полной неожиданностей и жестокостей, но будничной работой.

«МЕРТВАЯ ГОЛОВА»

В сентябрьские и октябрьские дни некоторым полкам нашей армии довелось иметь дело с эсэсовской дивизией «Мертвая голова». Узнали мы об этом не понаслышке. Были, как говорят, и вещественные доказательства.

— Не видел? — спросил Петя Белый, переступая порог хаты.

— Кого?

— Только что доставили пленного. Поди полюбуйся.

— Пленный. Эка невидаль!

— В том-то и дело, что этот пленный — фрукт особенный, из дивизии «Мертвая голова».

— Ну и что в нем особенного, Петя?

— Сидит, гад, а в глазах — надменность. Смотрит на тебя, будто хочет сказать: «Я презираю русских. Рано или поздно мы, мол, всех коммунистов раздавим». Часовому даже в лицо плюнул. Парень пришел в ярость, чуть не задушил фашиста. Едва его оттащили от гитлеровца.

— Пес с ним, с этим ублюдком. Придет время — приведем их в чувство.

— Есть еще одна новость, — загадочно сказал Петя, потирая руки. — Меня, Володю Авсянского и тебя откомандировывают на корреспондентский пункт, который открывается поблизости от оперативной группы штаба армии. Красотища! Оттуда рукой подать до передовой. И прямая связь с редакцией. Покажем оперативность!

В те дни обстановка на нашем участке фронта складывалась в лучшую для нас сторону.

Под Старую Руссу прибыли эшелоны с Дальнего Востока. В нашу 11-ю армию перебрасывалась 26-я стрелковая дивизия. Парни как на подбор: сильные, ловкие, в новеньком обмундировании, с хорошим боевым снаряжением. Для нас, знавших отступление, такая «нетронутая» дивизия была в диковинку. Стихами звучали названия полков: 87-й Карельский, 349-й Казанский, 312-й Новгородский. Дивизия сформировалась еще в годы гражданской войны. Тогда красногвардейские отряды из Карелии, Нижнего Новгорода (Горького) и Казани были преобразованы в полки. В 1918 году они пополнились коммунистами промышленного Урала. Так родилась 26-я Златоустовская стрелковая дивизия. Она била Колчака, гнала из Сибири банды белогвардейских атаманов Семенова и Унгерна, освобождала от японских и американских интервентов Дальний Восток.

Эшелоны этой дивизии разгружались на станции Крестцы. И сразу — на передовую. Полки заняли оборону вдоль речушки со странным названием Луженка.

Эту новость, как и следовало ожидать, первым принес Петя Белый. Жаль только, что ни о номерах полков и дивизий, ни о их традициях не полагалось тогда писать.

На корреспондентском пункте мы чувствовали себя как рыба в воде. Чуть свет — в дорогу, в полдень свежая корреспонденция передана уже в редакцию. До ночи уйма времени. Есть возможность без спешки готовить материал в «запас». Село, где мы разместились, раскинулось на косогоре. В ясные дни открывались бескрайние дали: холмы, овраги, перелески. Мы чувствовали себя здесь, будто на Бородинском поле. А Петя Белый был для нас не меньше, чем Кутузов. Он то и дело философствовал:

— Дела-то пошли как надо. Веселее пехоте стало жить. Поддерживает царицу полей бог войны — артиллерия, есть танки, авиация. Надо нам фронт своих корреспондентских дел, так сказать, расширить: побывать и у артиллеристов, и у танкистов, и у летчиков. Ну и пехоту, конечно, не забывать. Ты, Петров, побывай у танкистов, а я для себя тоже дело найду.

Встреча с танкистами Ротмистрова врезалась в память. Батальоны шумными таборами разместились в кустарнике и на опушке. Машины новенькие, пахнут свежей краской. Богатырями выглядят коренастые, плотно сбитые парни. Они без конца обхаживают свои машины, орудуют ключами, ветошью.

Среди машин, выстроившихся как по линеечке, меня окликнули. Я вздрогнул от неожиданности, обернулся на голос. У танка стоял Гера Захаров, мой однокурсник по институту журналистики.

В комбинезоне и шлеме друга трудно было узнать. Да и держался он солидно, официально. Но этого хватило Гере только на один миг. Мы подлетели друг к другу, крепко обнялись. Милым, как и прежде, было круглое лицо Геры, нос, усыпанный веснушками, белесые брови, беспечная улыбка и ямочки на щеках.

— Вот и довелось, встретились, комсорг, — едва выдавил Гера.

«Гера, Гера! — думал я. — Разве помышляли мы о том, что всего через год с лишним после бесшабашной студенческой жизни нам придется воевать? Особенно тебе, Гера. Тебе же все легко давалось в жизни. Помнишь, как спустя рукава готовился ты к экзаменам и получал отличные отметки? Помнишь, как в дни выдачи стипендии ты проматывал все рублики на яркие

галстуки, любил шикнуть в Доме журналистов, а потом весь месяц занимал на завтрак, обед и ужин? Был ты озорным, умел радоваться «на всю катушку», радоваться и в будни, и в праздники. Не отнимешь у тебя лишь одного — твоей честности и неподкупности. Как же сложится твоя военная судьба?»

Гера много рассказывал. Меньше о себе, больше о товарищах. Откровением для меня были его слова о том, что броня может защищать, но может стать и злой мачехой. Хорошо, если ты отлично водишь машину, стреляешь из пушки и пулемета без промаха. Плохо, если не знаешь местность, не дружишь с пехотой.

Захаров познакомил меня с экипажем командира танка Плюхина. Их машину только что притащили на буксире с переднего края. Невеселую историю поведали ребята. С их согласия я написал заметку. Ее на другой же день, 4 октября, напечатали в «Знамени Советов».

Я не собираюсь цитировать эту заметку, написанную с ходу. Помнится, что Гера Захаров говорил о трудностях, с которыми встретились бронетанковые войска на Северо-Западном фронте. Речушки, овраги, трясины, чащобы не давали им развернуться во всю силу. Вот и приходилось действовать мелкими группами, а иногда и в одиночку, чтобы как можно лучше помочь пехоте.

Так случилось и с экипажем Плюхина. Механик-водитель, поддерживая атаку стрелков, не заметил, как вырвался вперед, с остервенением раздавил громадой танка немецкое орудие, лихо развернулся. Но грунт, как назло, оказался непрочным. Танк зарылся в жирный торф. Три дня экипаж вел неравный поединок с противником, уничтожал немецкие орудия, сек из пулемета вражескую пехоту. Дрались до той поры, пока не кончились патроны и снаряды.

Фашисты ликовали. Они стучали по броне, предлагали открыть люки, угрожали: «Мы — «Мертвая голова». Комиссарам капут!» Враги взорвали ствол пушки, погнули пулемет. Заложили под танк фугасы и без конца кричали: «Плен, комиссары, плен!»

Никто из экипажа не подал голоса. Каждый думал про себя: «Плен? Нет! Лучше смерть!»

Раздался взрыв. Танк подбросило. Наступила тишина. Гитлеровцы ушли в свои окопы. Подбитый танк в одну из наших контратак все же удалось вытащить буксиром. А его экипаж: Плюхин, Галецкий, Прохоров — теперь снова в родной боевой семье.

Много раз наведывался я к танкистам. Хотелось еще раз повидать Геру Захарова. Но, видно, не судьба. Части менялись. Так и не встретились…

На наш корреспондентский пункт прибыл собкор фронтовой

газеты Абрам Розен. Юркий, круглый, как колобок, этот газетчик стал нашим непримиримым соперником. Петя Белый теперь реже философствовал вслух. Распоряжения и указания он отдавал шепотом.

В ясном осеннем небе все чаще и чаще пролетали над линией фронта наши штурмовики. Люди на земле восхищались мастерством советских летчиков. В стрелковых частях нас то и дело спрашивали: кто они, эти соколы? Каковы плоды их труда? Все сотрудники газеты получили наказ любым путем добывать и срочно передавать материалы о летчиках, особенно о взаимодействии наземных войск и авиации.

Однажды мне повезло. Я видел над линией фронта дерзкий воздушный бой. Наш летчик сбил несколько немецких бомбовозов. Неожиданно на него набросились фашистские истребители. Но наш ас не растерялся и принял бой. За неравным поединком летчика следили многочисленные «зрители» — пехотинцы и артиллеристы. Поражали отвага и мастерство летчика, но силы были далеко не равны. Советский «ястребок» оказался подбитым. Летчик совершил вынужденную посадку.

Я поспешил к месту приземления, чтобы услышать хоть несколько слов из уст героя. Но меня к нему не допустили: человек ранен, разговор с ним в данную минуту исключен.

Огорченный, возвращался я на корреспондентский пункт.

На коррпункте меня встретил Абрам Розен. Он был оживлен, ходил из угла в угол.

— С чего это ты, Абрам, так взбодрился?

— Представь, есть с чего! Только что передал блестящий материал о воздушном бое, о подвиге летчика. Передал со всеми подробностями из его боевой жизни, с деталями биографии…

— Как же так? Ты же не был на передовой?

— Уметь надо! Репортера не ноги кормят, а голова. — ответил он с ехидной улыбкой. — Все очень просто. Связался с пехотной частью, отрекомендовался как следует. Это надо уметь! Попросил командира полка соединить меня с летчиком. Попросить тоже надо уметь! Командир приказал связистам протянуть провод к санитарной палатке, подключить телефонный аппарат. Так вот я и побеседовал с летчиком.

— Но ведь врач не разрешает раненому и рта открыть!

— Уговорил и доктора! Понял? Тоже надо уметь!

— Поделись хоть фактами, — попросил я.

— Ничего не выйдет. Самому их добывать надо!

Мне пришлось передать пустячную информацию, а затем я получил нахлобучку от редакционного начальства за нерасторопность.

Абрам сиял.

Петя Белый утешал:

— Не огорчайся. Проглотил пилюлю, и ладно. Я не я, если мы этому сопернику не отомстим. Отольются, как сказано в пословице, кошке мышиные слезки, вставим ему не один «фитиль».

И вставили!

Петя Белый каким-то чудом, не имея специального разрешения, побывал на полевом аэродроме, встречался с летчиками, получил возможность сделать выписки из журнала боевых действий. Петя любил прихвастнуть. Но на этот раз его рассказ звучал как никогда правдоподобно. Наша газета подробно рассказала о боевых делах летчиков под командованием Ивана Васильевича Дельнова. Только в сентябре летчики Гудков, Носов, Марютин, Александров, Фролов, Богатов и другие сделали свыше 300 вылетов.

Абрам читал выписки из журнала боевых действий, опубликованные в «Знамени Советов», читал и ахал: «Вставили-таки фитиль, негодяи. Как же я прозевал, дал маху?»

А в дневнике говорилось:

> **«17 сентября.** Подавлено 8 артиллерийских батарей, обстрелян командный пункт, уничтожено 4 автомашины, рассеяна вражеская пехота.
>
> **19 сентября.** Штурмовым налетом сорвано наступление вражеской пехоты дивизии «Мертвая голова» до двух полков.
>
> **20 сентября.** Успешно штурмовали немецкие позиции той же дивизии.
>
> **21 сентября.** Накрыта вражеская колонна. Уничтожено 8 бронемашин, несколько танков и автомашин.
>
> **22 сентября.** Атаковали немецкую пехоту на марше.
>
> **23 сентября.** Уничтожено 74 автомашины с немецкой пехотой, 22 бронемашины, 10 зенитных точек. Штурмовали передний край немцев.
>
> **24 сентября.** Уничтожено 79 машин с пехотой, 6 автомашин.
>
> **25 сентября.** Уничтожено 15 автомобилей и 6 бронемашин.
>
> **26 сентября.** Уничтожено 5 бронемашин, автоцистерна с горючим, два танка, взорвана переправа.
>
> **27 сентября.** Уничтожено 8 бронемашин, 19 грузовиков, 5 повозок и до 50 пехотинцев».

При подготовке полосы о летчиках проявил оперативность Аркадий Кулешов, хотя обычно он долго вынашивал тему. В тот момент родилось такое стихотворение:

Над тихими осенними кустами
Огонь ракеты взвился золотой,
Они летят. И вот уже над нами
Проходит низко краснозвездный строй.
Не видно лиц. Лишь грозные машины,
Расправив крылья, мимо пронеслись.

И кажется, что это исполины,
Рожденные землей, уходят ввысь.
Передний край врага объят пожаром.
Штурмовики огня смертельный шквал
На вражий стан обрушили.
Недаром
Их «черной смертью» пленный
называл.

Однажды тишину осеннего утра разорвал гром канонады. Мы высыпали на улицу. Скрипела под ногами трава, прихваченная инеем. Занималась утренняя заря. Петя Белый приложил к глазам трофейный бинокль. Поразмыслив, заключил:

— В огне и дыме Сухая Нива. Похоже, что еще раз дает о себе знать «Мертвая голова». Но из этой их затеи едва ли что выйдет! Там держат позиции дальневосточники.

Шквал затих. Дым начал рассеиваться. Блеснул купол церкви в Сухой Ниве. Стал четко виден каменный мост, перекинутый через Луженку. В населенных пунктах Польцо и Кириловщина, где окопались немцы, никакого движения.

— Какая-то провокация, — заключил Петя.

И в этот момент — снова грохот, еще более сильный. Зарницами вспышек озарился горизонт. Вражеские артиллеристы не жалели снарядов. Потом вспышек уже не было видно. Передний край нашей обороны ходил ходуном от взрывов.

— Вы как хотите, а я в двадцать шестую, — заключил Петя.

Он пропадал в полках четверо суток. В конце дня связывался с нами по полевому телефону и просил продублировать в редакцию короткие сообщения. В них говорилось, что фашистам удалось захватить Сухую Ниву. Но ненадолго. Рота лейтенанта Бушуева ночью стремительным ударом вышибла фашистов из деревни. Во время одной из контратак захвачена штабная автомашина. Подробности позднее.

Петя вернулся на коррпункт только тогда, когда бой стих. Был он обросший, прокопченный, но в прекрасном расположении духа.

— Молодцы дальневосточники, — радовался он. — Крепко скрестили шпаги с «Мертвой головой», прошедшей, как поговаривают, всю Западную Европу. Это, друзья, был бой далеко не местного значения. Как видно из захваченных штабных документов, они хотели нас смять, чтобы продвинуться за озеро Ильмень, а затем наступать по реке Свирь и соединиться с армией белофиннов. И о Валдае они мечтали, и о Бологом.

— Спасибо, стратег, за приятные новости, — похвалил Петю Абрам Розен.

— Ты, Абрам, так и знай: хоть ласкайся, хоть нет, а материальчика ты от меня не получишь.

— Зачем так жестоко?

— В дивизии видел Юрия Королькова. Говорит, есть любопытные детали. Пальчики оближешь!

Розена как ветром сдуло. Он побежал разыскивать писателя.

Когда Абрам ушел, Петя пригласил нас к столу, разложил карту и посвятил нас в то, чего узнал в разведотделе.

— Это, ребята, только между нами. То, что я разузнал, — не для печати. Об этом, может, напишут когда-нибудь историки.

Петя перешел на полушепот.

— Мы, то есть части нашей одиннадцатой армии и нашего фронта, как известно, в эти месяцы форсировали реку Ловать. Мне, например, грешному, было и невдомек, что наши наступающие части ударили во фланг главным силам так называемой группы «Север» и вышли в глубокие тылы десятого армейского немецкого корпуса. Пришлось немецким генералам снимать спешно танковые части с фронта на реке Луге, чтобы спасать свои отборные войска. Жаль, конечно, что окружить и разбить немцев нам не удалось. Но факт есть факт: фронт, передовая наша теперь стабилизировались. Немцы поджали хвост. А вот в эти дни попытались взять реванш, но из этого ничего не вышло. Утерли мы им нос. Это уже — не секрет! Об этом я сейчас и напишу.

А Юрий Корольков, оказывается, присутствовал на одном из допросов пленного в 26-й дивизии. Что, казалось, в этом особенного? Таких допросов в ту пору было немало. Но у публициста обыденное звучало с большей силой.

Пленный оказался сыном белогвардейца. Он служил переводчиком в штабе дивизии СС. Через него отдавались приказания мирным жителям на оккупированных землях о поставке гусей, кур, свинины для господского офицерского стола.

Переводчика посылали через линию фронта подслушивать на линиях связи разговоры командиров наших частей. За этим занятием и захватили его.

И вот он отвечает с лакейской угодливостью:

— Я мечтал всегда о России. Все-таки это моя родина.

— Что вы знаете о России?

— О, я много знаю о своя страна! Знаю Украина. Там много хлеб, помидоров и арбузов. Там варят очень вкусный повидлу.

Дальше — больше. В Крыму много вина и фруктов, в Сибири ездят на тройках с бубенцами, там много волков, на которых можно охотиться в теплых шуба. В России много писателей — Толстой, Пушкин, Толстоевский (!?)

— Немцы — чудесный народ, добрый и щедрый. Я получил предприятие. Осталось немного уже до конца войны. Поселюсь на родине, в Могилеве. Выпишу свою мама…

Статью об этом допросе Юрий Корольков назвал: «Человек без родины».

В «Мертвой голове» воюют далеко не рыцари, думали мы, и в прислужники взяли к себе проходимцев, не имеющих ни чести, ни совести.

ФРОНТОВАЯ «ПРОВИНЦИЯ»

Шел декабрь 1941 года. На новгородской земле наступила суровая зима.

Немцы перешли к обороне. Они строили дзоты на пригорках, откуда хорошо просматривались окрестности. Отдельные огневые точки соединяли ходами сообщения, оплетали опасные места колючей проволокой в несколько рядов, прикрывались минными полями. Все заграждения увешивали, как новогодние елки, гирляндами банок, жестянок. Чуть тронь — загремит, оповестит об опасности.

В лесу и на болотах появились завалы, заборы с амбразурами. Линия фронта во многих местах тянулась широкой просекой, которая просматривалась вдоль и поперек.

Вроде бы передышка, а на сердце — камень. На соседнем фронте, где-то совсем рядом, враг нащупал слабое место в нашей обороне, прорвался и овладел Калинином. Значит, железная дорога Москва — Ленинград перерезана. Враг уже в Можайске, у Наро-Фоминска и Тулы.

Идет шестой месяц войны. За это время мы познали многое. Было все: отступление и атаки, радость успеха и горечь утрат. В жаркие летние дни над дорогами и полями висели самолеты с черной свастикой, а ночью пылали десятки деревень, зажженные фашистскими фугасами. Эти зловещие факелы горели за линией фронта и в нашем тылу. Казалось, что стонет псковская и новгородская земля. Разрывалось на части сердце оттого, что нельзя разом остановить надругательство. Этими кошмарами враг стремился убить нас не только физически, но и морально.

Но звериная жестокость фашистов вместе с болью рождала гнев и ненависть к захватчикам.

Ритм нашей фронтовой жизни не нарушился даже в эти тяжкие дни. Мы трудились до седьмого пота ради того, чтобы скорее пришел на нашу улицу праздник. Мы ликовали, услышав о традиционном заседании Московского Совета депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными организациями столицы в ноябре 1941 года.

7 ноября, как всегда, на Красной площади — парад Красной Армии! Сталин призвал:

— Под Знаменем Ленина — вперед к победе!

На этот призыв хотелось ответить делом. Но наш участок фронта стал почему-то «глухой провинцией». В обороне не разживешься «гвоздевыми» материалами.

8 ноябре и декабре самые радостные вести добывал для

газеты техник-радист Павел Мусько. Жил он как монах в келье. Его землянка была забита аппаратурой и аккумуляторами. Кругом — провода, провода. По ночам, утрам и вечерам он колдовал у приемника, до остервенения боролся с помехами, записывая карандашом сообщения для газет. Все чаще вместе со сводкой Советского информбюро он принимал специальные выпуски «В последний час». Они срочно набирались и ставились на первой полосе, сопровождались крупно набранными заголовками: «Еще удар по войскам врага». В них сообщалось об успешном наступлении Красной Армии под Ленинградом и на юге. В конце ноября пришла весть об освобождении Ростова-на-Дону, а затем — о разгроме группы немецких войск генерала Шмидта, действующей юго-восточнее Ленинграда. Мы узнали, что освобожден Тихвин.

6 декабря новая ошеломляющая новость: перешли в контрнаступление под Москвой войска Западного, Калининского и Юго-Западного фронтов…

Чешутся руки и у солдат нашего фронта. Сидение в обороне, когда в других местах крупные успехи, горше полыни. В те дни в «Знамени Советов» появилось обращение ко всем комсомольцам и комсомольским организациям, ко всем бойцам и командирам частей Северо-Западного фронта.

> «Немецкие захватчики, — говорилось в нем, — хотят вести истребительную войну с народами СССР. Во весь голос мы отвечаем на это словами товарища Сталина:
>
> «Что же, если немцы хотят вести истребительную войну, они ее получат.
>
> Мы не пожалеем наших сил и самой жизни для того, чтобы истребить всех немцев до единого, пробравшихся на территорию нашей Родины в качестве ее оккупантов».

В письме говорилось, что снайпер комсомолец Тимченко за два месяца уничтожил 44 фашиста, снайпер Востриков — 65 фашистов.

Письмо это подписали снайперы Михаил Григорьев, Григорий Савченко, Петр Пупыкин, Иван Уткин, Савелий Белоконов, Даниил Шабалин.

Удивительные это были люди. Мне не раз приходилось бывать среди них. Запомнился Цирендаша Доржиев.

…В дивизии проходили боевые стрельбы. На огневой рубеж вышел коренастый солдат родом из Бурятии. Он лег на снег, будто слился с ним. Неторопливо сделал один за другим десять выстрелов. Пули кучно легли в «яблочко».

— Как же это у тебя, друг, так ловко получилось? —

удивлялись ребята. — Такое бывает не враз, а только после упорных тренировок.

— Не привыкать, — ответил Доржиев, — охотнику мазать не положено.

Доржиеву разрешили выйти в засаду. Укрытие он выбрал с вечера. Затемно ушел туда в белоснежном маскировочном халате. День по всем приметам должен быть ясный, морозный. Так оно и вышло. От яркой снежной белизны у меня ломило глаза.

Немцы после завтрака принялись валить деревья, готовить накаты для нового блиндажа. Опасности, по всему видно, они не чувствовали: то и дело ржали, куражились. В момент, когда солдаты принялись рубить сучья, снайпер нажал на спусковой крючок. Выстрела почти не было слышно. Один рухнул. Другие разбежались в укрытия и весь день не высовывали носа.

В потемках Доржиев покинул засаду и, вернувшись во взвод, зло сплюнул:

— Один убитый фашист — не велика добыча.

— Какой быстрый!

Доржиев изучил передний край, что называется, вдоль и поперек. Что ни день — новая засада. Выжидал часами, днями. Берег каждый патрон, бил только наверняка. Теперь, возвращаясь, он чаще улыбался. Ребята знали: сегодня у парня большой успех.

Меткие стрелки хитры были на выдумки, а на рассказы уж очень скупы. Сколько ни бейся — слова не выдавишь. Очень редко они разрешали ходить с ними в засады. Чаще приходилось ловить момент, когда они, не замечая постороннего, откровенничали после возвращения с охоты.

…Землянка. Нары, устланные хвоей. Тепло от «буржуйки» разморило, клонит ко сну. У ребят сегодня выходной: на передовой орудуют наши саперы. В углу землянки поближе к дневному свету, проникающему снопиком через маленькое окошечко, примостился паренек. На коленях листок бумаги, в руках огрызок карандаша.

— Отличную комбинацию разыграл, а доложить своей Еленке не можешь, — шутили ребята.

— Отвяжитесь!

— Смотри, какой важный!

— Отступитесь от человека, — утихомиривал задир Доржиев.

— А чего все же отколол наш Алеша?

— Чего, чего? Вы что, друзья, с луны свалились? Весь полк толкует о делах Алексея Усенко, а вы: «Чего? Чего?»

— Цирендаша, будь друг, просвети, — взмолились ребята. — В засадах же мы все дни были. Откуда было узнать новости.

И Доржиев рассказал:

— Командир полка уже давно ходил злой. «Сверху» требовали дать схему огневых точек укрепленного узла немцев. Дать самые точнейшие данные. Пробовали растравить немцев и так, и сяк: били по переднему краю из дальнобойных орудий, выкатывали на прямую наводку легкие пушки, крутились над фашистскими дзотами У-2. Молчат, проклятые, да и только! Вот тут-то и пришел к командиру полка наш Алексей Усенко. Растормошил-таки он немцев. Удалось засечь все огневые точки противника. А сегодня эту неприступную высоту наш третий батальон взял, взял без единой потери. Так что наш Алеша настоящий герой. А вы пристаете к парню. Нехорошо, нехорошо!

Ребята притихли. Пусть Алеша напишет добрую весточку своей подруге.

О том, что я слышал в тот день в землянке, я рассказал, возвратившись в редакцию, Аркадию Кулешову и Игорю Чекину. Поэты загорелись и решили обобщить снайперский опыт Алексея Усенко. В разделе «Рассказ о том, как бьет врагов на фронте Алексей Петров» появилась глава «Дело мастера боится».

Сделал чучело простое —
К палке каску привязал.
Это чучело с собою
Алексей в дорогу взял.
Скрыл Петрова снег
летучий,
Замела следы пурга.
Он к ограде полз колючей —
На передний край врага.
Вот и ельник невысокий —
Он стоит на полпути,
А отсюда недалеко
К заграждениям ползти.
Елки срезал он кинжалом,
Лишних слов не говоря,
Слыл Петров бойцом
бывалым —
Коль срезает, то не зря.
И совсем в другое место
Эти елки перенес.
то за место? Интересно.
Что же дальше? Вот
вопрос.
У ограды у колючей
Елки он расставил в ряд.

Тут же он поставил
чучело
И назвал его
«солдат».
Банки, ножницы, звоночки
На груди его висят.
Алексей придумал ловко:
Прикрепил к нему веревку,
Сам отполз, залег в снегу —
И готов «сюрприз» врагу.
За веревку дернет смело
(Алексей надежно скрыт) —
И «солдат», конечно, дело
Понимает — и звенит.
Раздается звон и скрежет,
Будто проволоку режут.
Вот и утро. Немцы встали.
«Вас ист дас?» — Они
галдят.
«Елки эти там стояли,
А теперь не там стоят».
Вдруг раздался звон
и скрежет,
Немцы вскрикнули:
«Беда!
Русский проволоку режет…»
И давай палить туда…
Косит враг из пулеметов —
Пулеметы не берут.
Лупит враг из минометов —
Все равно напрасный
труд.
Сдуру немец бьет
по новым
Заграждениям своим.
Но лихой «солдат»
Петрова
Страшен, грозен, невредим.
Алексей разведал точно
Огневые вражьи точки.
Трюк простой, — как
говорится,
«Дело мастера боится».

Аркадий Кулешов умел слушать.

— Что нового? — спрашивал приветливо он. — Заходи, расскажи.

— Отпишусь, обязательно загляну, Аркаша.

Аркадий знал, что всяких историй у меня хоть отбавляй, и потому при моем появлении обычно ложился на нары. Любил он лежать на спине, заложив ладони рук под голову. Временами мне казалось, что он не слушает. Я замолкал. Он тут же спрашивал:

— Ну, а что дальше?

В землянке Аркадия рождались мои устные рассказы, которые для газеты не всегда годились.

— …Был я в эти дни, Аркадий, у разведчиков. Под вечер я заглянул в новенькую землянку, наполненную запахом сосны. Командный пункт полка расположился в бору, и саперы не пожалели для накатов чудесных корабельных сосен. Ребята только что вернулись с поиска. В тылу немцев они пробыли трое суток, добыли уйму ценных сведений, на обратном пути захватили «языка». Настроение у всех было преотличное. Крепко поужинали, а потом, видимо от уюта и тепла, разом уснули. Накаты вздрагивали от мощного храпа. С потолка то и дело сыпались комочки грунта. Ночью сержант, командир группы, вскочил как очумелый и закричал:

— Подъем!

— Ты в себе, Иван? — ворчали разведчики.

— Я-то в себе. А вот вы настоящие лопухи.

— В чем дело? Почему гневаешься?

— А Закир? Забыли, садовые головы!

Упоминание о Закире стряхнуло со всех сон. Сержант выскочил из землянки, а затем, вернувшись, сделал непонятный для меня взмах рукой. Разведчики были уже в полной боевой готовности.

— Мы выступаем, — сказал мне сержант, — а ты, корреспондент, спи. Утром свидимся.

На рассвете они вернулись. На плащ-палатке внесли в землянку раненого.

Я сверлил глазами сержанта, давая понять, что хотел бы знать суть дела. Напрашиваться в такие минуты с разговорами нетактично. Под горячую руку эти лихие ребята могут и послать куда следует. Лучше всего в таких случаях набраться терпения и ждать, когда сами разговорятся.

А было, как я узнал позже, вот что. Когда разведчики, отправляясь в тыл к немцам, успешно миновали линию фронта, Закир нарвался на мину. Ему оторвало ступню. «Продолжайте выполнять задачу, — умолял Закир. — А меня припорошите под

елью. После поиска выручите, а на крайний случай гранаты у меня есть. Будут рыскать немцы — подорвусь».

Просьбу Закира уважили. На обратном пути разведчики шли другими тропами (так положено) и зайти за раненым не могли.

И вот сейчас, повторив поход в немецкий тыл, разведчики вернулись со своим товарищем. «Слава богу, — сказал сержант, — вся наша семья теперь в сборе».

— Об этом я обязательно напишу.

В другой раз Аркаша спросил:

— Не встречал тех разведчиков?

— Как же, встречал!

— Ну и что?

— При встрече сержант по-братски обнял, осмотрел с ног до головы, сказал, как родному: «Здравствуй, старина! Рад, что живздоров».

«Нам что сделается? — ответил я. — Мы же в тыл к немцам не ходим». «Куда хватил, — закипятился сержант. — Наше дело проще. Перед тем как на операцию идти, готовимся, наблюдаем, десятки раз прикидываем, когда удобнее и безопаснее на работу идти. А вам, корреспондентам, в блиндаже, в укрытии некогда сидеть. Побеседовал, сделал снимок — и в путь, да еще в одиночку. Мало ли каких напастей в дороге: шальной снаряд или пуля, разбойник фашистский с воздуха, мина или засада».

— У сержанта, Аркадий, богатая биография: походы в немецкие тылы, доставка ценных сведений и «языков». Вся грудь у него в орденах и медалях. «Поздравляю, — говорю я ему, — у тебя еще одна, новая награда». А он в ответ: «Награды — хорошо. Но и твои заметки дорогая для меня реликвия». Разведчик достал из кармана гимнастерки газетную вырезку, пробежал текст и заметил: «Это ты пропечатал. Тут обо мне все сказано. Сберегу до дому. Не надо будет самому пояснять, за что отмечен. Газета про это скажет».

— Добрые слова, лучше не скажешь, — заключил Аркадий.

И много-много раз лежал Аркадий на нарах, а я вел разговор.

…На носу уже Новый год. Хочется отметить его материалом, который привлек бы к себе всеобщее внимание. Особенно озабочен этим Абрам Розен. Он помимо своих прямых служебных обязанностей еще и внештатный корреспондент «Известий», а я — ТАСС.

Вот и рыщем в поисках интересных фактов.

Розен решил лететь на У-2 на бомбежку ближних немецких тылов, чтобы добыть материал для новогоднего номера «Известий».

— Ты рискуешь, — предупредил я Розена.

— Чем?

— Машина фанерная. Не исключено, что пулеметная очередь прошьет самолет. Предположим, ты останешься жив, отделаешься ранением, даже легким. Но ты хорошо подумал, в какое место вероятнее всего попадет пуля при обстреле с земли? Потом объясняйся в госпитале, что пуля настигла тебя не в момент панического бегства от немцев…

Разговор шел вечером. Розен задумался. Его молчание мы приняли за отказ подняться в воздух. С тем и уснули.

Утром Розена на нашем коррпункте не оказалось: исчез в неизвестном направлении. И главное — без завтрака, что так на него не было похоже.

Мы растопили печку, чтобы пожарить картошку. Но куда-то исчезли сковородки. Обшарили все уголки, но не нашли ни одной.

Розен появился поздно вечером. Он был в восторге от удавшейся бомбежки, от собственной смелости. Он попытался незаметно сунуть на шесток весь набор наших сковородок. Но мы его приперли к стенке: «Что это еще за фокусы?»

— Никаких фокусов! — отвечал Розен. — Просто нужна была броня.

ДЕМЯНСКИЙ КОТЕЛ

Наступил новый, 1942 год.

Как-то Петя Белый, вернувшись, по его любимому выражению, с рекогносцировки, растирая красные от мороза уши, таинственно сообщил:

— Ну, друзья, кончаются, кажется, наши тихие деньки. Хоть и стоят на дворе трескучие морозы, а, по всем приметам, попахивает в наших краях грозой. Садитесь, буду просвещать.

Он раскрыл планшет, вытащил карту, свернутую вчетверо, аккуратно развернул ее. Она заняла весь самодельный стол.

— Нашей Одиннадцатой армии поставлена задача — прорвать оборону немцев южнее Старой Руссы. Это еще не все! Одновременно с нами из района Холм пойдет на север, то есть навстречу нам, Первая Ударная армия.

Большие раздумья вызывала карта, над которой колдовал Петя.

Цепочкой тянулась вдоль лесов линия железной дороги от Валдая к Старой Руссе. В районе станции Беглово, что по соседству со станцией Лычково, пересекая железнодорожное полотно, широкой полосой с юга на север тянется болото Невий мох. На десятки километров — ни жилья, ни дорожки. Лишь на границах болота, как часовые, стоят деревеньки Пустынька, Вершина, Высочек, Замошка, Заход. В Невий мох, пожалуй, даже в мирное время редко заглядывал человек. А теперь сюда, в глухомань, стянулись со всех концов страны тысячи и тысячи людей. И кто его знает, может, вот-вот об этих деревушках заговорят во всем мире?

То, что говорил Петя по секрету, скоро стало известно всем.

Едва забрезжил рассвет тихого морозного январского дня, как южнее и севернее Старой Руссы полыхнули багровые зарницы залпов. Мы рыскали по дивизиям и полкам, а Петя Белый на этот раз не отлучался из оперативного отдела штаба армии, чтобы срочно передавать в редакцию сведения, дающие представление об общей картине событий.

За сутки дивизии Северо-Западного фронта продвинулись на 50 километров.

Это зимнее наступление отличалось от летних контратак. Теперь наших бойцов поддерживали залпы артиллерийских дивизионов, мощный огонь «катюш». Иная и картина боя: батальоны автоматчиков на лыжах, пехота в маскировочных халатах, с пулеметами на специальных лодочках-санках. Могучие танки, выкрашенные белой краской. И среди техники — собачьи

упряжки санитарных взводов.

Болото Невий мох оказалось очень капризным. В трясине вязли тягачи, орудия, повозки. То тут, то там из-под снежного покрова выступала талая вода. На образовавшийся лед бросали бревна, жерди, ветки. Используя долгие ночи, наши части скрытно накапливались возле населенных пунктов, занятых врагом. Выкатывали на прямую наводку пушки. На рассвете — внезапные атаки. Одна только 26-я дивизия, в которой мне приходилось часто бывать, продвинулась на 100 километров, освободив более пятидесяти населенных пунктов.

20 февраля Петя, как Левитан, передавал по телефону с коррпункта в редакцию:

> «Сегодня войска Северо-Западного фронта и 1-й Ударной армии соединились в деревне Залучье. Семь немецких отборных соединений 2-го и 10-го армейских корпусов общей численностью до ста тысяч солдат и офицеров оказались в окружении. В последних боях убито свыше 10 тысяч гитлеровцев. Наши трофеи: сотни брошенных в панике орудий, минометов, пулеметов, автомашин, железнодорожных вагонов с разными грузами, склады с боеприпасами и продовольствием».

В эти дни, к великому огорчению, распалась наша дружная газетная семья. В целях экономии бумаги газета «Знамя Советов» стала выходить на двух полосах. Объем уменьшился вдвое. Само собой разумеется, надо было сокращать и штат редакции. Лишними, конечно, оказались «батраки» — Вася Кучин, Володя Авсянский и я.

Петя Белый утешал как только мог:

— Стоит ли огорчаться? Не куда-нибудь идешь, а в 202-ю стрелковую дивизию. Я в ней не раз бывал. Командует дивизией полковник Серафим Григорьевич Штыков. Как ни приду, бывало, напоминает он слова Суворова: «Неприятель думает, что мы за сто, за двести верст, а ты, удвоив шаг богатырский, нагрянь быстро, внезапно. Неприятель поет, гуляет, ждет тебя с чистого поля, а ты из-за гор крутых, из лесов дремучих налети на него, как снег на голову… Не давай опомниться; кто испуган, тот побежден вполовину; у страха глаза большие, один за десятерых покажется…» — И солдаты Штыкова действуют по-суворовски.

Петя стал торопливо листать подшивку. Найдя нужную страницу, воскликнул:

— Читай!

Это было сообщение Советского информбюро, датированное 14 сентября 1941 года. В нем говорилось:

«За время многочисленных боев соединения полковника Штыкова уничтожили свыше 10 тысяч немецких солдат и офицеров, около 200 вражеских танков, сотни автомашин, свыше ста орудий и до 500 мотоциклистов».

Не забудется день расставания. Петя Белый, Игорь Чекин, Коля Лисун, Аркадий Кулешов, одетые в новенькие полушубки, в которых не страшен самый лютый мороз, кричали вслед мне: «Ни пуха ни пера!» И в ответ по традиции: «К черту!»

«Батрак» остался «батраком». Только теперь короче походы. Полки и батальоны совсем рядом. Газета называется «Призыв к победе». Над заголовком эпиграф: «Смерть немецким оккупантам!» Тут же над заголовком, справа, предупреждение: «Прочтя, сожги». Выходит «Призыв» три раза в неделю. Не размахнешься. Секретарь редакции Алексей Мусатов и редактор батальонный комиссар Александр Афанасьев беспощадно режут материал.

— О людях, о людях надо побольше писать, — взмолился я.

— О людях мы не забываем. Смотри, сколько фамилий в каждом номере! А цифры! Они что песня! — Редактор, водрузив очки на длинный нос, похожий на перочинный нож, читал нараспев: «Честь и слава мужественным воинам Бережному, Пашкову, Светличному и Татаринову! В течение последних дней наши подразделения ведут ожесточенные бои с вклинившимся в нашу оборону противником. В этих боях отличился пулеметный расчет сержанта Бережного. Он отразил многочисленные атаки немецкой пехоты. Дрался до последнего снаряда. На подступах к орудию образовались груды трупов немецких солдат и офицеров. По самым скромным подсчетам, орудийный расчет Бережного истребил в этом бою семьдесят пять немецких оккупантов».

— А вот другой материал, — продолжал Афанасьев: «Подразделение майора Натрошвили просочилось в тыл противника. От врага освобождены двадцать населенных пунктов. Захвачены большие трофеи». Вот так надо писать, — поучал редактор. — Краткость, как известно, — сестра таланта.

Возражать редактору не хотелось. Всякий раз получалось, что один из нас говорит про Фому, а другой — про Ерему. Мне было ясно, как дважды два, что газета не может жить без информации, без оперативных сообщений о подвигах. Но эти подвиги совершали люди скромные, простые. О них надо писать зарисовку или очерк. А «лирику» Афанасьев не терпел.

На моих глазах полк Натрошвили атаковал станцию Беглово. Ночной бросок был настолько внезапен, что фашисты, не приняв

штыкового боя, в панике бросились к ближайшему лесу. Командир полка предвидел и такой исход дела. На железнодорожном полотне справа и слева от станции были предусмотрительно установлены пулеметы. Ни один фашист не скрылся.

И вот мы осматриваем освобожденное Беглово. Его обороняли эсэсовцы, рослые, откормленные. Они укрывались главным образом в здании вокзала. Замуровали окна, соорудили широкие нары. День и ночь топили «времянку». Фашисты порубили на дрова все деревья в пристанционном саду, хотя лес был под боком. Они загадили помещение: боялись или ленились выходить ночью на улицу по нужде. Перед входом в вокзал — горы консервных банок и брошенные в спешке противогазы, похожие на собачьи намордники, во дворе — штабеля снарядов и мин.

От вокзала идет глубокий ход к блиндажу на железнодорожной насыпи. Здесь несколько амбразур, приспособленных для круговой обороны. Как они вели себя здесь, мы не раз видели с нашей стороны. С наступлением сумерек солдатня, ровно улитки, заползала в укрытия, в дозоре оставались лишь часовые. Они с педантичной размеренностью всю ночь напролет пускали осветительные ракеты. На рассвете фашисты вскакивали по команде, умывались возле блиндажа, гремели котелками, а после завтрака приступали к «работе». На передовой трещала пулеметная дробь.

До атаки я не раз бывал на позиции нашего артиллерийского расчета среднего калибра, расположенного против немецких укреплений. Наши солдаты жили на передовой почти по-домашнему.

…Недалеко от орудия на сосне — ходики, обыкновенные домашние ходики с кукушкой. На цепочке вместо гири — гранаты. Маятник у часов бьется словно в лихорадке, стрелки спешат. Командир орудия поясняет: «Это от ветра. Стихнет — часы пойдут точнехонько».

В кустах — кухня. Там горит примус. Хорошая это вещь, а самое главное, удобная в походной обстановке: не дымит, не демаскирует. Сегодня у ребят выдалась возможность иметь приварок. На пеньке устроился заряжающий. Находчивый парень раздобыл где-то муки. Нашел кринку, молоком разжился и месит опару. Сковородка на примусе уже прогрета. Плеснул месиво — и зашипело. Перевернул тонко обструганной палочкой — и готов блин. Не какой-нибудь, а настоящий: тонкий и розовый.

Подносчик снарядов чистит картошку, сваренную в «мундире». Котелок наполнен. Парень шарит глазами по кустам:

не хватает простой домашней утвари. Поднялся, принес пустую бутылку, обтер ее свежей ветошью, взял за горлышко и начал дном бутылки мять картошку. На завтрак — блины и картофельное пюре, сдобренное молочком!

Как только началась «работа» у немцев, кухонного хозяйства как не бывало. Все свернуто, припрятано, а расчет — на своих местах, готов открыть огонь в любую секунду. Разведчик батареи сидит под самым носом у немцев, с ним прямая связь по телефону. В этот момент командир батареи дал по проводам координаты и приказал открыть огонь. Выстрел, еще, еще. И вдруг — заминка. Связист, сидящий в окопчике у орудия, никак не поймет корректировщика, уж больно он крепок сегодня на язык. Мембрана гремит, и фразы слышны у самого орудия: «Правее, правее, на божью матерь!»

— Балда! — беззлобно говорит командир орудия связисту. — Сам не понимаешь, так повторяй вслух просьбу корректировщика. Ведь яснее ясного говорит: по колокольне надо бить, по немецкому наблюдателю!

А теперь Беглово наше. Ребята обживаются на новом месте.

В здании школы в Беглове расположилась санитарная часть. Классы превратились в больничные палаты. Солдаты, получившие первую помощь, притихли на кроватях и нарах. Им все еще не верится, что после ада и пекла можно вот так просто лежать в тепле, сняв верхнюю одежду, укрывшись простыней и одеялом.

Днем над станцией в безоблачном небе появились немецкие бомбардировщики. Фашисты кружились на небольшой высоте и не могли не видеть на крыше школы белое полотнище с красным крестом.

Самолеты набрали высоту и один за другим цепочкой пошли в пике. Бомбы угодили прямо в школу. Рухнули перекрытия. Деревянное здание загорелось. Санитары бросались в дым и пламя, вытаскивали на носилках солдат, получивших новые тяжелые ранения и ожоги. Но спасти удалось немногих…

ЛЫЧКОВО

На фронте без дружбы не проживешь. Теперь ждал, как манну с неба, встречу с Андреем Батуриным — инструктором политотдела, скромным парнем родом из Белоруссии. Андрей составлял информацию о событиях дня. Андрею и мне поручили вести летопись 202-й дивизии. Батурин имел доступ к штабным документам, был всегда в курсе дел не только нашей дивизии, но и всего фронта. Он заменил мне Петю Белого.

— Скучаешь? — участливо спрашивал Андрей при встрече. — Могу тебя понять. Был бы в «Знамени Советов», махнул бы и в Борисово, и в Горцицы, и в Сухую Ниву, которая теперь стала уже нашей. А мы толчемся в основном возле Кневиц и Лычково. Ну, о деле после поговорим, а сейчас давай-ка чайком побалуемся. Не помешает с морозца!

Андрей доставал из снарядного ящика алюминиевые кружки, приносил кипяток, заварку, и мы, обжигаясь, чаевничали.

— Угощайся, — предлагал я, доставая из противогаза пачечки, завернутые в прозрачную пленку.

— Что это?

— «Гостинец Гитлера».

Андрей развернул пакетик, на котором стояла дата: «1937», и высыпал содержимое на стол. Понюхал коричневые, будто из цикория, ломтики. Попробовал один кусочек на зуб. Выплюнув, спросил:

— Откуда это у тебя?

— Снайперы сбили сегодня фашистский транспортный самолет с этими трофеями. Ребята, попробовав этот хлебец, шутили: «Эрзац! От такой еды, может, и не сдохнешь, но долго и не протянешь!»

После чая Андрей, набросав по памяти схему Демянского котла, пояснил:

— Теперь немцев, окруженных под Демянском, теснят три наши армии: 11-я, 34-я и 1-я Ударная. Котел похож на сморщенный, засохший бычий пузырь, который, пожалуй, вот-вот лопнет. Так что нужное и важное дело вершим и мы здесь, под Кневицами и Лычковом.

Пояснения Андрея вызвали большие раздумья.

…Железнодорожная линия Бологое — Дно перерезана. Немцы еще осенью на моих глазах захватили станцию Лычково. Фашистские моторизованные части клином врезались в нашу оборону. Дальше Лычково им не удалось продвинуться ни на шаг. Ну а станции Кневицы, Парфино, Пола, снабжавшие фронт

боеприпасами и питанием, замерли.

Железная дорога! Я помню тебя с детства. Ты приносила на малюсенькие станции радость встреч с незнакомыми людьми. Дружной ватагой бегали мы, ребятишки, к пассажирскому поезду, проходившему два раза в сутки. С завистью смотрели на счастливчиков, едущих в дальние, неведомые края. Бежали вслед за плавно трогающимся составом и посылали бесконечные приветы путникам. Мечтали о той счастливой минуте, когда увидим мир дальше границ нашего детства: семафоров Южного и Северного.

Железная дорога представлялась всегда живой, неумирающей. Ласкали глаз отполированные полоски рельс. Ароматным был стелющийся по кустам дым из трубы паровоза. Музыкой звучал стук самых различных колес: дрезины, товарных и пассажирских вагонов.

А сейчас? Рельсы отвалены под откос. По бывшему железнодорожному полотну тянутся подводы.

Полки и батальоны бьются за станцию Лычково, затерявшуюся в лесах. Эта станция — стратегический пункт. Взять ее — значит пробиться к тылам, питающим фронт. В груди стучит наказ:

«Мы сделаем все для того, чтобы вновь услышать гудок паровоза, шипение пара, шум водокачки. Сделаем все для того, чтобы на путях выстроились эшелоны, а на платформах появились штабеля мешков и ящиков.

В этом — наша жизнь!»

Андрей Батурин посоветовал:

— Шагай в редакцию, отписывайся, а потом дня через три-четыре приходи, интересные дела надвигаются. Намекни об этом редактору, чтобы не задерживал.

В политотдел я пришел раньше намеченного Андреем срока.

— Не терпится, — шутил парень.

— Разве усидишь после твоих откровений!

— Молодец, хорошо, что поспешил. Сегодня один наш полк в стыке двух немецких дивизий просочился во вражеский тыл. Задача — срезать дугу, растянувшуюся от Вязовки до Кирилловщины через Кневицы и Лычково, отрезать и уничтожить фашистов под Лычковом.

— А как попасть в наш полк?

— Не спеши. Наладится связь — вместе туда махнем.

— Ты хоть на карте покажи, где действуют наши.

— Пока секрет!

Выручил меня ездовой, направлявшийся в медсанбат. У него, не то что у Андрея, никаких секретов не было. Растолковал,

какими дорогами и тропками добираться до своих.

К вечеру я был уже на месте. За эту мою «самодеятельность» крепко попало от комиссара полка. Долго снимал он стружку, грозил трибуналом, а потом, сменив гнев на милость, приказал ординарцу накормить.

Полк Натрошвили успешно выполнял задачу. Наши бойцы заняли 16 населенных пунктов, захватили большие трофеи. Редактор Афанасьев после моего возвращения из необычного похода дотошно допытывался и требовал точных цифр, сколько же взято пулеметов, винтовок, патронов, снарядов и мин. Все нашлось в моих блокнотах.

В те дни в районе Лычково высадился наш воздушный десант. Молодые парни, вооруженные новенькими автоматами и всем, что необходимо для ближнего боя, действовали дерзко и стремительно. Победа была уже близка. Но морозы вдруг сменились преждевременными оттепелями. Солнце, щедро дарившее тепло, несло нам не радость обновления природы, а новые трудности. Болота превратились в озера, через которые не перейти, не переплыть.

Ребята днем в полушубках и валенках шли по воде, а ночью промерзали до костей. Санвзвод спешно переправлял обмороженных в медсанбат. Немало оказалось таких, чью жизнь можно было спасти только при условии ампутации ног.

А половодье продолжало вершить свое коварное дело. Наши части оказались отрезанными от баз снабжения. Сократились пайки. Экономили каждый патрон.

Голод пришел и в палатки. Молока от коровы, которую держали в медсанбате, не хватало даже для тяжелораненых. Их решили поддержать мясным бульоном. Корова пошла на мясо, тушу берегли, говядину считали на граммы, лишь бы не дать раненым умереть от истощения.

Голод — тяжкое испытание. Но бывают муки сильнее голода.

Андрей Батурин упрекнул:

— Заявился в дивизию и не даешь друзьям о себе знать. Тебя уже разыскивают.

Андрей вручил мне треугольничек, пришедший в политотдел на мое имя. Я сразу узнал почерк Коли Франчука.

Коля служил в роте охраны штаба 11-й армии. Мы изредка с ним встречались. Друг тяготился своим положением. Он всей душой рвался на передовую, чтобы, как он говорил, активно добывать победу.

Всматриваясь в лицо друга, я каждый раз думал про себя: «Коля, Коля! Каким ты непохожим на себя стал в дни войны. В мирные будни в училище ты каждый день писал письма жене и

каждый день получал весточку из дома. Улыбка не сходила с твоих губ. Мы понимали друг друга без слов. В наших глазах светилась братская привязанность. Было одно желание: быть рядом, делать все вместе. Попасть соседями на пост в наряде, быть за одной партой в классе, готовить сообща домашние задания, сочинять письма. У тебя, Коля, наверное, как и у меня, не было военной косточки. Голова шла кругом от прочитанных книг. Мы были влюблены в Чехова, так как, по нашему единому мнению, в его произведениях сплеталось воедино великое и мелкое, радостное и скорбное. И все до удивительного просто. Почему-то после прочтения книги в наших блокнотах оказывались одинаковые цитаты. Из «Жана Кристофа» Ромена Роллана мы выписали одни и те же слова:

> «Когда человек полон жизни, он не спрашивает, зачем он живет, он живет для того, чтобы жить, потому что жизнь — чертовски славная вещь».

Осенью сорок первого стало известно, что родной город Коли захватили немцы. Жена оказалась за линией фронта. Колю словно подменили. Он ходил темнее тучи. А как помочь, как утешить? Помнилось, у того же Ромена Роллана говорилось, что если в человеке убита радость жизни, то далеко не уедешь.

В треугольничке, присланном Колей, сообщалось, что он получил наконец назначение на передовую и в связи с этим воспрял духом, начинает «оживать».

Этой весточке нельзя было не радоваться. Я тут же послал Коле восторженное письмо. Ответ пришел не скоро, и не от Коли, а от командира части:

> «Нашего любимого друга Франчука не стало. Он геройски погиб на своем посту от вражеской артиллерии. За смерть его отомстим врагу».

В тяжком потрясении рождалась простая и ясная логика: «Мстить! Мстить! Убитый фашист лучше живого…»

Горе горем, но есть у всех и каждодневные обязанности, которые положено безукоризненно выполнять.

От Валдая через топи и леса пробились к нам саперы, проложив прочную лежневку, по которой двинулся автотранспорт с нужными нам, как воздух, грузами.

Поступил приказ срочно эвакуировать раненых. Люди плечами толкали по восстановленной железнодорожной колее со станции Пола уцелевшие вагоны и платформы.

Появились две платформы и у нашего медсанбата. Сестры,

санитары, врачи, отказывавшиеся от пищи в пользу раненых, еле передвигали ноги.

С помощью работников медсанбата ребята взбирались на платформы. Транспорт тронулся. Каждый из парней по-своему — кто взмахом руки, кто улыбкой, кто нежданной слезой — прощался с людьми, спасшими им жизнь.

А природе будто не было никакого дела до человеческих печалей. Она торопилась залечить, скрыть раны, нанесенные земле. На полях и пригорках распластались зеленые ковры. Расхохлились ивы, проснулись от зимней спячки сосны и ели. Вдоль дорог зияли глубокие воронки. В деревнях черными обелисками высились печные трубы. Обнажились погибшие от мороза сады, сваленные снарядами и бомбами заборы. День и ночь моросил дождь. Передовая затихла. Молчали пушки и пулеметы. Изредка раздавались автоматные очереди.

Но ни тишины, ни благодатных запахов весны мы не воспринимали. Пахло падалью. На полянах, вдоль тропок и дорог — всюду оттаявшие трупы в шинелях и кителях мышиного цвета.

Одного эсэсовца пуля застигла прямо на дороге. Простреленная каска откатилась в сторону. Убитый не успел разжать руку, в которой держал чемодан. Крышка распахнулась, рассыпалось имущество фашистского солдата. Здесь банки с сапожной ваксой, набор щеток, фотоснимки. Коллекция их свидетельствовала о духовном облике фашистского ублюдка. Порнографические открытки лежали вперемешку с семейными реликвиями. На одной из фотографий этот немец — в кругу веселых, смеющихся мужчин и женщин. Новенькая военная форма на новобранце. Все рады. Еще бы — впереди интересная прогулка в Россию… Прогулялся, фашист! Прогулялся до Лычкова!

Лычково, Лычково! Не забуду тебя я вовек! На этой земле весной сорок второго Андрей Батурин, обнимая, как брата, поздравил:

— Рад за тебя! Теперь ты член ВКП(б). Комиссар в полном смысле слова. Прошел и оправдал свой кандидатский стаж не где-нибудь, а в боях!

ВАСИЛЬЕВЩИНА

Пришло второе военное лето. В жаркий, знойный день, когда голова шла кругом от дурманящего запаха ландышей, распустившихся под окнами землянки, получил письмо от Коли Лисуна. Друг просил, чтобы я, по возможности быстрее, побывал в «Знамени Советов», так как есть важный разговор.

Письмо заинтриговало. И без этой весточки я жил воспоминаниями о дружном газетном коллективе, тосковал. С Колей Лисуном мы еще прошлым летом совершали маршруты на передовую.

Я завидовал тому, что Коля раньше меня нашел себя в газете. Ему удавалось выискивать какие-то простые и в то же время значительные слова, чтобы описать человека на войне.

Встретил Меня Коля восторженно:

— Пришел! Молодец!

А я с места в карьер:

— Какой же, Коля, разговор? И притом «важный»?

— Новостей полно! О новом приказе Наркома обороны не слышал?

— Нет. Я же работаю в глухой провинции. К нам, на передовую, новости приходят с опозданием. Присели на пеньках.

— Ну так слушай. В приказе товарища Сталина № 227 есть короткие, но четкие слова: «Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв». Нам, газетчикам, как нас инструктировали, отныне положено лучше вникать в суть дела и не давать поблажки тем, кто плохо, неумело ведет бой. Это — во-первых!

Во-вторых, наша «Знамя Советов», скажу тебе, сплошная кузница газетных военных кадров. Кажется, еще при тебе откомандировали Евгения Поповкина. Теперь он редактор газеты 27-й армии. Недавно уехал и Юрий Корольков. И тоже редактором в 1-ю Ударную армию. Гильманов — наш ответственный секретарь — редактор фронтовой газеты, которая выходит на татарском языке. Как видишь, ряды наши поредели. Редактор Владимир Борисович Фарберов днем с огнем ищет газетчиков. Пошли к нему. Он, кажется, у себя в землянке.

— Не пойду! Подумает еще, что я напрашиваюсь обратно к нему!

— Чудак! Он же посоветовал тебе написать письмо.

Я ожидал официальной встречи, но полковой комиссар, отложив в сторону бумаги на столе, предложил прогуляться. Придерживая правой рукой трубку, хотя она не дымила и табак,

видно, давно уже испепелился, он начал разговор издалека. Полковой комиссар будто извинялся за то, что осенью откомандировал меня в дивизию. Но то, мол, была не его «злая» воля. Он предлагал мне вернуться в «Знамя Советов», теперь уже навсегда…

И снова я в отделе Михаила Строкова. Здесь есть новичок.

— Политрук Александр Калинаев! — лихо отрекомендовался он.

Саше двадцать один год. Он чуть моложе меня, но вид у него болезненный. Странно даже, что июльское солнце не опалило кожу на его лице и руках. Позже он охотно рассказал о себе.

Прошел фронтовое крещение на ближних подступах к Ленинграду, был сапером. Говорят, что сапер ошибается раз в жизни. Пока еще не ошибся. Но подкосил голод. Опух, ноги не волочил. Вывезли по ледовой Дороге жизни на Большую землю. Попал в военно-политическое училище. Двухгодичную программу прошел за несколько месяцев, одним словом, по-военному. Был рядовым, стал политруком. И снова сапером. До войны пробовал перо в многотиражке Вознесенской пристани на реке Свирь. Учился в Ленинградском институте журналистики.

— Выходит, мы с тобой однокашники!

— Вот так номер! Мир тесен! В институте не встретились, нашли друг друга на фронте.

— Ну а как же ты в «Знамени Советов» оказался?

— Случай… В конце апреля сорок второго года фашисты пробились по шоссейной дороге в район Демянска. Они отвоевали узкую полоску земли, по которой подбрасывали окруженным войскам подкрепления и боеприпасы. Эта полоска земли зовется отныне Рамушевским коридором. Там, в горловине котла, есть село Васильевщина. Ему я обязан своей карьерой фронтового газетчика. Не ведомо мне, как узнал о моем газетном прошлом полковой комиссар Фарберов. Только получаю предписание сдать саперную роту и отправиться в танковую бригаду в качестве корреспондента армейской газеты. После боя написал очерк «Танковый поединок». Послал его с нарочным в редакцию. Даже не верится, что с ходу, без правки пошел он в номер. Видно, в угаре написал.

— Как чувствуешь себя в новой обстановке?

— Неловко. После саперной роты вроде бы не у дел. Все сидят, корпят над бумагой с утра до вечера. А у меня вылетят строчки, что из пулеметной ленты, а потом хоть в потолок поплевывай.

— Это поначалу, узнаешь еще муки творчества. Бывает, что за день ни одного слова из себя не выдавишь. А что корпят все —

это ты верно подметил. И знаешь почему? Редактор Владимир Борисович не терпит, чтобы люди слонялись без дела. Он при каждом удобном случае дает понять, что журналист должен писать и писать, чтобы иметь большой задел и заметок, и зарисовок, и статей, и стихов, и снимков. Журналист на то и журналист, чтобы писать. Если он этого не делает, то пропащий человек. Он разучится творить. С такими сотрудниками зачахнет газета…

Жизнь в «Знамени Советов» пошла своим чередом. Тот из нас, кто находился не в командировке, а в редакции, никогда не имел свободного времени. Мы «творили» даже в том случае, если в наших блокнотах не было ни единого фактика. Саша Калинаев и я занимали свое рабочее место за крохотным столиком и начинали «создавать образы»:

> «На деревьях лопнули почки. Днем опьяняюще душно, а ночью прохладно. Надрывно поют соловьи. Где-то рядом напоминает о себе кукушка. На рассвете парашютиками распускаются подснежники, а вечером сворачиваются. Потянулся к небу колокольчик. Природе нет никакого дела до войны».

Сочиняли так, просто для себя. И не заметили, как пустячные зарисовки вызвали желание соперничать друг с другом, чтобы показать, кто лучше видит детали и мелочи фронтовой жизни.

Кроме организации материалов об опыте боев Саше Калинаеву, Володе Авсянскому, мне и другим «батракам» полагалось доставлять информацию. Заметки, занимающие на полосе несколько строк, должны были стрелять фактами. Они дополняли солидные статьи, давали представление о размахе и разнообразии фронтовых событий.

В погоне за информацией мы, молодые журналисты, всячески изощрялись, стараясь переплюнуть друг друга. Как-то сияющий Саша притащил заметку «Инициатива повара». В ней сообщалось:

> «Недалеко от кухни в кустах на толстом пне установлено противотанковое ружье. Повар Анатолий Курганов занимается своей обычной работой.
>
> Но как только в воздухе появляются гитлеровские пираты, повар перебегает от кухни на свою огневую позицию и бронебойно-зажигательными пулями бьет по самолетам врага. Инициатива повара Курганова подхвачена всеми работниками тыла подразделения т. Ланецкого».

Саша утер нам нос, но и мы не остались в долгу. В газете появились такие заметки:

> «Комсомольцы подразделения, где политруком т. Смолянский, по-боевому включились в работу по сбору металлолома. Комсомолец Малюков обязался собрать и привезти на своей машине во время холостых поездок тонну черного и 20 кг цветного лома. Ремонтная бригада т. Мочалова — собрать 40 кг цветного и одну тонну черного. Сейчас в подразделении уже собрано 7 т лома».

Или такая заметка:

> «Красноармеец Иван Мухин взял на фронт гармонь. Она находится в обозе. В часы затишья Мухин приносит в окопы гармонь. Друг Ивана, Афанасий Мерзляков, хорошо поет. По просьбе солдат солист исполняет песни. Чаще всего заказываются «Моя Москва», «Катюша».

Сослужили свою службу и такие заметки, как «Зелень — в пищу бойцов»:

> «Щавель, крапива, молодые листья березы и черной смородины — хороший противоцинготный витамин. Эту приправу, освобожденную от примесей и стеблей, хорошо добавлять во все блюда по 20—30 граммов. Зелень хорошо использовать для приготовления щей».

Трудно сказать, кто из нас держал первенство по информации. Да это в конце концов неважно. Мы были рады, что от такого соревнования выигрывала газета. Мы жили ради нее, газеты, чтобы она была для каждого бойца добрым советчиком, другом, учителем, умным собеседником.

Дополнял наши информации и радист Павел Мусько. Почерневший от напряжения и усталости, он днем и ночью записывал по слогам дикторов ТАСС. С чувством исполненного долга вручал он пачки листков секретарю редакции Максиму Нечетову. Включались в работу наборщики и печатники.

Газеты, листовки с сообщениями Совинформбюро каждое утро доставлялись в окопы. Солдаты читали:

> **«27 мая 1942 года (ТАСС).** Кузнецкие металлурги дают стране дополнительно чугун, сталь и прокат в счет обязательств, принятых в социалистическом соревновании. Двадцатидневный план выполнен в мае по

всему металлургическому циклу. Коллектив третьей домны выплавил уже 3000 тонн сверх программы. Первый мартеновский цех дал дополнительно 4000 тонн стали. Первое место занимает коллектив стана «Пятьсот».

«6 июля 1942 года (ТАСС). С каждым днем наши артиллерийские, оружейные, минометные и другие заводы дают все больше и больше оружия Красной Армии. Один только завод в мае выпустил сверх плана вооружение для нескольких артиллерийских полков».

«6 июля 1942 года (ТАСС). Знатная трактористка страны, депутат Верховного Совета СССР Паша Ангелина работает сейчас в Казахстане, в Теректинском районе. За 15 дней ее бригада выполнила на пахоте полугодовую норму и сэкономила 1600 кг горючего».

Сухие, почти телеграфные сообщения. Мы привыкли видеть их ежедневно в газетах. Напечатанные на листке с грифом «Прочти и передай товарищу», эти вести из глубокого тыла были для бойцов дороже куска хлеба. Они давали возможность чувствовать напряженный и деловой пульс страны.

Пришла в те дни радостная весточка и для меня. 1 июня 1942 года жена сообщила: «Павка начал говорить. Парень растет толковый, послушный». Всего несколько строк, а как они дороги и тревожны! Я не имел возможности видеть сына. Трудно даже представить, какой он. Хоть бы взглянуть одним глазком. Неужели так и не доведется?..

И вдруг на коленях фотография. Она выпала из треугольника. Сын! Снимок сделал любитель. Не сумел половчее устроить мать и ребенка перед аппаратом. Жена держит Павлушку под мышки, чтобы создать впечатление, будто он стоит на ее коленях. Но хитрость не удалась. Разве выдержат парня такие тонкие ножки? Да, не манной кашей кормит его мать. В письмах родные не жалуются на трудности, а рахитичные живот и ножки ребенка говорят сами за себя.

Павка совсем не такой, каким иногда снился мне. Но ничего! Придет время — окрепнет. Был бы путевым, любил бы мать, помогал бы ей, если случится со мной непоправимое. За сына стоит воевать! За него, за семью, за счастливое будущее!

Калинаев не видел моих радостей и тревог. Он уже несколько дней находился на передовой. Вернулся расстроенный:

— Торчал в районе Васильевщины. Красивое село исчезло с лица земли. На месте домов — одинокие печные трубы. Васильевщина островком высится среди болот, где зреет клюква и

брусника, а мох и кустарник оплетены минными полями и колючей проволокой. Видел много, а на бумаге смотри какая сухомятина получилась.

Саша протянул мне лист с перечеркнутыми фразами.

> «Земля содрогалась от артиллерийской канонады, — читал я. — Вслед за огневым валом пошли танки, стрелковые соединения. Фашисты не успели опомниться, как их огневые точки были подавлены.
>
> Впереди — населенный пункт. Ломая яростное сопротивление врага, пробивались танки орденоносца старшего лейтенанта Гусакова и лейтенанта Спорова. Завязался ожесточенный бой внутри обороны противника. Били немецкие пушки. Советские танкисты огнем и гусеницами уничтожили 5 минометных и 3 артиллерийские батареи, разрушили 12 дзотов. На поле боя немцы оставили около двухсот трупов.
>
> Героически дрался в этом бою комсомольский экипаж младшего лейтенанта Катаева. Его машина дважды была подожжена вражескими снарядами, но экипаж продолжал сражаться.
>
> Командование дало высокую оценку боевой деятельности танкистов. Всему личному составу подразделения Кульбачева объявлена благодарность».

— Ну как? — спросил Саша.

— Информация неплохая, а опыта, технологии боя нет. Пойдем проконсультируемся у нашего стратега Пети Белого.

Петю мы нашли в соседней палатке, именуемой секретариатом. Он расхаживал из угла в угол и диктовал машинистке только что доставленный с коррпункта оперативный материал. Сдав заметку секретарю Максиму Нечетову и получив «добро», Петя занялся с нами.

— Вы же люди военные, должны детали подмечать, — упрекнул Петя.

— Какие, например?

— А то, что танкисты Ротмистрова, Черняховского и Лелюшенко люди с головой, воюют умно, с выдумкой. Не заметили, что танкисты действуют не одни, а с десантами автоматчиков на бортах танка. Это ли не пример отличного взаимодействия пехоты и танков? Не обратили внимания, что у машин расширенные гусеницы, которые сооружены не на заводе, а здесь, на передовой, силами ремонтников. Без этого танки на болотах и шагу бы не сделали. А надписи на танках вы тоже не прочли. А ведь они, эти надписи, говорят о многом.

Разве не звучит: «Челябинский комсомолец», «Горьковский пионер»! Небось экипажи этих танков отчитываются о своих боевых делах перед комсомольцами и пионерами.

Поразмыслив, Петя продолжал:

— По моему мнению, друзья, деталь в корреспонденции — наиважнейшее дело. А бои за Васильевщину очень поучительные. Летчики, например, очень эффективно помогают нашей артиллерии. Они с воздуха ведут корректировку огня наших артиллерийских батарей. Особенно удачна такая работа в ночное время. Я бы на вашем месте пулей слетал в 133-ю стрелковую бригаду. Двадцать дней два батальона этой бригады, заняв круговую оборону, дрались с фашистами на территории противника. Бои за Васильевщину, — продолжал Петя, — надо хорошо осмыслить. Бьемся мы не только за высоту, а за то, чтобы снова замкнуть котел. Пока сделать нам этого не удалось, но и немцам приходится туго. Я был на допросе пленных. Командир вражеского взвода, например, рассказал, что он прибыл в район Рамушевского коридора 17 июня. Воевал два дня — и «испекся». 8-я танковая армия, в которой он служил, имела на вооружении машины чехословацких заводов. За шесть последних месяцев дивизия потеряла 70 танков, 130 повреждены.

Другой немец признался, что прибыл под Старую Руссу в пешем строю. У реки Ловать видел военное кладбище — полторы тысячи крестов. Солдаты пехотного полка, куда влилось пополнение, чувствуют себя скверно, так как каждый день — потери, потери, потери… Вот и выходит, что крепко застряли немцы под Демянском. Фронт наш сковал крупные силы противника. Это — реальная помощь другим участкам военных действий… Вот вам, друзья, что такое Васильевщина! Думаю, что бои, которые ведут сейчас части 11-й и 1-й Ударной армий, будут тщательно изучаться. Как-никак здесь накапливается опыт любопытных операций Красной Армии по окружению. Попомните меня. Учтут, обязательно учтут советские полководцы и наши плюсы, и наши минусы. Получат немцы не один котел.

СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИЗОШЛО

В июле и августе 1942 года в сводках Советского информбюро сообщалось, что наши войска вели бои с противником в районе Воронежа и Миллерово. На других участках фронта существенных изменений не произошло…

Между тем фронтовая жизнь ни днем ни ночью не протекала без забот. Советские самолеты в сложных метеорологических условиях бомбили военно-промышленные объекты города Кёнигсберга в Восточной Пруссии. 21 июля, например, в действующих частях из уст в уста передавалась радостная весть о том, что в результате одного только налета советских самолетов на Кёнигсберг в городе возникло 38 очагов пожара, из них 17 пожаров — в центре города, из которых два больших размеров. 14 пожаров, возникших на юго-западной окраине города, сопровождались десятью взрывами, семь очагов пожара и три сильных взрыва возникли на северо-западной окраине города. Все наши самолеты вернулись на свои базы.

В те же дни за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и отвагу награждены медалью «За боевые заслуги» младший лейтенант Журавлев Анатолий Матвеевич, красноармеец Игнатович Михаил Романович, лейтенант Каханов Михаил Константинович, младший воентехник Колесников Георгий Антонович, военврач 2-го ранга Дановская Нина Викторовна, санинструктор Пудсян Елена Ивановна. Такие сообщения печатались во фронтовых газетах из номера в номер.

Мне довелось быть очевидцем, как на передовой начальник политотдела армии бригадный комиссар В. Шабанов вручал орден Ленина снайперу Цирендаше Доржиеву, который уничтожил 180 гитлеровцев. Доржиев дал слово с честью оправдать высокую награду и вдвое увеличить счет истребленных немцев, выполнить наказ своих земляков-бурят, у которых он побывал в качестве делегата Северо-Западного фронта.

Просто, без рисовки жили герои.

В болоте, где нет живой души, рвутся мины и снаряды. Летят комья грязи. Воронки моментально заполняются водой. Солдат, сворачивая козью ножку, замечает:

— Фрицы мелиорацией занялись. Наши болота осушают.

Доржиев ответил:

— А на соседнем участке тихо. У голодных немцев праздник, так как снайпер Фарамонов немецкого битюга пристрелил. Распотрошили — жрут.

— Сегодня на рассвете, — ввязывается в разговор пожилой солдат, — я троих успокоил.

Сказав так, между прочим, меткий стрелок отошел в сторону, устроился на пенечке и неторопливо стал писать:

> «Здравствуйте, дорогое семейство! Низкий поклон односельчанам! Я уже из снежных окопов вытаял, слава богу, жив и здоров…»

Здесь же, среди снайперов, и комиссар. Пальцы у него тонкие и изящные, как у музыканта. По его разговору с красноармейцами чувствуется, что человек он сугубо штатский.

— Окоп надо углубить, непременно.

— В карауле надо быть внимательнее, непременно.

— Всегда и во всех случаях маскироваться надо лучше, непременно.

Это «непременно» было сильнее приказа, создавало в окопах какую-то добрую, семейную обстановку.

Принесли кашу, сухари, чай.

— Это должно быть и на фронте вовремя, непременно.

Не хотелось уходить от этого мирного военного человека.

— Встретимся ли еще?

— Непременно, — ответил комиссар.

Этому очень хотелось верить.

Не все наблюдения ложились в строчку. Возвращаясь в свою газетную семью, мы охотно делились новостями. Из этих рассказов создавалась яркая мозаика окопных будней и будней ближнего тыла.

С нами, военными, всерьез соперничали штатские газетчики. Чего стоила, скажем, Тамара Никонова! Приставленная в помощники к радисту Павлу Мусько, человеку крутому и не расположенному к женскому полу, она успевала вырываться на передовую и часто «попадала» в номер. Тамара умела увидеть, подметить то, чего многие из нас не замечали. Особенно удавалась «женская» тематика. Ее радостно встречали санитарки, медицинские сестры, врачи. Тамара умела находить с ними общий язык. Как-то, вернувшись из части, она восторженно рассказывала:

— Попала на этот раз в хороший переплет. Буду теперь знать, что такое вражеский артналет. Но суть не в этом. Одному нашему бойцу мина, не разорвавшись, впилась в ногу. Мужички санитары оцепенели, растерялись: будешь помогать пострадавшему, сам

взлетишь на воздух. И в этот момент к раненому подошла щупленькая девчонка и приказала санитарам: «Помогите поднять ногу! Кому говорю! Ну, подходите, не бойтесь!» Она взяла мину за стабилизатор, плавно вытянула ее из ноги и оттащила в сторону. Все, кто был рядом, будто онемели. Даже раненый перестал стонать. Я не меньше других была потрясена поступком медицинской сестры! Зовут ее Галя Зенковская.

Тамара Никонова разыскала многих неприметных, маленьких героинь и воздала им должное на страницах газеты.

Ваграм Апресян побывал у разведчиков, вернувшихся из поиска. Ребята поведали о трагедии, происшедшей в одном из наших сел на оккупированной территории. У фашистского офицера пропало байковое одеяло. Его пропил денщик офицера, а гитлеровец заподозрил в краже советских людей. Негодяй из-за байкового одеяла спалил все село, а жителей расстрелял.

Видели мы, газетчики, и наш ближний тыл…

Дождливая весна и жаркое лето вызвали буйный рост хлебов. В августе на поля пришли женщины. Необычной была эта страда. Пчелами жужжали осколки зенитных снарядов, вздрагивала земля при выстреле пушек, но жатва не прекращалась. Одна за другой вырастали копны. Тяжелые, налитые колосья верхних снопов смотрели в борозды. А дел впереди еще непочатый край. Ждут рабочих рук и свекловичные полосы, словно залитые запекшейся кровью, и картофельные поля с отцветающей ботвой.

Вечером в разрушенных деревнях шумят жернова. Женщины попеременно крутят рычаги самодельных мельниц. Мучная пыль пудрой ложится на потные лица, натруженные руки. Старики и старухи разжигают каганцы. Дети, глотая слюну, с нетерпением ждут лепешек из муки военного урожая.

В правлении колхоза «Новый путь» я увидел свежий номер стенной газеты. Застучало сердце от такой встречи! Ведь с таких выпусков начинались пути в журналистику многих из нас, рабкоров и селькоров. Выходит, что война не сломала уклада нашей жизни, пришедшего в каждый рабочий коллектив вместе с революцией и Советской властью!

В стенной газете все как положено: передовая статья, заметки о людях, отличившихся в труде. Есть и стишки местного поэта, наивные и назидательные:

Шура ходит по деревне,
Меняет платья каждый час,
С улыбкой смотрит по окошкам,
Не дома ль лейтенант сейчас?
И как ведется, не впервые —

Нельзя момента упускать.
Но нужно, Шура, тебе
И в дела колхозные вникать!

Интенданты организовали в деревне сапожную мастерскую. Работают здесь деревенские ребятишки. В просторной избе на низких стульях сидят мальчишки лет десяти. Все в фартуках, обращаются друг к другу солидно, как взрослые, знающие дело мастера:

— Товарищ Иванов!

— Слушаю, товарищ Мартышкин!

Ростиком товарищ Иванов вровень с подоконником, а движения уверенные, степенные. Ничуть не смущаясь посетителей, он сноровисто крутит суровые нитки, берет кусочек мягкого вара, смолит дратву. Другой мастер, одногодок товарища Иванова, орудует острым ножом, ловко поворачивает отрез войлока, кроит стельки.

На стене — список рабочих. Возле каждой фамилии — показатель выполнения плана, Против фамилии товарища Иванова — цифра «102».

Ваграм Апресян в одной из разбитых моторных лодок на Ильмень-озере обнаружил линолеум, которым были обшиты стенки кабины. Куски этого линолеума сослужили хорошую службу газете. Нередко случалось так, что останавливалась наша походная цинкография. В такие моменты приходил на помощь Апресян. Он рисовал портреты солдат, карикатуры на врага, сам вырезал «клише».

Апресяна мы звали в шутку ходячей энциклопедией. Ваграм мог часами рассказывать всевозможные истории про жуков, птиц, животных, говорить об учении Дарвина, об искусстве Палеха, живописной школе Рублева.

— Давали мы не раз по зубам фашистской дивизии «Мертвая голова», а знаете ли вы, что такое сам термин «Мертвая голова»? — спрашивал Апресян.

И отвечал:

— «Мертвая голова» — это сумеречная бабочка, способная издавать пищащие звуки. Распространена она во всей Южной и отчасти в Средней Европе. В СССР имеется на юге Украины, Северном Кавказе, в Закавказье. Сумеречная бабочка не может быть синонимом фашистской дивизии «Мертвая голова». Есть еще в природе широконосые обезьяны, род которых именуют «Мертвой головой». Живут эти широконосые обезьяны большими стадами, очень чувствительны к перемене климата. Фашистские

головорезы из «Мертвой головы» очень даже смахивают на обезьян, стремление к стадности у них есть. Только они поторопились менять климат. Как бы не околели!

Многие рассказы Апресяна становились находкой для отдела юмора. Одним из шедевров «Знамени Советов» была газета в газете «Вралишер Тарабахтер». Каждый номер «Вралишера Тарабахтера» посвящался определенной теме. Художник Цваня Кипнис, «писательская гвардия», каждый сотрудник считал за честь выступить в этом разделе.

…Кончалось второе военное лето. Фашисты по-прежнему сидели в котле под Демянском. Существенных изменений на нашем участке фронта не происходило…

ДРУГ НАШ — РУССКИЙ ЛЕС

В сентябре — октябре 1942 года главные события развернулись на южном крыле советско-германского фронта. Судьба войны решалась на Дону, в предгорьях Кавказа, под Сталинградом. В те дни и у нас дела пошли веселее. Когда мороз сковал землю, атаки стали успешнее. Немцы отчаянно огрызались, но вынуждены были пятиться. То в одном, то в другом месте трещали обручи Демянского котла.

Наши солдаты врывались в обжитые фашистами землянки, отделанные березой. Не щадил враг русской красоты. Березовой корой, как перламутром, покрывали фашисты стены блиндажей. Беспощадно пилили белоснежные стволы на нары, кресла и столики. Гитлеровцы создавали себе уют, считая себя хозяевами на нашей земле. Но не вышло!

Пехотинцы и артиллеристы располагались во вражеских «зимних квартирах», чтобы накоротке обогреться, вздремнуть.

Но на войне каждый новый день несет свои сюрпризы. Не сразу разгадаешь, насколько коварен враг.

Неожиданно среди ночи землянки вдруг начинали дыбиться от взрывов. По ним беглым огнем стреляли немецкие дальнобойные орудия. Оказывается, отступая, фашисты унесли с собой карты, на которых точно обозначены их бывшие пристанища. Отмечены на этих картах и все удобные укрытия для обозов и походных кухонь. Свирепствовали немецкие «кукушки». Тот, кто проявлял ротозейство, падал замертво.

В этих условиях был найден простой маневр: днем тщательно маскироваться, отдыхать, а к «работе» приступать ночью. С наступлением сумерек прифронтовая полоса оживала. В скрытых от вражеских глаз местах раздувался огонь походных кухонь. Скрипели салазки с котлами и термосами. К передовой тянулись повозки с боеприпасами, мясными тушами, хлебом, валенками. В тыл увозили раненых, трофеи, поврежденное оружие.

Подтягивались резервы. Ребята в маскировочных халатах волокли лодки с пулеметами, лыжи. Марш по заснеженным дорогам и тропкам отнимал много сил. С нетерпением ждали: когда же наконец передний край, чтобы скорее проглотить на привале ложку горячей каши, погреть руки о кружку с кипятком, передохнуть, а потом — в бой!

В эти короткие минуты перед атакой приходили раздумья.

…Русский лес. Ты всегда был другом. От ранней весны до поздней осени ты одаривал людей своими подарками: щавелем, земляникой, черникой, брусникой. Летом чуть свет матери

поднимали детей и вели их то по веники, то по грибы.

Лес радовал круглый год. С дорогой гостьей елью мы встречали сказочный новогодний праздник. В стужу лес приносил в дом благодатное тепло. В субботний день хлестал тело березовым веником. Лес кормил зайчатиной и дичью, лечил от всех болезней сушеной малиной, кореньями и почками.

Лес укрепился в сознании нашем мирным и благодатным. Но вот пришла к тебе злодейка-война. И ты остался верен своим соотечественникам. Ты сурово и мужественно принял сыновей своей земли, взявших в руки оружие. Ты помогаешь совершать стремительные набеги на неприятеля, устраивать засады, строить ходы сообщения, укладывать гати в непроходимых местах, создавать укрытия от снарядов и бомб.

Помогают солдату не только чащи, но и отдельные деревья. Березы, ели и сосны превратились в ориентиры, по которым наводятся на цель орудия и минометы, чтобы меткий огонь наших снарядов и мин наповал бил непрошеных гостей. С пышных вершин корабельных сосен и из густых зарослей истребляют врага наши стрелки-снайперы.

Ты, лес, лелеешь своих воинов в трудный час. В глубоких блиндажах обогреваешь их, помогаешь им чистить оружие, сушить портянки, отдыхать перед боем.

Ты вместе с людьми делишь радости и горести, несешь ради победы тяжкие жертвы. По твоим рощам и борам гуляют огненные смерчи. Снаряды срезают пышные кроны. Там, где недавно стояла прохлада и перекатывались освежающие волны зеленого моря, сиротливо торчат тысячи стволов-костылей. Мужайся, лес! Мы выстоим, мы победим!

В немецких землянках жить опасно: на полях и просеках под снегом минные поля. Но не бывает так, чтобы нельзя найти выход из сложного положения. Вот на опушке сбитый немецкий самолет. Чем не жилье? Несколько расторопных пехотинцев устраиваются в корпусе фашистского «юнкерса», затянули пробоину плащ-палаткой, развели костер. Благодать! Тепло и не дует. Есть уверенность остаться целым и невредимым, так как не будет же немец рвать свою собственную технику. Отделенный помогает красноармейцам «отойти» перед боем. У него на такой случай всегда есть острое словечко, анекдот.

— Зашел я однажды, ребята, побриться, — говорит младший сержант. — Парикмахер поплевал на кусок мыла и начал намыливать кисточку. Я ему: «Ты что, сдурел?» А он: «Это я из любезности к тебе. Кого не уважаю — плюю прямо на бороду…»

И смех в укрытии, будто нет близких разрывов.

Подготовилась к зиме и редакция. Редактор еще осенью

приказал строить землянки в сосновом бору своими силами, располагаться по отделам.

В составе нашего отдела армейской жизни публика особая: Владимир Перлин — человек в возрасте, кавалерист со всеми атрибутами: черные усы, прическа ежиком, глаза, как две дробинки, орлиный нос. Хлебом не корми — дай рассказать, как сочинять сценарии для научно-популярных фильмов, как альпинистом совершать восхождения на горные вершины, как жарить шашлыки, чем запивать. Игорь Чекин — поэт, прозаик, драматург, артист. Ваграм Апресян — литератор, художник и философ на все случаи жизни. Саша Калинаев и я — еще не объезженные рабочие лошадки, поставщики материала с передовой. Миша Строков — наш начальник — знаток военных уставов: и Строевого, и Дисциплинарного. Он требует от каждого из нас их неукоснительного исполнения. И боже упаси, если в материале, представленном ему на вычитку, допущена непростительная вольность, противоречащая букве устава.

Строков определил место для землянки рядом с секретариатом. Размерил участок, вбил колышки, помусолил ладони и приказал: «За лопаты!»

Сашу и меня не надо было учить, как поступать, когда начальник подает личный пример. Принялись копать, дело спорилось, песчаный грунт легко подавался.

— Так сразу и копать? — недоумевал Апресян. — Надо же проект набросать.

— Безусловно, — поддержал Владимир Перлин. — Нельзя фортификационную науку игнорировать.

— Не яму же роем, а жилье и рабочее место, — вставил Чекин. — Стены, потолок, каждая мелочь должны, так сказать, вдохновлять.

— Копайте! — повелительно сказал Строков. — Пока эти друзья чешут языком, день пролетит. Ночь на земле придется коротать.

Ваграм Апресян уселся на пенек, развернул планшет, достал листок бумаги, линейку, карандаш, принялся рассуждать: «Надо прежде всего высоту землянки определить. Из чего в данном случае исходить? Как вы думаете? Конечно же, из самого житейского!»

Апресян смерил взглядом каждого жильца землянки. Пристальнее всех рассматривал Чекина.

— У тебя, Игорь, если не ошибаюсь, рост около двух метров? — рассуждал Ваграм. — Вот и выходит, углубляться надо метра на два с половиной. А иначе, Игорь, вскочишь спросонку — и лоб расшибешь. Это одно немаловажное обстоятельство.

Второе — нас пять жильцов, надо раскинуть умом, как расположить нары, столики, где поставить печь.

— Копай! — грозно повторил Строков.

Яма наконец готова. Миша вместе с нами пошел заготовлять бревна. Человек он практичный, советы дает дельные: валить деревья в густых зарослях, пеньки прикрывать мхом, чтобы не демаскировать местность. Мы рубили сучья, разделывали пилой хлысты, таскали бревна, заготовляли сухой мох, носили кирпич из разрушенной деревни, месили глину.

А инженерная мысль наших сослуживцев все больше и больше разгоралась. Один дополнял другого:

— Какой вид накатов выберем, — консультировался с Апресяном Перлин, — плоский или с наклоном?

— Освещение, особенно дневное, не второстепенная вещь.

— Расположение печи должно обеспечить равномерное поступление тепла во все части помещения.

— Окна, пожалуй, надо сделать в двух местах, с выходом на восток и на запад, чтобы солнце присутствовало в землянке и утром, и вечером.

Не знаю благодаря чему, житейской ли мудрости Миши, нашей ли мускульной силе или соображениям наших спецов, но землянка получилась удобной и уютной. Слева от входа — нары в два яруса, как в спальном вагоне. Справа — ложе для начальника в один ярус. Прямо против двери стол для Строкова, Чекина и Перлина. Над столом, у самого потолка, оконце. Справа от дверей — печь с плитой. Рядом — наш с Сашей столик, а над ним небольшая рама.

Мы с Сашей жили в землянке мало. Чаще всего были в бегах. Перед походом на передовую получали по аттестатам сухой паек: сухари, сахар, концентраты, а иногда сливочное масло, гороховое пюре.

Пачечки с гороховой смесью и жиры мы оставляли в землянке и наказывали:

— Не трогать! Вернемся — накормим блинами.

Судя по всему, нашего возвращения ждали с нетерпением. Не успевал кто-нибудь из нас ввалиться в землянку, как Игорь Чекин докладывал:

— Дровишки заготовлены!

Перлин добавлял:

— Сковородочки на мази!

И дышит жаром плита. Чугун раскалился докрасна. Шипит на сковородке жир. Поспело разведенное водой гороховое месиво. Плеснешь ложку на сковородку — поплыло! Через минуту переворачивай. И блин готов. Стопка не успевает расти. Землянка

пирует, едят вперегонки, кому больше достанется. Игорь преуспевает больше всех. Свернет вчетверо, глотнет — и нет блина.

«Ешьте, наслаждайтесь, — думаю про себя, — накормлю до отвала».

Друзья поглаживают животы. Блины согревают душу, напоминают о мирных днях.

Как-то во время такой процедуры Чекин побледнел, присел на нары и плюхнулся на подушку. Побежали в санчасть. Пришел доктор, прослушал и, сделав укол, успокоил:

— Ничего опасного. Небольшой обморок от какой то перегрузки.

Чекин вскоре пришел в себя. Первый взгляд на плиту, спрашивает:

— А блины?

— Уже все сыты по горло… перегрузкой. Пора спать.

На дворе темень, хоть глаза выколи. Потрескивают от жгучего мороза стволы сосен. Бор вместе с дневальными охраняет сон людей, которые вчера создали заметки и очерки. Они уже набраны свинцовыми литерами и тиснуты на газетных полосах. Доброго вам пути на передовую!

ПУСТЫНЬКА

Пришел самый дорогой для советских людей праздник — 7 ноября. Фронт и тыл отмечали 25-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Советское информбюро не передавало экстренных сообщений об успехах наших войск. Но в этот торжественный день в сердце теплилась надежда, что вот-вот должен наступить перелом в нашу пользу. Для таких выводов были свои основания. Фашисты присмирели у Сталинграда, затухло гитлеровское наступление в предгорьях Кавказа.

Над окопами и землянками не трепетали знамена и транспаранты. И все же обстановка торжественной приподнятости ощущалась почти в каждом подразделении. Многим красноармейцам и командирам вручались правительственные награды. Утром выстроился в линейку весь личный состав нашей редакции. Редактор зачитал перед строем только что полученный из штаба армии документ. В притихшем лесу звучали слова:

> «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждены медалью «За отвагу»:
> Интендант 2 ранга Чекин Игорь Вячеславович…»

Горит гвоздикой планка с медалью «За боевые заслуги» на груди Коли Лисуна, Саши Калинаева. Вручена такая награда и мне. Распирала сердце радость и гордость, а нужных слов не находилось, хотя мысленно каждый из нас давал клятву до конца выполнить свой воинский долг перед Родиной, быть верным ей до последнего дыхания.

А вскоре, 19 ноября, радио принесло весть о нашем мощном контрнаступлении под Сталинградом. В те дни далеким эхом в честь наступающих отозвались дальнобойные орудия и «катюши» нашего фронта.

Под Старой Руссой есть деревня Пустынька, затерявшаяся в болотах, где чахли деревья и буйно плодился мох. Здесь и летом и зимой ходуном ходила почва под ногами. Деревня несколько раз переходила из рук в руки. Не забыть, какой выглядела Пустынька, освобожденная нами первый раз. Чернели развалины домов, на пригорке — разбитый снарядом немецкий грузовик, а рядом — разбросанный второпях домашний скарб: сундуки, иконы, детское пальтишко, цветная косынка и прядь льняных

волос, перевязанных розовой ленточкой. Наверное, мать или бабушка берегли эту прядь, чтобы потом, через многие годы, показать ее своей выросшей любимице… В Пустыньке не было ни души, ни одного свидетеля разыгравшейся здесь трагедии. Потом Пустынька снова оказалась в руках немцев. Все постройки сгорели, и остался, как мы говорили тогда, «населенный пункт», обозначенный на топографической карте.

Пустынька стала бельмом в глазу. Отсюда, как с маяка, хорошо просматривалась местность. Высотка вклинивалась в нашу оборону. От рассвета до заката немцы не давали поднять головы. Полки и батальоны, расположенные в урочище Вершинский Кремняк, не раз поднимались в атаку. Пехоту щедрым огнем поддерживали артиллеристы. Но броски ни зимой, ни летом не приносили успеха. Трясина не давала возможности действовать внезапно, в болотной тине глохли моторы танков, застревали самоходные орудия.

В конце ноября 1942 года стояла уже настоящая зима. В урочище притихли стройные сосны, припудренные инеем.. Из землянок штыками поднимались струйки дыма. По небу медленно разливалась холодная заря. Безоблачный небосвод не предвещал ничего доброго, так как хорошая видимость — помощник для вражеских наблюдателей и воздушных разведчиков. Таким было и утро 23 ноября. Из-за леса ухнули наши орудия. Канонада с каждой минутой нарастала. Похоже, что началась еще одна внушительная артиллерийская подготовка. Но спрашивается: для чего? Наши солдаты сидят в ватниках и шинелях, ушанки завязаны под подбородок. В такой одежде рукой пошевелить трудно, не то что наступать.

Но солдаты на этот раз остались на своих местах. Наступать приказано батальону морской пехоты. Моряки выстроились в прифронтовом лесу за первой линией наших окопов. Ребята в бушлатах, с автоматами и ручными пулеметами. На поясных ремнях — гранаты. В центре строя — матрос с развернутым знаменем.

Снаряды еще густо ложились на немецких позициях, а цепь моряков рванулась вперед, чтобы действовать вслед за нашим огневым валом. Парни легко, пружинисто перепрыгнули через наши окопы, преодолели нейтральную полосу и исчезли в дыму. Артиллеристы перенесли огонь, и снаряды рвались теперь в глубине вражеской обороны. Ухо стало различать треск автоматов и взрывы гранат.

После грохота наступила вдруг тишина. Чем кончилась дерзкая эта атака: успех или опять неудача? Медленно рассеивался дым, и, к великой радости нашей, в просвете

мелькнуло красное знамя, водруженное на высоте. Пустынька наша! Эта маленькая деревенька, конечно, не Сталинград. Но высота перестала быть неприступной, срезан аппендикс в нашей обороне!

Мы вместе с моряками ходили по траншеям, осматривали дзоты, подсчитывали трофеи. Лишь только сейчас можно было понять, почему эта высота не давалась легко, почему не раскалывался долго этот «орешек».

Пустыньку обороняли фашистские штрафники. За окопами в ходах сообщения стояли пулеметы: дрогнешь, отступишь с передовой хоть на шаг — пуля в спину. Такая же участь ждала немцев второй и третьей линий обороны. Животный страх заставлял фашистов насмерть стоять на своих позициях.

26 ноября 1942 года «Знамя Советов» сообщала, что в течение 25 ноября наши войска в районе города Сталинграда, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях. За время боев с 19 по 25 ноября нашими войсками захвачено орудий всех калибров — 1300, автомашин — 5618, 52 склада с боеприпасами, снаряжением и продовольствием. За 25 ноября противник потерял убитыми до 6000 солдат и офицеров.

На первой странице газеты публиковалось сообщение о том, что Народный Комиссариат Обороны вошел в Президиум Верховного Совета СССР с ходатайством учредить специальные медали для награждения всех участников обороны Ленинграда, Одессы, Севастополя, Сталинграда под названием: «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда».

Вторая полоса газеты была посвящена подвигу моряков Черноморского флота, действовавших в составе родной для меня 202-й стрелковой дивизии и овладевших Пустынькой. Почти три колонки занимала статья лейтенанта Семена Ртищева, рота которого в числе первых ворвалась в Пустыньку. Статья называлась: «Бой за опорный пункт» и излагала подробно замысел и исполнение операции. Рассказ лейтенанта дополняли своими заметками морские пехотинцы В. Щербаков, Е. Корольков. С моих пленок были изготовлены снимки с поля боя и портрет Семена Ртищева. Чернобровый Семен Ртищев, отрастивший усики, с автоматом через плечо, сурово смотрит на читателя, которому неведомо будет, что снял я героя в момент прощания с ротой. Об этом знаю только я.

А было это так. Семен в атаке получил серьезное ранение и никому об этом не сказал. Окровавленные бинты были скрыты под бушлатом, который он сменил в бою. Тайну эту долго

сохранить не удалось: выдали бурые выступы на спине. Медики потребовали, чтобы командир срочно эвакуировался в госпиталь.

В бою за Пустыньку полностью уничтожен фашистский гарнизон, захвачено 200 станковых и ручных пулеметов, пять артиллерийских орудий и много другого вооружения и боеприпасов.

Игорь Чекин посвятил морским пехотинцам стихотворение «Два бушлата», которое успело попасть в номер.

Рвал ветер у него бушлат,
Горело пламя флага.
Его отец — седой Кронштадт,
А мать его — отвага.

Он был на боевом посту,
Сражаясь вместе с нами.
Он первым нес на высоту
Простреленное знамя.

На берегу морском он рос,
Корабль всего дороже —
Ведь Малюченко был матрос,
Им Воробьев был тоже.

Но Малюченко вдруг упал,
Глаза его в тумане:
«В меня немецкий гад попал,
Возьми, товарищ, знамя!»

И Воробьев его берет,
И знамя песней славит,
И с ним бросается вперед,
И на высотку ставит.

Прославим боевой бушлат
От края и до края.
Отец у моряка — Кронштадт,
А мать — страна родная!

Пустынька наша! Для тех, кто дрался на Северо-Западном фронте, эта фраза говорила о многом. Еще в 1941 году старшему сержанту И. Мамедову, оборонявшему с группой бойцов Пустыньку и истребившему несколько десятков вражеских солдат и трех офицеров, Указом Президиума Верховного Совета СССР

было присвоено звание Героя Советского Союза. Теперь сказали свое слово морские пехотинцы.

Не раз бывал я в 43-й Латышской стрелковой дивизии. В ее полках свято хранили традиции отцов, которые рука об руку с русскими красноармейцами штурмовали Зимний, блестяще выполняли поручения Ленина в дни революции и годы гражданской войны. У латышей свой стиль — сосредоточенность и деловитость.

Я пришел в полк, который только что потеснил немцев. Саперы быстро и молча долбили мерзлую землю — готовили штабную землянку. Будет управление боем — будет успех. Командир — человек пожилой, по всему видно, прошел горнило многих боев. Бойцы любят его, гордятся им. Пока сооружается новая землянка, для командира очищен немецкий блиндаж. Под нарами чуть слышно скулит собака, породистая, рослая. Она недовольна тем, что щенка забрал и запрятал за пазуху ординарец. Глупой не понять, что ее чаду там, на груди ординарца, теплей. На улице свирепствует ледяной ветер. Там, на воле, — холод, снежная пустыня, смерть на каждом шагу. А в блиндаже тепло. Командир, сняв ремни, расстегнул ворот полушубка, неторопливо взвешивая слова, отдает распоряжения штабным. Связист крутанул ручку аппарата. В мембране отозвались, значит, связь со всеми подразделениями установлена. Докладывают батальоны, докладывают подразделения тыла. Докладывают кратко и четко: прочно закрепились на завоеванном рубеже, готовы к выполнению новых приказаний.

Привели пленного. Переводчик разводит руками. На все вопросы один ответ: «Нихт ферштейн!»

— Кто же ты?

— Испанио. Голубая дивизия.

Пленного трясет, как в лихорадке.

— От страха, — смеются в землянке.

— Нет! Скорее, от мороза. Дошел Гитлер до ручки, у Франко помощи запросил!

На пути в редакцию встретил Колю Лисуна.

— Как дела?

— Располным-полна моя коробочка! Только бы «отписаться».

— Ну, а я в поход. Есть, между прочим, новость.

— Какая? Посвяти.

— А ты приглядись.

Коля сбросил полушубок, вытянулся в струнку. На его плечах красовались погоны с тремя звездочками на каждом. Коля, приложив лихо руку к виску, гаркнул:

— Позвольте представиться, старший лейтенант Николай

Лисун!

— Что за представление, Коля?

— Никак нет! Института военных комиссаров отныне нет. Есть общие воинские звания. Так что снимай, политрук, кубики, запасайся звездочками.

— Могу быть свободным, товарищ старший лейтенант?

— Будьте любезны, товарищ политрук. Вернусь, поздравлю, товарищ старший лейтенант.

Летучки в редакции с каждой педелей становились острее. Бьют теперь и за промахи, и за стиль. Нет пощады громким, ничего не говорящим фразам и эпитетам вроде «стремительных атак» и «ураганного огня». Приходится, как говорят, подтягивать ремень потуже. Вместе со «Знаменем Советов» на передовую поступает и фронтовая газета «За Родину», где сотрудничают Борис Изаков, Михаил Матусовский, Сергей Михалков, Степан Щипачев и другие именитые писатели и журналисты.

— И мы не лыком шиты, — успокаивает Игорь Чекин. Он по-прежнему подвижен, суетлив, горяч. Пишет быстро и легко, любит диктовать машинистке.

В декабре 1942 года по заказу Управления по делам искусств Чекин написал пьесу «Евдокия Ивановна». В эпиграфе книжечки, выпущенной издательством «Искусство», говорилось:

> «Боевым друзьям — коллективу армейской газеты «Знамя Советов» — пьесу, написанную на фронте, посвящаю».

Мы всей редакцией слушали эту пьесу. В пой шла речь о партизанах, об отважной русской женщине, о священнике отце Павле и звонаре Никодиме. Действие происходило в немецком тылу и на фронте.

Евдокия Ивановна героически погибла. В прологе отец Павел бьет с колокольни из пулемета по немцам и наказывает своему прислужнику Никодиму звонить во все колокола, чтобы немцы слышали, как проклинает их Русь, чтобы перезвон колоколов славил нашу землю, славил Евдокию Ивановну.

Пьесу поставили в одном из московских театров. Игорь был на премьере. Вернулся обеспокоенный тем, что на постановку валом валят богомольные старухи.

— Почему? — удивились мы.

— Второстепенную роль отца Павла играет сам режиссер. Как он подает попика! Как обставил сцены в церкви, на колокольне! В зале малиновый звон. Старухи прут на спектакль вместо церкви. Переиграл попика, явно переиграл! Как бы не испортил мне всю обедню…

Игорь не любил «сухие» материалы: информацию, деловые статьи о боевом опыте. По этому поводу он без конца импровизировал. Как-то, заглянув мне под руку, он выпалил: «Эх, Женя, зачем писать о пекарях? Поверь, все это проза. Не лучше ли поговорить о прелести уходящего мороза!» Саше Калинаеву, корпевшему над срочной статьей в номер, Чекин продекламировал:

Изгоним, братцы, с армейских страниц
Остатки, остатки крупиц.
Мы очерком, братцы, заполним страницы
И сим похороним навеки крупицы!

Этого, разумеется, не мог терпеть начальник отдела армейской жизни Миша Строков. Оторвавшись от бумаги, он некоторое время смотрел, как худой, длинный Чекин мотается по землянке, потом начинал стыдить за то, что он мешает людям работать. Не найдя собеседника, Игорь надевал шубу и отправлялся искать «образы» в сосновом лесу. Часы отсутствия шумного поэта были самыми продуктивными в отделе.

КАПИТАН С ПАЛОЧКОЙ

Игорь Чекин возбужденно рассказывал о своей поездке в 126-ю отдельную стрелковую бригаду. Он не мог обходиться без восклицательных эпитетов. И его можно было понять. Человек почти неделю провел в части, которая формировалась на Урале.

— Какие люди, какие люди! — сыпал Игорь. — Ты даже не представляешь! А главное, мне впервые пришлось увидеть в деле политработников. Как-нибудь напишу о комиссаре бригады москвиче Михаиле Акимовиче Лазаревском. А сейчас одно желание — выплеснуть очерк об агитаторе бригады Иване Ахрамкове. Этот капитан, учитель, родом с Рогачевского района Белоруссии, буквально покорил меня.

— Чем же?

— Я вроде бы писатель, что называется, инженер человеческих душ, а вот так просто, по-человечески, как Ахрамков, не мог бы обходиться с солдатами.

— Чем же поразил тебя этот капитан?

— Напишу — прочтешь. А пока посмотри вот это.

Игорь протянул мне записную книжечку.

— Что это за каракули?

— Записки Ивана Ахрамкова. Выпросил я их на время у капитана.

«Год 1942-й.

Наша 126 осб прибыла на Северо-Западный фронт. Наш участок на передовой в районе Дубовец — Васильевщина. Первое боевое крещение получили в боях за Большие Дубовицы. Атаки прошли без больших потерь. Это у всех вселило уверенность в дальнейших успехах.

2—10. Деревня Замошка должна быть нашей. Такова задача. Взяли!

25—10. Готовился к беседе с бойцами нерусской национальности. Они прибыли в нашу бригаду с пополнением. Большую помощь оказал мне татарский поэт Шариф Мударисов. Он подсказал, что к беседе неплохо было бы достать пиалы, зеленый чай. Пусть парни вспомнят о родной земле, о доме.

Хоть и хлопотно, а это чаепитие надо обязательно устроить. Это единое мнение комбрига Ушакова и комиссара Лазаревского.

27—10. Беседу с пополнением провел. Получилось

хорошо, по-семейному.

29—10. Встречался со снайпером Гайфулиным. Парень уже сносно объясняется по-русски. Доложил, что на его счету 77 убитых немцев.

8—11. В бригаду прибыло 56 девушек. Все они из города Троицка. Есть среди них снайперы, санитарки, хлебопеки.

6—12. Идут тяжелые бои за деревню Вязовка.

8—12. В «Знамени Советов» напечатана статья «Парторг в бою». Поучительно рассказывается о боях за Вязовку, об отражении немецких контратак.

25—29.12. Вязовка несколько раз переходила из рук в руки. Осталась нашей!

Год 1943-й.

1—1. Подготовил в деревне Обша вечер самодеятельности. Посмотреть и послушать артистов с передовой не пришлось. Перед началом концерта получил приказ ехать в Вязовку. Оттуда сообщили, что погиб замполит Широв. Он, помнится, москвич. Мне поручили вывезти тело и организовать в Обше похороны.

10—1. Пишу листовку о снайпере Гайфулине. Этот молодчина уничтожил уже 138 немцев.

18—1. Слушал доклад лектора о международном положении. Много любопытного материала. Эхо Сталинградского сражения катится по всему свету. В этот день впервые увидел русские, советские погоны.

10—2. Инсценировали наступление на деревню Запрудно. Погибли Гришанов, Хайкин, Клочков.

19—2. Разведка боем не прошла даром. Запрудно наше! В деревне после перепалок уцелело всего лишь 12 домов. На окраине — немецкое кладбище. 158 березовых крестов. Хороши вещественные доказательства!

23—2. Немыслимо, чтобы в День Красной Армии было столько огорчительных вестей! Убит снайпер Гайфулин, погиб капитан Беликов, москвич, издательский редактор. Ранена Тоня Меньшенина, снайпер родом из Троицка, прибывшая к нам в числе 56 девушек.

В честь праздника у наших воинов гостила делегация трудящихся Челябинской области.

Кинооператор из Москвы делал съемки на передовой.

8—3. Войска фронта пошли в наступление. Наша бригада заняла Рамушево…»

— Ну как? — спросил Игорь, когда я вернул ему записки капитана Ахрамкова.

Я молчал.

— Ты прав. После такого не до разговоров… Будни войны… Пот и кровь… Героизм людей и человеческая трагедия…

Потом Игорь жаловался:

— Не вытанцовывается очерк, хоть лопни. Такого со мной еще не бывало.

— Верю. А ты, Игорь, поразмышляй вслух. Может, вместе и найдем ход.

И Игорь размышлял. Я слушал его не перебивая.

— …Был я с Ахрамковым в роте перед боем. Ночь. Густой туман висел над лесом. Как настороженно ведут себя люди, чувствуется, что враг совсем близко. Побывали в землянке комроты, а потом пошли к бойцам. Ахрамков засветил фонарик и так запросто: «Кириллов, старый холостяк, здравствуй! Как мамаша поживает?» — «Жива, здорова, спасибо!» «Ночь добрая, Петров! Удалось ли тебе разыскать сестренку?» — «Хороший совет вы мне дали, капитан! Пришел ответ из Бугуруслана. Сегодня сообщили новый адрес Анютки». — «Неужели?» — «Точно». — «Ну и прекрасно!» «Как растет дочка, Сазонов?» — «Пишут: бегает, уже лопочет». — «Хорошо!»

Помолчали, а после паузы Ахрамков приглушенно, доверительно сказал: «На рассвете, друзья, атака». Бойцы приняли это сообщение как должное, привычное. Голос капитана окреп: «Бить нам надо, товарищи, немца гада. Бить за счастье наших матерей, сестер и сыновей. Только через победу будут проложены наши пути к дому, к нашим милым родным. Только через победу!»

И ты понимаешь, Евгений, это, оказывается, был митинг перед боем. Я его представлял в виде речей, призывов, клятв. А тут: «Кириллов, Петров, Сазонов…»

Позднее, уже в цепи, слышу, пожилой красноармеец говорит агитатору: «Я сегодня либо мертвым останусь, либо много фашистов порешу». Капитан ответил: «Живым тебе оставаться, живым! Смерть надо побеждать!»

Как прошла атака, мне толком даже не рассказать. Помню, что сначала работали наши орудия, а затем покатилось шальное «ура». Я тоже орал во всю глотку, еле поспевая за Ахрамковым.

Опомнился в немецких окопах. Было тихо-тихо. И вдруг посыпались немецкие мины. Стонали раненые. Ахрамков, заметив, как мертвецки побледнело лицо одного парня, спросил: «Страшно?» — «Страшно, капитан, немцы в контратаку пошли». — «А тебе не приблазнило?» — «Сами полюбуйтесь». И

действительно, к позициям, отвоеванным нами у врага, двигались немецкие цепи. «А ну, Гридин! — обратился Ахрамков к командиру пулеметного расчета. — Дай-ка мне свести счеты с фрицами!»

И Ахрамков залег, припал к прицелу.

«Стрелять надо!» — кричит командир расчета Гридин. Ахрамков молчит, как воды в рот набрал. У меня даже холодные мурашки побежали по спине. И тут: «тра-та-та». Гридин кричит: «Падают… бегут!» Ахрамков встал как ни в чем не бывало — и к солдатам: «Закурим, что ли?»

При капитане всегда была наспех обструганная сучковатая палка. С ней, говорил он сам, вроде сподручнее преодолевать топкие болота, искать броды на мелких речках, не сбиться с лесных тропок в ночное время. Бойцы, завидев Ахрамкова, кричали: «Идет капитан с палочкой!»

Капитан запросто встревал в любое дело. На обратном пути в штаб бригады заметил в медсанбате баню. Решил проверить: хороша ли. Разделся и вместе с веником свою сучковатую палку прихватил. Солдаты хихикнули, а капитан залился громче всех: «Это верно, парни! В бане, мол, палка ни к чему!»

Об Ахрамкове мне много рассказывали солдаты. Врезался в память рассказ об одной тревожной ночи. «Хорошо подготовленная атака, — говорил солдат, — захлебнулась. Мы залегли. Немцы не жалели свинца, а бить из минометов не решались: боялись поразить своих. И в эту минуту, когда кошки скребли на душе, слышим знакомый голос: «Кто сказал, что мы лежебоки? Дайте мне того болтуна, я плюну ему в глаза!» Осмотрелся, узнал многих в лицо, говорит: «Это ты, Сережа? Милый ты человек, я же тебя в партию рекомендовал. Как же сплоховал-то, дружок?» Стыдно мне стало. Уж лучше бы ругал, наказал. В разговоре не заметили, как немецкие пулеметы на какой-то миг замолчали. Капитан поднялся, махнул своей палочкой и во все горло: «Вперед, ребята, вперед!» И мы поднялись.

Капитан первым ворвался в траншею, швырнул гранату в немецкий блиндаж, скомандовал связистам: «Сюда, сюда, тяни провод». Солдат подключил аппарат. Ахрамков доложил: «Девятка»! Говорит Ахрамков, капитан с палочкой. Задача выполнена! Сижу в окружении дохлых фрицев. Бойцы впереди… Есть так держать!»

— В чем же ты сомневаешься, Игорь? — заметил я. — Очерк почти готов. Ты только не забывай, что кроме капитана с палочкой есть в стрелковой бригаде и толковые командиры взводов, рот, батальонов. Думаю, Ахрамков их не обходит?

— Золотые слова! Вот этого-то цемента мне в очерке и не хватало. Не зря говорят: ум — хорошо, а два — лучше. Именно так и действует мой капитан с палочкой. Считай, что очерк есть!

…В эти мартовские дни 1943 года сияющий радист Павел Мусько вручил секретарю редакции Максиму Нечетову очередное сообщение Советского информбюро.

— Читай! — с гордостью заявил он. — И о наших делах на Северо-Западном фронте заговорили теперь на весь мир. И Пустыньку, и Большой и Малый Калинец вспомнили. После Сталинградского сражения фашистам стало не по себе. Выскочили они из Демянского котла, как тараканы от мороза. Укрепленный демянский плацдарм врага ликвидирован. Не веришь? Читай!

ВСТРЕЧА С ТЫЛОМ

В лесах и ложбинах зажурчали ручьи. Студеная и прозрачная как стеклышко вода рвалась в наши обжитые землянки. В полу землянки вырыли глубокий колодец, прикрыли его щитом. Но и это не помогло. Как-то среди ночи Чекин завопил: «Ка-ра-ул!» Вскочили спросонку прямо в воду, которая поднялась почти до самых нар. И пошло! Не житье, а одна морока. Буквально через каждый час обитатели блиндажа выстраивались в цепочку и передавали из рук в руки ведро. После такой работы ныла спина. Ваграм Апресян соображал вслух:

— Насосик бы надо изобрести на манер пожарного.

— И электрический моторчик к нему, — добавлял Игорь Чекин.

На ночь выделяли дневальных, но спать до утра не удавалось. То и дело вскакивали по команде «Подъем!». Перестали топить печку, так как после топки землянка заполнялась паром, хоть бери веник и парься.

В марте 1943 года редактор газеты огорошил, сообщив, что частям 11-й армии приказано оставить передовую и двигаться в тыл, на пополнение.

Не сладко стало от такой весточки. Старая Русса! Ведь здесь мы еще в 1941 году остановили врага. Здесь привыкали к шелесту и взрывам снарядов, вою бомб. Здесь мы провели почти два года лицом к лицу с врагом. Здесь мы ощутили радость и гордость за то, что намертво зацепились за новгородскую землю и не пустили немцев к Валдаю.

Два года не видели мы городов и сел, находящихся в нашем глубоком тылу и оставшихся в воспоминаниях наполненными домашним уютом, беспечным смехом и окрыляющими песнями.

Бразды правления взял теперь в свои руки завхоз Гукай. Он и раньше не отличался обходительностью, любил, чтобы подчиненные стояли перед ним навытяжку, выслушивая бесконечные к месту и не к месту нравоучения. А теперь в распоряжение Гукая поступили не только рядовые, но и весь личный состав редакции. Отрывистые команды Гукая, как гром среди ясного неба, раскатывались в весеннем бору.

Своими силами сооружали гати до ближайшего большака. Заготовляли «шпалы», тесали бревна, которые укладывались наподобие рельс. Ехать по такому сооружению — все равно что ходить по канату: того и гляди, сорвешься в талый, подернутый синевой снег. Хлопотали у машин водители, проверяли скаты, рессоры, заводили рукояткой застоявшиеся моторы.

Редакцию разбили на экипажи. Каждый из нас знал свое место: кто ехал с печатным цехом, кто с наборным, кто с цинкографией, кто с электростанцией. Назубок изучали инструкции, как вести себя в наряде в качестве часового, как действовать в случае налета вражеских самолетов или при столкновении с воздушным десантом, лазутчиком.

Перед рассветом машины, выстроенные в колонну, тронулись. Во главе ее — редакторская легковая.

Гладко было в инструкциях Гукая, да не состоялся наш марш по его нотам. Скатывались «с рельс» машины, образуя пробки, глохли на косогорах моторы, не помогали буксиры, выручали наши плечи. После такой мороки на привале или ночевке в деревне хотелось плюхнуться на первую попавшуюся дерюгу, заснуть мертвецким сном, а тебе предлагали заступать на пост. Нет, что ни говори, а на фронте, на передовой, жить все же лучше!

Мы останавливались в деревнях, где не рвались снаряды и бомбы, а их жители не уезжали из родных мест. Сердце щемило от сознания, что проклятая война все же шагнула и сюда, в наш тыл.

В деревнях нет мужиков, кое-где остались лишь старики. Все работы вершатся женскими и детскими руками. Днем люди толпами выходят на улицу, сгребают в кучи прелый навоз, накопившийся за зиму от многочисленных фронтовых обозов. Лишь ребятишки, кажется, остались прежними. Босоногие несмышленыши на талой земле около домов играют в классы. Они отрываются от забав, притихают при появлении военных, встречают и провожают человека в шинели или полушубке взглядами, в которых и любопытство, и уважение, и зависть.

В домах — застоявшийся кислый запах. По утрам хозяйки пекут лепешки из гнилой картошки, перемешанной отрубями, так как хорошие уцелевшие клубни отобраны и припрятаны от ребячьих глаз на семена.

Окна в домах прикрыты соломенными матами, чтобы дольше сохранялось тепло. Люди привыкли жить в хатах без дневного света. Привыкли к скрипу перекосившихся дверей. На вес золота теперь и гвоздик, и болтик, и гаечка.

В одном большом селе Гукай устроил банный день. Баня, то есть деревянный сруб под пригорком, покосилась, дышит на ладан. Дверь чуть держится на одной петле, вместо ручки — сучок. Но баня есть баня. Прелесть ее в каменьях в углу, раскаленных докрасна, в воде, выплеснутой из деревянного ковша, в шипении сухого пара, от которого замирает дух. Все, как до войны! Но это только, кажется. Спрыгни с полка — пол

заходит ходуном, а из щелей начнут бить фонтанчики застоявшейся и черной как деготь жижи.

Молодухи, старухи и детишки поистосковались по парням и мужикам, ушедшим на фронт. Встречи с военными для них настоящая награда. Водители наших машин, устраняющие поломки, не остаются без собеседников. Вот протиснулась сквозь толпу поближе к машине бабушка в поношенной шали.

— День добрый, бабуся! — говорит наш водитель Коля Погребнов.

Слово за слово — и разговорились. Старушка шепчет на ухо Коле:

— За всю жизнь не бывала в такой вот машине, не была… и в суде.

Коля раскатисто смеется:

— Что в машине не была, бабуся, верю! Могу прокатить. А вот в суд попадать не советую!

На одной из станций погрузились в теплушки. Автомашины закатили на платформы. Эшелон движется к Москве. Миновали Бологое, Калинин, Клин. Днем нам давали зеленую улицу, а ночью иногда подолгу стояли, так как фашистские стервятники, опасавшиеся показываться в нашем небе засветло, как пираты наскакивали на станции и разъезды под покровом темноты. И опять мы думали про себя: «Быть в окопе на передовой все же лучше, чем слушать взрывы бомб и видеть при отсвете прожекторов, как вьются кольцами взорванные рельсы».

Вышли на окружную дорогу. Эшелон долго стоял у моста вблизи Поклонной горы. Комок подкатил к горлу. В нескольких сотнях метров отсюда живут жена погибшего брата Леши, его дочь Наташа. Взглянуть бы на них хоть одним глазком, показаться бы им живым и здравым. Игорь Чекин, положив руку на мое плечо, утешает:

— Не терзай себя. Значит, не судьба. У меня ведь тоже здесь мама, да, видно, встретиться придется с ней лишь после победы. Вот так, друг! Три к носу — все пройдет! Узнать бы уж скорее, где будет наша конечная остановка.

Как-то к вечеру эшелон остановился у перрона, покрытого асфальтом. Серый, закопченный вокзал. На нем нет привычной вывески. Лишь на дверях буфета дощечка: «Вход только по билетам». Это, видать, еще с мирного времени. Поступила команда разгружаться.

Прибыли мы, оказывается, в Тулу. Этим можно было только гордиться. Увидим своими глазами город-герой, о боях в котором мы много слышали. Враг был на его окраинах и считал, что ворота в Москву уже открыты. Тогда на помощь солдатам пришла

закаленная в труде вооруженная рабочая гвардия. Горели деревянные домишки, гудели косогоры от бомб и снарядов. Туляки оказались крепче вражеского огня и стали. Враг теперь уже далеко, Тула — почти глубокий тыл.

Раны город еще не залечил. В каменных корпусах не работает водопровод, канализация, паровое отопление. В Центральном универмаге — пустые полки. Непривычными были для нас будни города. Все мерили мы на фронтовую мерку. Утром над крышами домов стайками поднимаются белые голуби. Не верилось! Это не птицы, а взрывы шрапнели.

Ночь. Ползут трамваи, над дугами вагонов искрится вспышка. Не верилось! Воздух, разбавленный дымом заводских труб, — это свинец, а искры на проводах — выстрелы.

Старик сторож через определенные промежутки времени крутит трещотку. Не верилось! Это не трещотка, а пулеметные очереди.

Чистая веранда, рамы, затянутые марлей. Не верилось! Это не пристройка к дому на летнее время, а санитарная палатка.

Дождь, прямой, крупный, долбит сухую землю. Это не дождь, а свинцовый ливень.

Старик в трамвае, уцепившись за поручень, тихо говорит:

— Ослабли людишки, вроде меня подпорку просят, как подгнивший забор.

Вокруг города — ни одного свободного клочка земли. В теплые дни на окраинах — тысячи людей. Лопатами они переворачивают толстый слой дерна. Пот и слезы. Руки солдат чесались помочь им. Но горн звал нас к другим делам.

В Первомайском приказе Верховного Главнокомандующего подводились итоги зимней кампании 1942/43 года. Мы узнали, что кризис в лагере фашистов выражается прежде всего в том, что враг оказался вынужденным открыто отказаться от своей первоначальной установки на молниеносную войну. Фашисты хвастают уже не тем, что они провели или намерены провести молниеносное наступление, а тем, что им удалось ловко улизнуть из-под охватывающего удара английских войск в Северной Африке или из окружения на советском фронте в районе Демянска. Фашистская печать пестрит хвастливыми сообщениями, что немецким войскам удалось удрать с фронта и избежать нового Сталинграда.

Пехотинцы, минометчики, артиллеристы, танкисты, летчики, саперы, связисты, кавалеристы получили приказ без устали совершенствовать свое боевое мастерство, точно выполнять приказы командиров, требования уставов и наставлений, свято блюсти дисциплину, соблюдать организованность и порядок.

В глубоком тылу мы трудились до седьмого пота. Бывалые солдаты торопились натаскать новичков, не державших в руках винтовки и автомата. Без конца рыли окопы и траншеи, ходили в учебные атаки. Пехота приноравливалась действовать с танкистами, артиллеристами и летчиками. Наводили переправы, преодолевали водные рубежи, болота, пески. Техника техникой, а каждому солдату предписывалось до тонкости познать оружие ближнего боя — и автоматы, и гранаты, и противотанковые ружья.

— Для чего служит винт горизонтальной наводки миномета? — спрашивает сержант.

Молодой казах мучительно вспоминает технический термин, не находит его, выпаливает:

— Стойка «смирно»!

— Молодец, — ободряет сержант. — Суть дела понимаешь. Но у миномета ты, друг, еще поторчи. Назубок надо знать. В бою некогда будет вспоминать.

Кончался июнь 1943 года. Пошел третий год войны. Под Тулой, в глубоком нашем тылу, мы не на шутку готовились, как мы тогда говорили, ломать хребет фашистскому зверю!

КАРАЧЕВ

События развивались стремительно. 24 июля Советское информбюро сообщило, что успешными действиями наших войск окончательно ликвидировано немецкое наступление из районов южнее Орла и севернее Белгорода. Наши войска на орловском направлении, преодолев сопротивление противника, продвинулись вперед от 5 до 8 километров, заняли ряд населенных пунктов, в том числе районный центр и железнодорожную станцию Змиевка.

И меньше чем через месяц Совинформбюро сообщило о новом, брянском, направлении. Наши войска продвинулись на отдельных участках этого направления от 6 до 10 километров, заняли свыше 40 населенных пунктов. Один месяц — и столько перемен! Группы немецких армий «Центр» и «Юг», пытавшиеся прорваться к Курску, поредели, истощились их резервы в солдатах и технике. А в наших тылах стояли готовые к бою стрелковые и механизированные армии и корпуса.

Пришел праздник и на нашу улицу! 11-я армия вместе с другими резервными частями была брошена на орловский плацдарм. Туда мы двинулись из-под Тулы и Калуги походным маршем.

В лесах — спелая малина. Тянет медом от трав, ждущих косарей. Трогается белым и лиловым цветом картофельная ботва. На полях пересохшие стебли, осыпаются колосья.

Потом нестерпимая жара сменилась хмарью и проливными дождями. Дороги развезло, в глиняном месиве буксовали машины, тяжелыми, почти каменными стали сапоги. Вспомнили в те дни суворовские слова «тяжело в учении, легко в бою». Знали, что нельзя терять ни минуты. Ведь речь идет о том, чтобы расколоть фашистские части под Орлом, выбить из рук врага, как они называли сами, «кинжал», направленный в сердце России.

Чтобы лишить врага какого-либо маневра, перешли в наступление Калининский, Западный, Брянский фронты. Задача нашего, Брянского фронта — овладеть переправами через Десну, форсировать реку западнее и южнее Брянска, овладеть городом, развивать наступление на Гомель.

По карте до Брянска рукой подать. Но впереди не ровное поле, а леса и болота, реки с зыбкими поймами, Десна с высокими западными берегами.

Яснее ясного, что за Брянск немцы будут цепляться, насколько хватит сил. Для них потерять Брянск — значит лишиться важного узла железных и шоссейных дорог, по которым

идет подкрепление, совершается переброска войск с одного участка на другой.

Части 11-й армии с марша развернулись в боевые порядки. Пехоту плотным огнем поддерживает артиллерия. Как только проясняется горизонт, эшелон за эшелоном идут на запад наши бомбардировщики, сопровождаемые «ястребками».

Освобождены Холмицы, Медынцево, Шигры, Ловать, сотни других поселков и деревень. Они запомнятся на всю жизнь. Запомнятся черные пепелища, в кучах золы скелеты печных труб, обгоревшие кровати, самовары, чугунки. Но проходит день, другой — и отвоеванная земля воскресает. Из лесов, из далеких глухих деревушек собираются к родным очагам старики, старухи, женщины, стаи ребятишек. Старый и малый принимаются за работу: шестами разгребают пепелища, отыскивая в золе домашнюю обгоревшую утварь, все, что можно еще пустить в дело, аккуратно, бережливо собирают урожай, молотят снопы.

Мальчишки и девчонки толпятся у землянок, вырытых на огородах, ждут не дождутся еды. Матери хлопочут у таганков и наскоро сооруженных плит прямо под открытым небом. В чугунках и ведрах варится мелкая, еще не созревшая только что подкопанная картошка.

Картофельные дробинки вывалены наконец на землю. Ребята перебрасывают их из ладошки в ладошку, потом жадно проглатывают, обжигаясь. Так и вспомнишь, глядя на мелюзгу, свою пионерскую юность:

А картошка — объеденье,
Пионеров идеал!
Тот не знает наслажденья,
Кто картошки не едал!

Дети выстраиваются вдоль бывшей центральной улицы, цепляются за борта проходящих военных машин, хохочут от солдатских шуток.

Верилось: зарубцуются раны, расправит плечи наш народ, так как теперь у советских людей снова есть главное — свобода!

Теперь мы открыто смотрим каждому встречному в глаза, в которых без слов сказано многое, а главное то, что простили нас соотечественники за отступление сорок первого года, благодарят за вызволение из фашистского ада. От этого у наших бойцов будто вырастают крылья.

Хотелось говорить стихами. А газете по-прежнему нужны были статьи, заметки об опыте, накопленном в наступлении.

В середине августа продвижение замедлилось. Перед нами —

Карачев, город, расположенный на полпути от Орла к Брянску. Эти города соединены прямым, как стрела, асфальтированным шоссе. Местность открытая, немцы в выгодном положении.

В схватках за Карачев было много выдумки, разыгрывались такие комбинации, которые трудно было предвидеть даже в полковых и батальонных штабах. Но разгадать маневр, чтобы о нем написать, не так-то просто. В пылу боя не возьмешь «интервью». Это тебе не оборона, когда можно днями беседовать с ребятами, допытываться до главного часами. Теперь приходилось пристальнее наблюдать, самому соображать что к чему.

В тех боях все было новым, неповторимым. И то, что артиллеристы без подсказки, без специальных указаний приходили в критическую минуту на помощь пехоте, и то, что стрелки давали мудрые советы танкистам, и то, что наши пикировщики появлялись именно тогда, когда ощутимую помощь стрелкам могла оказать только авиация, и ничто другое.

Вот я на батарее тяжелых орудий. Артиллеристы хорошо обработали немецкие позиции. Стрелки́ ворвались в село на ближних подступах к Карачеву. Там идет рукопашный бой. Свое дело пушки сделали, батарея получила похвалу от своего командования. Можно ждать очередных указаний. Но командир батареи Разумовский не отходит от стереотрубы. Он разрешает и мне обозреть местность. За селом — открытое поле, вдали — опушка леса. Офицер дает указание своим разведчикам выдвинуться вперед. Поползли солдаты с биноклями, за ними — связисты с катушками телефонных проводов. Вскоре разведчики доложили по телефону: «Готовы вести корректировку».

Раздается команда: «Поразить цель огнем первого орудия!»

Выстрел. Корректировщик сообщил, что снаряд лег правее сарая, расположенного невдалеке от опушки леса. Снова выстрел. «Перебрали влево», — сообщает корректировщик. Цель поразили после третьего выстрела. И новая команда: «Засечь цель! Передать координаты на все орудия».

«Что задумал Разумовский?» — пытался сообразить я.

Разгадка пришла не сразу. Оказывается, командир батареи «шел» впереди пехоты. Он готовил батарею к ведению огня по опушке леса, откуда немцы, скорее всего, могут контратаковать наших.

— Можно мне к разведчикам? — обратился я к командиру батареи.

Оглядев с ног до головы, разрешил, выделив связного.

Корректировщики пристроились на пригорке в густом кустарнике правее села. Там уже смолкли автоматные очереди. Цепь появилась в открытом поле, направляясь к опушке леса.

Слышен топот, бряцание лопат и фляжек, пристегнутых к солдатским ремням. И вдруг опушка леса ощетинилась, вспыхнули, затарахтели вражеские пулеметы, ухнули немецкие пушки, выкаченные на прямую наводку. Из зарослей выползли «тигры».

Наблюдатель доложил обстановку. В мембране была слышна команда Разумовского: «Беглый огонь из всех орудий!»

Над нашей головой зашуршали тяжелые снаряды. Два немецких танка загорелись, еще два остановились с подбитыми гусеницами. Валились подкошенные деревья, летели в воздух комья земли и бревна от немецких наспех созданных сооружений.

Залегшая под вражеским огнем, наша пехота поднялась. На опушке завязалась рукопашная схватка. Орудия Разумовского перенесли огонь в глубь леса.

Все вроде просто. А для меня мелочи этого боя были военной академией.

Так крупицу за крупицей собирали мы воинскую мудрость, которая через газету должна была становиться предметным уроком того, как малой кровью добывать победу.

И новый бой, теперь уже за Карачев.

Разумовский приказал разведчикам двигаться за пехотой. Батарея не меняет позиций, так как пока есть возможность вести прицельный огонь. Разведчики расположились на насыпи железнодорожного полотна, которое пехота успешно преодолела. Танки, сопровождавшие стрелков, остановились. У машин появился связной, передавший пожелание командира стрелкового батальона: «В лоб, через переезд, идти не советую. Улицы на окраинах Карачева заминированы. В каменных подвалах домов амбразуры, из которых торчат стволы орудий. Хорошо бы танкам прорваться окольным путем и дать огонек по немецким тылам».

Совет вроде бы дельный, но танкисты почему-то делают все наоборот. Запущены на всю мощь моторы, как перед атакой. Рев машин докатился до немцев. Раздается приказ: «По машинам!» Не успели задраить люки, как градом полетели вражеские мины. Танки взад-вперед, взад-вперед: полная картина растерянности и паники.

— Чего это они? — спрашиваю я у артиллеристов.

— Немцев дразнят, знают, что мины малого калибра для их брони что слону дробина. Заодно и нам помогают засечь немецкие батареи.

Танкисты и в самом деле, подразнив немцев, разыграв подготовку к атаке, под шумок незаметно ушли.

Пока шла артиллерийская подготовка, пока подавлялись немецкие пулеметы и пушки, пока делали свое дело саперы,

танкисты как снег на голову появились в тылу немцев и открыли огонь по обозам и машинам врага, создав на шоссе заторы, переполох.

Карачев — наш!

Солдаты борются с пожарами. От горячей золы трескается кожа и кирза на сапогах. Огонь постепенно затухает, то здесь то там тлеют лишь головешки. Расчищена в первую очередь центральная улица, ведущая в Брянск. По ней тянутся подкрепления, подсобные службы.

На восток ползет колонна в кителях мышиного цвета. Конвоиры не столько охраняют пленных, сколько сдерживают женщин, яростно рвущихся к строю. Женщины плюют в лица пленных, пытаются вырвать клок волос из-под пилотки, выцарапать глаза.

Такой ярости гражданских я еще не видел. В чем дело?

— Так это ж не немцы. Это — изменники, власовцы.

Женщины кричат наперебой:

— Судить предателей по всей строгости советского закона!

БРЯНСК И БЕЖИЦА, ПОЧЕП И УНЕЧА

Осень 1943 года началась жаркими, безветренными днями. Стояло настоящее бабье лето. Только оно не было отмечено празднествами и песнями по случаю снятого щедрого урожая. После машин и повозок над дорогами долго стояли тучи пыли. Твердая как камень земля была изрыта мелкими воронками. На обочинах большаков и проселков валялись зловонящие, раздувшиеся конские трупы.

Оставлять Брянск фашисты не собирались. Наоборот, они стягивали сюда силы. Город, раскинувшийся на холмах, был превращен в крепость. На обрывистых берегах Десны — доты и дзоты. Станции Брянск-1 и Брянск-2 враг разрушил дотла; вырубил леса, прилегающие к железнодорожному полотну. Гитлеровцы сделали все для того, чтобы создать для себя хороший обзор местности на многие километры.

В сосновых борах, что раскинулись вдоль шоссе Карачев — Рославль, сосредоточились наши войска. Издали даже невооруженным глазом виден был красавец город, залитый лучами сентябрьского солнца. Наша артиллерия не вела огня по городу, авиация не наносила бомбовых ударов по его улицам и площадям: воины хотели сохранить Брянск.

А фашисты методически производили взрыв за взрывом. Каждый день то в одном, то в другом районе города вспыхивали пожары, высоко в небо поднимались клубы черного дыма, оседали, словно проваливались сквозь землю, лучшие архитектурные сооружения. На глазах менялся силуэт города.

Каждый новый взрыв — саднящая, незаживающая рана. Солдаты не находили себе места: скорее бы уж штурм!

Петя Белый, как всегда, торчал в оперативной группе штаба 11-й армии.

— Штурм, говоришь, — повторил он загадочно. — Не выйдет! Вы же закаленные воины. Пора уже научиться управлять своими чувствами. Нельзя нынче принимать поспешных решений. Разум нужен!

— Знаем, Петя, что у тебя ума — палата. Ты бы лучше не философствовал, а просветил.

— Зачем просвещать? Читайте в ближайших номерах мои корреспонденции. Получились они что надо! Написал их с разрешения командующего армией.

В корреспонденциях Пети Белого, напечатанных под рубрикой «Вчера на нашем участке фронта», рассказывалось о смелых обходных маневрах наших частей.

Немцы с особым упорством обороняли железную дорогу и шоссе Брянск — Карачев. Идти здесь на врага в лоб — безрассудство. Полковник Украинец, командир 323-й стрелковой дивизии, действующей на этом участке, принял другое решение. На передовой перед Брянском оставил небольшие заслоны, которым приказал проявлять побольше активности, чаще открывать огонь по вражеским позициям, делать вид, что пехота готовится к переправе. Главные же силы дивизии двинулись лесными дорогами к поселку Фокино и к станции Брянск-2. Немцы не ожидали здесь атаки. Наша пехота опрокинула противника и вышла на берег Десны.

197-я стрелковая дивизия полковника Абашева в это же время овладела поселками имени Толстого, Володарского, Урицкого и станцией Брянск-1.

Враг насторожился. Он со дня на день ждал нашего броска через Десну.

Газета с этими сообщениями шла нарасхват. Петя Белый сиял, но в глазах его почему-то бегали чертики.

— Опять скрываешь что-то, Петя? — спросил я.

— Угадал.

— Расскажи, не таи.

— Не скажу. Пока секрет.

Внимание противника было приковано к Десне. Он не мог не видеть, как на нашем берегу готовились самые различные средства переправы: и бревна, и плоты, и лодки. Он не мог не видеть, как выкатывались на прямую наводку пушки. Мне пришлось быть очевидцем одной дерзкой операции наших разведчиков.

…Солнце склоняется к горизонту. Багровые отблески заката сползают с каменных зданий на том, вражеском, берегу. И как-то сразу, по-осеннему быстро, надвигается темень.

— Пора! — говорит майор Кожевников.

Небольшая группа солдат во главе с младшим лейтенантом Лихорадом выходит на берег, выстраивается в цепочку. Первым вступает в холодную воду офицер. За ним через равные промежутки шагают бойцы. Вода по колено, по пояс, по грудь. Лихорад, как птица в полете, раскинул руки. А глубина не уменьшается. Приходит сомнение: правильно ли выбрано место для брода? А вдруг придется плыть? Поднимется плеск — тогда пиши пропало: с вражеского берега не пожалеют свинца.

Но вот по цепочке прошел вздох облегчения. Младший лейтенант, словно чудо-богатырь, стал вырастать из воды. Группа бесшумно вышла на берег. Солдаты укрылись кто за валунами, кто за бревнами причала, кто за грудами кирпича. Дальше все

пошло по разработанному в штабе плану. С нашего берега спровоцировали немецкий огонь короткой артиллерийской подготовкой и суетой у воды. Полная картина готовящегося броска!

Немцы ударили из всех видов оружия. Горизонт озарился вспышками дальнобойных орудий. Местонахождение фашистских батарей засекали наблюдатели с биноклями и стереотрубами. Задача же разведчиков состояла в том, чтобы составить схему вражеских огневых точек на переднем крае.

Над головой разведчиков шелестели снаряды, и свои, и фашистские; гудели перепонки от стука пулеметов из вражеских дзотов; осами жужжали осколки снарядов. Нелегкая, адовая была эта ночь для разведчиков. Но им все же удалось засечь каждую пушку, каждый пулемет. Когда суматоха стихла, схему успешно переправили своим. Там ее расшифровали, сверили с данными, полученными из других источников. Штурмовые группы получили точнейшие данные. Они еще пригодятся.

В тот момент когда на берегу Десны провоцировались переправы, успешные боевые операции развернулись севернее Брянска, в районе города Бежица. Пехота, танки, артиллерия за несколько дней продвинулись почти на 40 километров, совершив глубокий обход Брянска и Бежицы с северо-запада. Пехотинцы с помощью саперов, поддержанные мощными залпами «катюш» и тяжелых орудий, переправились через реку Болва, сбили вражеские заслоны, подошли к окраинам Бежицы с севера и с востока. Стрелковые дивизии полковников Воробьева и Валюгина на рассвете пошли в наступление и очистили Бежицу от врага.

Вот об этом-то секрете и умолчал Петя Белый, направляясь в части, готовящиеся штурмовать Бежицу. Схитрил! Захотел первым доставить ошеломляющую новость о том, что с освобождением Бежицы немцам в Брянске не усидеть.

Зато Ваграму Апресяну, Тимоше Мельнику и мне удалось раньше Пети разузнать и рассказать читателям, как развивались события на Десне.

В Брянск мы пробивались из Бежицы. Над разрушенным мостом рвалась шрапнель. Но людям, казалось, нет дела до этого свинцового града. У переправы — разношерстная толпа, мычат коровы в конской упряжке, кричат гуси и куры, упрятанные в корзины. Народ торопится к родным очагам. Всех мучают одни и те же вопросы: «Цел ли дом? Не сгорел? Не взорван ли?»

По временному мосту, наведенному саперами, наш корреспондентский грузовик пропустили первым. Вырвались на дорогу, по которой только что удирали немцы. Из-под булыжника, вырытого наспех и так же поспешно положенного на

место, торчат усики мин.

Ваграм Апресян, человек сведущий в технике, размышлял вслух:

— Мины, судя по всем приметам, противотанковые. Вес нашей порожней машины невелик, для того чтобы сработал взрывной механизм. В крайнем случае он придет в действие тогда, когда мы проскочим опасное место. Для страховки можно оставить на задней оси только два ската, а два снять и положить в кузов.

Так и поступили. Водитель Коля Рогачев, осмотрев дорогу, сказал:

— Поехали, чего там!

Коля предложил мне встать на крыло машины и внимательно следить, как расположены мины: где цепочкой, а где в шахматном порядке. Водитель искусно маневрировал, объезжая подозрительные места.

И вот наконец город. На дощечке окраинного дома написано: «Улица Фокина». Машина, словно живая, после большого нервного перенапряжения почувствовав себя в безопасности, остановилась как вкопанная: заглох мотор. Ваграм Апресян, Тимоша Мельник и я спрыгнули на землю, чтобы размяться, так как после необычного, хотя и короткого путешествия руки и ноги онемели.

На улице тихо, ставни окон и ворота заборов прикрыты. Улица будто вымерла. Жутковато как-то, неуютно.

Коля на чем свет проклинал свою колымагу. Обливаясь потом, он крутил без конца рукоятку, но мотор так и не заводился. Не заметили из-за Колиной возни, как заскрипели запоры и засовы, раздались крики: «На-ши! Родные!»

Со всех концов к нам бежали возбужденные люди. Женщины говорили наперебой:

— Смотрю в щелку — и никак не могу понять: машина вроде бы наша, да откуда красноармейцам-то взяться? Ведь немцы только что копошились на дороге, свои следы землей засыпали. А тут опять обратно. С чего бы это?

— А я смотрю — шинели не зеленые, а наши — серые, добротные. Да опять задача: на шинелях-то командиров погоны, как у офицеров в царские времена.

— А я вышла на улицу, прислушалась. По-русски вроде матерится парень у машины. А вид у командиров не злобный. Побежала к Елизавете. Повторила, что слышала. А та: «Да ты, Марья, не знаешь, что ли, в какие моменты мужик наш к крепкому слову прибегает?» А я: «Да ведь погоны на них!» А она: «Погоны, погоны, затвердила, как сорока. Забыла, партизаны

поговаривали, что у Красной Армии теперь новая форма, погоны ввели…»

Толпа росла. Кто-то крикнул: «Качать!»

Нас подбрасывали так, что захватывало дух. Потом тащили в дома, в гости. С трудом убедили, что ждет нас в городе работа, там настоящие герои, там освободители. И люди хлынули к центру!

В ночь на 18 сентября статьи, заметки, очерки, стихи прямо из-под пера шли в набор. С едва просохших пленок Тимоши Мельника готовились клише, на которых запечатлены были герои боев, проходящие строем со знаменем, жители, возвращающиеся в родной город.

А я встретил в Брянске своих старых знакомых, штурмовавших город.

С высокого берега Десны, освобожденного от немцев, хорошо была видна панорама только что отгремевшего боя. Пригодились при штурме и данные, добытые разведчиками Лихорада в ночном поиске.

Сержант Василий Тарантас получил задание — перед рассветом, до начала артиллерийской подготовки, выкатить орудие на прямую наводку, уничтожить немецкие пулеметы в дзоте у отдельного дерева, в подвале каменного дома, в завале на берегу реки, так как они больше всего угрожали переправе в районе разрушенного пешеходного моста.

Немцы засекли орудие сержанта после первого выстрела, открыли ответный огонь. Сержант предвидел такой ход. Расчет продолжал работу, но по команде сержанта вдруг притих, делая вид, что орудие выведено из строя. Немцы утратили к нему интерес, занялись пристрелкой других целей. А в тот момент, когда за спиной наших ребят ухало орудие, с закрытых позиций сержант приказывал под шумок выпускать очередной снаряд. Расчет Тарантаса уничтожил три немецких укрытия.

Когда началась наша артиллерийская подготовка, саперы подтащили к берегу заранее подготовленные щиты, широкие доски, плоты, лодки. Между уцелевшими опорами моста перекинули прочные настилы. Еще не стих гул канонады, а по мосту-времянке проскочили на тот берег пулеметчики и минометчики. Справа и слева от моста на лодках и плотах перебирались стрелки.

Немцы открыли огонь по переправе. Но было уже поздно изменить ход боя. Пехотинцы офицеров Червякова и Фокина успели перебраться на тот берег. Ближние бои завязались на улицах и площадях. Немцы пятились, опасаясь быть отрезанными со стороны Бежицы.

Брянск отныне наш! Об этом я и рассказал в очерке «Штурм», написанном по следам событий и успевшем в номер.

Аркадий Кулешов написал в помер стихотворение «Брянск». У сына Белоруссии в те знаменательные часы родились такие строки:

Он врагами сожжен,
Но по-прежнему он
И богат, и не скуп на щедроты!
В Белоруссию нам,
Долгожданным сынам,
Широко распахнул он ворота!

Обычно Аркаша мало говорил, а больше слушал. Ходил задумчивый, грустный. Его можно было понять. Легко ли сердцу, когда там, на родине, в фашистском плену его отец, родные. А сейчас Аркаша сиял, не скрывал, что душа его ликует.

Газета печатала материалы о том, что 17 сентября 1943 года Москва салютовала войскам, успешно форсировавшим реку Десну, освободившим города Брянск и Бежицу. В этих боях отличились войска генерал-лейтенанта Федюнинского и летчики генерал-лейтенанта Науменко. Особенно отважно и умело действовали: 197-я стрелковая дивизия подполковника Абашева, 323-я стрелковая дивизия полковника Украинца, 4-я стрелковая дивизия полковника Воробьева, 273-я стрелковая дивизия полковника Валюгина, 3-я гвардейская истребительная авиационная дивизия полковника Ухова, 313-я ночная ближнебомбардировочная авиационная дивизия полковника Воеводина, 277-й инженерный батальон полковника Мамонова, 140-й инженерно-саперный батальон майора Лисина, 310-й гвардейский минометный полк подполковника Ковчура, 74-й гвардейский минометный полк майора Джаридзе.

Этим соединениям и частям были присвоены почетные наименования Брянских и Бежицких.

Праздник праздником, а работа работой. Петя Белый, вернувшись из штаба, хвастал:

— Материальчик добыл что надо!

— Опять какой-либо маневр?

— Я по шаблону не действую! Для газеты, как известно, нужны факты интересные, поучительные, но и разные. Заруби на носу!

Петя на этот раз, после встречи с командованием партизанского движения, добыл и подготовил информацию о том, как активно помогали наступающим частям народные мстители

Брянских лесов. Любопытно, ничего не скажешь!

Оказывается, брянские партизаны в январе 1943 года парализовали движение на железнодорожной линии Гомель — Брянск, в апреле отбивали наступление стотысячной группы войск особого назначения, а в дни боев за Брянск устраивали засады на всех дорогах, ведущих на запад.

По газетным снимкам, понаслышке знали мы, что в тылу врага действуют умудренные жизнью партизанские вожаки, лихие ребята — разведчики и подрывники. Партизаны почему-то представлялись мне этакими рослыми бородачами. И вот однажды перед нами появился настоящий партизан, но совсем не богатырь, и тем более не бородач. Это была очень милая девушка с красной лентой на меховой шапке, надетой лихо, чуть-чуть набекрень. На складно сшитой гимнастерке орден Красной Звезды и партизанская медаль. Как увидели ее, так и онемели наши бравые ребята, не одно сердечко ёкнуло! А в глазах вопрос: «Кто ты, девушка?»

— Маша я. Партизанка.

Щелкнул я в этот миг фотоаппаратом. Снимок удался, так как девушка не позировала специально фоторепортеру. Тимоша Мельник отпечатал портрет, подготовил для клиширования. А мне не терпелось разыграть Петю Белого.

— Что это у тебя? — спрашивал он, порываясь вырвать из моих рук снимок.

— Зачем вырывать, я и так тебе могу его показать.

Петя, слабый до женских сердечек, любуясь снимком, чесал затылок, завидовал:

— Да-а! Это не моя информация о партизанах, а настоящий подарочек для солдат на передовой. А кто она? Как с ней познакомиться?

— Не скажу! Читай завтра в номере мой очерк.

Представилась тогда нам Маша смело, а рассказывать о себе отказалась наотрез. Пришлось мне собирать о ней факт за фактиком, выпытывать у партизан. Ох, и скупы же все они на слова!

Фамилия Маши — Юдичева. Училась она в Брянском педагогическом техникуме. Летом 1941 года приехала на каникулы в родную деревню. Как снег на голову ворвались в село немецкие мотоциклисты, спалили все, скот и жителей угнали. Маша чудом уцелела. Осталась одна-одинешенька среди золы и пепла. Куда теперь податься? Все равно, хоть на край света от постигшей беды и безысходной тоски. И пошла, пошла куда глаза глядят.

В лесу почти одичала, бросалась в сторону от каждого

шороха. А когда однажды услышала человеческие голоса, обомлела, хотела бежать, но ноги точно приросли к земле.

Так вот случайно и попала Маша к партизанам. Определили ее в санитары. День и ночь сидела у изголовья раненых. Окруженные ее заботой, парни выздоравливали. Как-то пришлось спешно оставить уютную землянку, обтянутую шелком от немецкого парашюта. Раненого погрузили в сани, он умер в дороге на руках Маши. Корила без конца: «Не спасла, не уберегла!» А тут еще вести, одна другой горше: двоюродную ее сестру, Марусю Постникову, немцы повесили, родную сестру Нюру и ее четверых детей расстреляли. Само собой и пришло решение: мстить! Идти на самые опасные дела! Командир отряда дядя Миша сопротивлялся как мог, но не устоял.

Не подвела Маша командира, работала не хуже мужиков. Одна из сильных стычек с немцами произошла в деревне. Маша выполняла роль наблюдателя-корректировщика. Удобно примостилась на чердаке крайнего дома. Вот от кустов отделилась орава солдат и бросилась напрямик к деревне.

— Левее вышки — немцы! — доложила Маша.

Ахнули партизанские пушки, выдвинулись вперед пулеметчики. Атака фашистов захлебнулась. Враг пустил в дело тяжелые орудия. Загорелись почти все строения. Невредимым, на счастье, оставался лишь Машин наблюдательный пункт. После попадания снаряда в дом девушка успела сообщить:

— Слева и справа от села — танки!

Партизаны избежали ловушки, отошли организованно. Машу сняли с наблюдательного пункта раненную, потерявшую сознание.

Из партизанского госпиталя Маша посылала командиру отряда записки:

> «Я уже здорова, а врачи не пускают. За что такое наказание? Возьмите меня к себе, дядя Миша!»

И снова боевые будни. Маша ходила в разведку, ставила мины, била фашистов из пулемета, приводила пленных…

— Хороша Маша, ничего не скажешь! — заключил Петя Белый, вырезав из газеты заметку и портрет девушки.

Войска продолжали наступать. Путь на запад мы отсчитывали теперь не шагами, не метрами, как было при штурме деревень в первый год войны, а десятками километров в день. Отступая, враг злобно огрызался. После тишины — вдруг снова свист бомб, шипение осколков, треск горящих хат, подожженных снарядами. Потом опять движение вперед походными колоннами.

Брянская улица ведет нас на запад, к Минску, к Варшаве, к

далекому еще фашистскому логову.

В одну из сентябрьских ночей взят Почеп. Среди развалин высится церковь. В пойме реки перед городом дымятся костры. Фашисты посекли из пулеметов большое стадо. Люди поспешно разделывают туши, варят огромные куски мяса в котлах: соли нет, не пропадать же добру.

На дорогах к Почепу — поток повозок. В упряжках, как правило, коровы. На каждой телеге имущество нескольких семей. Женщины машут длинными хворостинами. Во главе обоза — мальчонка. Ухватившись руками за узду, упираясь босыми ногами в землю, он изо всех сил тянет буренку вперед, молит ее скорее идти домой.

На одной из повозок среди узлов и коробов сидит старуха. Слезящимися глазами она смотрит то вперед, то направо, то налево и не может сообразить, осмыслить, что же здесь творится. Только что гавкали, угрожали немцы. И нате — будто ангелы с неба, запыленные, усталые, но с веселыми искорками в глазах свои, русские парни. Умеют они так, между делом, на ходу приласкать и старого, и малого, одарить озорной улыбкой и ломтем хлеба. Старуха крестится, что-то шепчет, видно, хочет сказать, что дошли до Христа-спасителя ее молитвы, покарал бог незваных гостей, дал силушку сыночкам и отцам.

Телега поравнялась с разбитыми немецкими танками и машинами, спущенными под откос. Старуха заулыбалась, расправились морщины на лице. И опять она крестится, радуется тому, что хорошо побили наши чужеземцев, побили так, что забудут они дорогу в наш дом.

От Почепа до Унечи — 50 километров. Этот путь пройден с боями всего за два дня. В наступлении каждый солдат полон выдержки и находчивости. В те дни я побывал в стрелковой роте лейтенанта Дойникова. Преодолев топкое болото, рота с ходу завладела селом на подступах к Унече. За селом — снова болотина. В азарте броска бойцы не обращали внимания на хлюпавшую в сапогах жижу, на промокшую, прилипшую к телу одежду. Только вперед, только в город. До него рукой подать! И откуда ни возьмись — сильный огонь с фланга. Немцы вырвались из засады, бросились наперерез наступающим. Еще несколько минут — и фашисты добьются успеха: два взвода будут отсечены, третий уничтожен из пулеметов.

Лейтенант Дойников дал условный знак: залечь! Комроты прикинул, что у фашистов явный перевес сил, они идут на рукопашную, на ближний бой. Принимать его в такой обстановке — значит зря пролить кровь. Рядом с командиром залег расчет станкового пулемета. Ребята как бежали, так и

плюхнулись в небольшую лунку.

— Огонь! — приказал лейтенант.

— Как огонь? Можно же полоснуть и по своим? — засомневался пулеметчик.

— Не мешкай! Бери прицел выше, в грудь фашистов.

Рота поняла действия своего командира без слов. Стрелки лежали в болоте не шевелясь, не приподнимаясь, давая возможность пулеметчикам бить немцев.

Фашисты не успели приблизиться на бросок гранаты, как пулеметный огонь покосил их. Контратака отбита. И тут же команда во весь голос: «Вперед, товарищи, вперед!»

На восточной окраине Унечи — окопы в полный профиль. Там вражеские пулеметы, пушки, долговременные огневые точки. Об этом разузнала наша воздушная разведка. По телефонным проводам идет команда: «Отставить лобовую атаку!»

Пехота, а за ней и танки устремились к дорогам, ведущим от Унечи на Сураж и Клинцы. Оседлать их — значит накинуть петлю на немцев в городе.

Ночью враг в Унече дрогнул, начал отходить.

В этот момент лейтенант Николай Дойников получил команду наступать. Взвились ракеты. И как эхо то здесь, то там понеслось: «Вперед!»

Еще один маневр. Еще один город наш!

В том 1943 году пришла шифровка из Центрального штаба партизанского движения. Начальник штаба П. К. Пономаренко предписывал откомандировать в распоряжение штаба Аркадия Кулешова.

Не просто было сказать: «До свидания, Аркаша, до встречи!»

Как-никак со «Знаменем Советов» шагал он с первых дней войны. Поэт, сочиняя рифмованные шапки, «оперативные» стихи, не разменивался на мелочи, берег каждую фронтовую минуту. Позднее он сам так напишет о своей военной судьбе:

> «24 июня 1941 года покинул разрушенный фашистской бомбардировкой пылающий Минск. Пешком проделал горький путь от Минска до Орши. Поездом доехал до Калинина, где добровольно вступил в ряды Красной Армии. Из Калинина был послан в военно-политическое училище под Новгородом. Оттуда направлен на службу в армейскую газету «Знамя Советов».
>
> В 1942 году во фронтовых условиях написал поэму «Знамя бригады». Глубокой осенью того же года прочитал поэму Александру Трифоновичу Твардовскому,

мнением которого, по понятным причинам, я особо дорожил. Поэма Твардовскому понравилась, и он тут же послал ее Михаилу Исаковскому. В начале 1943 года поэму, в переводе М. В. Исаковского, опубликовал журнал «Знамя».

— До свидания, Аркадий! Большого тебе полета! — желала Кулешову редакция.

РЕДАКЦИЯ НА КОЛЕСАХ

Далеко не каждый человек, ежедневно получавший на передовой армейскую газету, представлял себе, с каким трудом рождались ее номера, особенно в наступлении. Уходя в подразделения, мы не всегда знали, где встретимся. Зато каждое возвращение было праздником, особенно тогда, когда поспевали к редакционной летучке.

Вся газетная семья собиралась в хате или в большой землянке, а иногда, в теплые погожие дни, просто на полянке или в лесу.

В президиуме восседали редактор Владимир Борисович Фарберов и секретарь редакции Максим Нечетов. Максим, чернобровый, подтянутый, как говорится, мужчина в соку, обладал каким-то исключительным «нюхом» на материал. Пройти через него и попасть в номер было не так-то просто. Он никогда не откладывал материал в долгий ящик. Пробежав представленные ему заметки или зарисовки, он тут же заключал: «Похвально!» Но чаще Максим возвращал материал и, иронически сжав губы, уставив на собеседника смеющиеся глаза, категорически заявлял: «Не пройдет! Халтурка!» Это его «Не пройдет!» приводило не раз в бешенство и Игоря Чекина, и Ваграма Апресяна, и других, имеющих писательское звание. Мы, молодежь, в спор с Максимом не вступали, так как знали, что бесполезно. Лучше уж уйти, порвать свой опус или изыскивать изюминку.

Для нас ясно было, как дважды два, что легче всего напечатать призыв бить врага, труднее подсказать, научить людей, как действовать в тех или других условиях. В этом — линия «Знамени Советов».

На летучках обсуждали содержание газеты за истекшую неделю. Дежурный критик отмечал последовательность выступлений газеты, приводил в пример лучшие «гвоздевые» материалы, по косточкам разбирал корреспонденции и заметки, «ловил блох». Потом выслушивались предложения. Петя Белый обычно заявлял:

— Я думаю, надо побольше печатать материалов под рубрикой «Из опыта боев». А то у нас некоторые товарищи «декламацией» занялись.

Сыпались реплики: «Нельзя ли конкретнее?»

— И так ясно.

Игорь Чекин горячился:

— Для души солдата надо уметь писать! У тебя, Петя, одна

уставная тарабарщина. Песню новую не мешало бы в очередной номер дать.

Редактор обычно молчал, сосал трубку и время от времени что-то записывал в книжечку карманного формата, с которой никогда не расставался. В заключение он подтверждал мнение критика о лучших материалах, поддерживал дельные советы, посвящал нас, какие вопросы решает Военный совет армии.

Это помогало нам заглядывать вперед на месяц, два, а то и больше. Мы узнавали, что впереди будут то леса, то водные преграды, то села или города. А это означало, что в походах надо искать офицеров и солдат, знавших по личному опыту, как бороться за отдельный дом, как воевать на водном рубеже, в лесах и болотах.

Писатели, поэты, корреспонденты и фоторепортеры всегда были в поиске фактов и новых форм подачи материалов. Повторяться, делать все на одну колодку не позволяла совесть и профессиональная гордость.

Колдовали кропотливо над макетами, время хоть и военное, а лепить полосы тяп-ляп нельзя. Они должны играть красивой верстской, шрифтами: текстовыми и заголовочными, разнообразным набором.

Доставалось от этих задумок рабочему классу редакции — наборщикам, верстальщикам, цинкографам, печатникам, корректорам. Доставалось завхозу Гукаю: хоть из-под земли вынь, да положь бумагу, типографскую краску, и не одну, а разных цветов. Достань спирт, свежие яйца, кислоты и щелочи, фотопленку для цинкографии и репортеров, масло, керосин, бензин для моторов, мыло и ветошь для рабочих и шоферов.

Во время наступления почти каждый день передвигались вперед и цехи: печатный, наборный, цинкографский, корректорский. За ними следовали подсобные службы. Водители редакционных машин приобрели вторые профессии: монтеров и мотористов. Движки безотказно давали в нужное время свет, приводили в действие печатные машины.

Шоферам кроме всего прочего приходилось нести патрульную службу. Для офицеров и рядовых не существовало ни дня ни ночи, ни будней ни праздников. Отдыхали лишь тогда, когда позволяли обстоятельства, когда было ясно, что сегодня газета выйдет и попадет в полки. В бросках и походах приспосабливались отдыхать накоротке, спать в кабинах машин или на самодельных раскладушках, вместо одеял служили шипели, полушубки, плащ-палатки.

Каждый знал, как говорят, свой шесток. Коле Погребному, водителю первого класса, доверили форд с наборным цехом. При

переездах машина Коли первой отправлялась в путь, с тем чтобы на новом месте выиграть время для подготовки рабочих мест, успеть разобрать старые полосы и подготовиться к набору и верстке. Мне было поручено сопровождать форд. В планшете — новенькая карта с обозначением маршрута и конечного пункта назначения.

Управлял Коля машиной, как игрушкой. В пути любил поговорить, сыпал шутками, а чаще сетовал на то, что занимается на фронте не своим делом. Ему хотелось управлять тяжелым танком, бомбовозом или истребителем. А тут, словно в наказание, приходится возить какие-то шрифты и бабенок. Слово «бабенки» в устах Николая не звучало презрительно. Чего, чего, а покорять женские сердца своими озорными лукавыми глазами сибиряк Коля умел, чем вызывал ревность со стороны отдельных представителей офицерского корпуса: солдат, мол, а лезет в гусары! И только внешне, напоказ Коля презирал «вояк в юбке». Он выговаривал себе под нос оскорбительные словечки по адресу постоянных пассажирок своего форда. Проказник-водитель не избегал даже малейшего случая, чтобы разыграть девчат, заставить их подрожать, поволноваться. Он нарочно проскакивал на большой скорости ухабы, сворачивал без надобности на обочины дорог, чтобы машину бросало из стороны в сторону, качало вправо и влево, как крылья самолета, чтобы в крытом брезентовом кузове стояли вопли и визг.

— Зачем ты так, Николай? — удивлялся я.

— Пусть почаще жалуются девчата Гукаю, меня скорее выгонят в три шеи, зато попаду куда хочу, то есть на передовую.

В первый год войны Коля получил письмо о смерти брата, погибшего в атаке. Поэтому рвался в бой. Он просил встречного и поперечного помочь ему перевестись в часть, чтобы немцам от него было жарко, чтобы можно было давить их гусеницами машины или косить пулеметными очередями с воздуха. Порыв парня все хорошо понимали, но ведь классные водители, такие, как Коля, редакции нужны позарез.

Коля рассказал мне о своем трудном, беспокойном детстве. Глубоко запали в память его рассказы. Запали, видно, потому, что были услышаны в минуты отдыха. Чаще всего это было вечером, когда редакционное задание выполнено, можно помечтать, поразмышлять, пооткровенничать. За свою короткую жизнь Коля прошел уже и огни, и воды, и медные трубы: он исколесил многие сибирские тракты, тонул в бурной реке, горел в машине. Детская память сохранила грозные годы гражданской войны, набеги белогвардейцев и интервентов, отвагу партизан, среди которых дрался и его отец.

Коля любил слушать мои рассказы о когда-то прочитанных книгах. Иногда он просил посочинять вслух. Одно такое «сочинение» он украдкой записал.

— Возьми на память. Один экземпляр я оставлю себе, — сказал он с большой теплотой.

На листочке из тетради рукой Коли было написано:

> «21 июня 1943 года.
>
> Над городом тихий, безоблачный вечер. Над куполом церкви вьются стрижи и галки. У газонов в скверике бегают ребятишки. И если бы не щели и блиндажи во дворах и на улицах, заросших бурьяном, если бы не стены торгового ряда без крыш и окон, если бы не мощные кирпичные стены, изуродованные разрывными пулями, — ничто не напоминало бы о недавно прошедших здесь боях.
>
> Густые тени заполнили двор. На теплый песок легли тени наших редакционных машин, выстроившихся в ряд. Средняя тень машины с крытым кузовом, с распертыми бортами мне милее всех. Почему? Потому что она Колина!
>
> Наш с Колей и цветастый горизонт! Наша развесистая липа, за сучок которой зацепился серп луны. Наши липа и ель — эти странные соседки, прижившиеся у забора. Когда-то они, видно, враждовали, а теперь, вытянувшись к свету, забыли о ссорах. Обеим вдоволь воздуха и солнца. И нам с тобой, Коля, хватает того и другого. Откуда же пришла наша дружба? Ведь без нее было бы очень трудно воевать!»

Форд Коли Погребнова стал нашим домом. Коля и сам иногда настраивается на лирический лад. Один наш привал он обрисовал так:

> «Дубовый лист проник в окно кабины. Луна заворожила деревья. Березы побледнели от страха. Спят в лесу малыши, свернувшись в клубок, прижав к лицу розовые кулачки. Им снятся неведомые земли и страны. Когда-то и мы мечтали побывать за горами-за долами, побывать, только не в шинелях и не с винтовкой…»

Над входом в бомбоубежище висит плакат: «Хочешь жить — убей немца!»

Коля заразительно смеется:

— Хороша наглядная агитация, ничего не скажешь! «Убой

немца! — сказал он, полезая в щель!»

Как-то на лице Коли я заметил грусть.

— С чего, друг?

Он молча пожал плечами, потом сказал:

— А ты полюбуйся вон этим.

На дереве, подрубленном снарядом, висел рушник. На нем вышиты красные петушки и слова:

> «Не дорога была работа, подарить была охота. Кого люблю, тому дарю. Люблю сердечно, дарю навечно».

— Прелесть! — сказал я.

— Не то слово. Домом повеяло, мамой, девчатами, — размышлял Коля.

Дружил Коля Погребнов с Николаем Силаевым, который прислал как-то по почте в редакцию частушки. Они всем понравились и без правки пошли в набор,

> Итальянцев батальоны
> В бой суровый брошены,
> Как сухие макароны,
> Все они раскрошены.

Потом военкор стал работать в редакции. Он часто уединялся, что-то писал. В конце концов стало известно, что скромный, тихий человек создал поэму. Редакционные, настоящие поэты дали высокую оценку трудам красноармейца. Отрывок из поэмы «Родные берега» занял в газете всю вторую полосу. Для такой щедрости были основания. Силаевские строчки просились к солдатским окопам:

> Не позабудет сердце никогда
> Речонку грустную, где тихая вода,
> Как детские глаза, чиста и голуба,
> Где каждая тропинка мне люба
> И дорог каждый куст под яблонею дикой.
> Там осень пахнет спелой куманикой,
> Там поступь ветерка всегда легка,
> И в омуты сухой тростник глядится,
> Окрашенные радугой синицы
> Качаются на прутьях ивняка.
> Любимая Пратва! Я в детстве здесь бродил,
> Плотву ловил весною на быстринке,
> А осенью сюда за хворостом ходил,

Картошки пек в костре и плел корзинки.

Стихи Силаева, проникнутые легкой грустью о родных местах, о доме, о дочурках, многие солдаты вырезали из газеты и со своими приписками запечатывали в конверты, посылали близким.

Николай Силаев держался ближе к шоферам, ко всем, кто числился в обслуживающем персонале. Он с щедростью посвящал и дарил на память стихи полюбившимся ему людям. Осенью 1943 года Силаев написал стихи, которые назвал: «На память Николаю Погребнову».

Когда травою зарастут траншеи,
Взойдут из пепла избы деревень,
Тогда повяжешь галстук ты на шею
И кепку серую наденешь набекрень.

Глаза увидят облик жизни мирной,
Привыкнут уши к ласковым словам.
Лишь перед зеркалом ты встанешь «смирно»
И даже руки вытянешь по швам.

Пойдешь ты вольно после этой бури,
Никто тебе не встанет поперек.
На солнце взглянешь ты, глаза прищуря,
И лишь ему отдашь под козырек.

И не в лесу, под сводом туч угрюмых,
Готовых из ведра тебя облить,
А за столом, среди друзей и рюмок,
Ты до рассвета будешь патрулить.

Одна, красивая, как хмель, тебя закружит,
И в грудь вольет девичий голос-мед
И без оружия тебя обезоружит,
Сама плененная, в полон тебя возьмет.

И в путь пойдешь ты с этой сероглазой,
В далекие, счастливые края.
И ты исполнишь все ее приказы,
Как исполнял приказы Гукая.

Неожиданно на Колю Погребнова свалилась новая беда. Ему

было предписано отправиться в госпиталь, так как врачи подозревали туберкулез.

Расставание было тяжелым. Мы сидели на завалинке, не находя слов от огорчения. А сказать хотелось бы многое. Сколько трудных дорог пройдено вместе! Золотые у тебя, Коля, руки, железная воля, нежная, отзывчивая душа! К тебе ревниво относились другие наши редакционные водители. Там, где некоторые из них ломали голову, проявляли робость, ты находил смелые решения. Помнишь, как ты почти перелетел на форде с одного берега на другой, обошелся без моста и прибыл на пункт назначения на три часа раньше других? За это тебе крепко влетело от завхоза Гукая. Ты стоял тогда, вытянувшись в струнку, а майор угрожал суровой расправой. Шутка ли? Ведь только случайность спасла наборщиков от гибели, а машина твоя не угодила на дно реки. Гремели угрозы, а в глазах твоих была написана ухмылка: «Сумел, мол, «летать» на грузовике, поднимусь в воздух и на истребителе!»

Вечными зарубинками в памяти останутся наши маршруты: Унеча, Клинцы, Новозыбков. Твоя машина познала и асфальт, и булыжник, и гати. Не тронула тебя вражеская пуля, бомба и снаряд, подточили, знать, холодные росы.

Помню, как скрылась в осеннем тумане твоя фигура. Вещмешок за спиной тяжелым камнем клонил тебя к земле. Ты не оглянулся и, наверное, как и я, смахнул с глаз предательскую слезу.

Только после войны узнаю я, что ты, Коля, добился-таки своего, попал в танковую часть, участвовал в штурме Берлина и во время переправы через Шпрее был искалечен…

— Не грусти! — утешает Игорь Чекин. — Видно, так устроена наша жизнь, в ней только одни встречи и расставания. Где-то воюет наш друг Саша Калинаев? Его ведь тоже отправили в госпиталь. Кажется, это было еще под Старой Руссой, когда мы снимались на переформировку.

Редакционные машины укрылись в осиннике. Игорь Чекин, накинув на плечи шинель, пристроился в старом плетеном кресле. Опускался вечер, низина окуталась зябким туманом. Игорь в этот раз много говорил. Его рассказ звучал исповедью. Родители хотели, чтобы он стал актером. И он играл на сцене, потом потянуло к перу. Так и появились сценарии, пьесы. Перед войной работал над художественным фильмом об Алексее Стаханове — «Ночь в сентябре».

Меня трогали не столько факты и случаи из жизни, о которых говорил Игорь Чекин. Дорого было желание друга сделать уютным и добрым этот вечер, чтобы отошла душа от расставания

с Колей Погребновым, чтобы накопился заряд бодрости. Завтра в наступающих частях я буду жить этими минутами, проведенными вместе, жить и торопиться домой, в редакцию, чтобы увидеть снова друга.

«Вся жизнь — расставания и встречи!»

Эти слова, кажется, только вчера сказал Игорь Чекин. И надо же так случиться, что теперь и ему надо говорить: «До свидания, до встречи!»

Игоря перевели в газету авиационного соединения. От него шли теплые письма.

> «Не завидуй, друг, — писал он. — Знаю твою страсть пожить среди летчиков, написать о них. А они действительно очень славные ребята. Полюбуйся хоть одним — бывшим беспризорником, а теперь настоящим асом, героем воздушных боев в брянском небе».

Из конверта выпала вырезка из газеты. Над двумя полуподвалами — крупный заголовок: «Две жизни Андрея Рублева».

У Игоря ни много ни мало родилась новая повесть. Молодец! На новом месте — и сразу в карьер!

Жаль, что друга нет рядом. Одно утешение: воюем-то на одном Брянском фронте.

Брянская земля! По тебе отступали наши солдаты в 1941-м. Горько, до слез обидно было уносить с собой молчаливые укоры мирных жителей, остающихся на суд и расправу врага.

Брянская земля! По тебе мы идем теперь победителями! Мы сполна познали щедрость и доброту людей, живущих в твоих селах и городах. Низкий поклон всем вам, одарившим нас вниманием и лаской.

Поклон той хозяйке, что ходила на рассвете на цыпочках, чтобы не дай бог невзначай не разбудить нас, чтобы вовремя истопить печь, согреть самовар, попотчевать тем, что осталось в доме. Вечером, запахнувшись в потертый полушалок, женщина рассказывала о житье-бытье при немцах. Ее сын, Женя, бледный, худенький, не перебивал мать. С большим старанием он растапливал печку-лежанку, чтобы в сумерках пригласить нас к огоньку. При отблеске пламени он рассматривал погоны, осторожно дотрагивался до них. Милый мальчик, познавший много горя, не верил, что в его доме живут сейчас свои, мирные солдаты.

Не верил, может, еще и потому, что свобода пришла совершенно неожиданно. Только что фашисты ходили по деревне, заглядывали в дома, землянки и кричали: «Рус, рус!» И после

этого другой властный голос:

— Эй, кто там? Выходи!

Мать с распущенными волосами выскочила на улицу. У входа в землянку стоял солдат с гранатой в руках. Взгляды матери и красноармейца встретились. Испуг в глазах сменился радостным огоньком. Мама, не помня себя, закричала:

— Ур-ра!

Родная деревня всполошилась, как улей. Красноармейцы прочесали блиндажи. В офицерских хоромах полно бутылок и фляг с напитками. Красноармеец пытается глотнуть, но мать остановила: «Не трогай! Может, отравлено». Фляжка повисла в руке. В это время из другого блиндажа выполз пьяный фашист. Присел, сощурился от солнца, глотнул из фляги, сунул в рот полплитки шоколада, бормочет: «Гут, гут!»

— Проспал царствие небесное, фриц! — смеются солдаты.

— Постойте, постойте, ребята! Послушайте, что бормочет фриц?

— Яснее ясного: «Гут, гут».

— Раз «гут», можно и причаститься!

Поклон той семье, где с ночи заливался на печи ребенок, партизанский сын. Уставшая за день молодая мать спросонку ворчала, шлепала парня, но ничего не помогало. Мать прошептала: «Спи ты, партизан непутевый, развоевался не чище фашиста вонючего». Оскорбленный до глубины души «мужик» умолк. Видать, с характером человек!

Дни коротких привалов в городах и селах запомнятся на всю жизнь. Не забудутся Клинцы, Новозыбков, Злынка. Мы прошли уже Мглин, Сураж, Молодьково, Жастово, Семиречи. Кончается брянская улица.

Мы вступили в Белоруссию. Наш путь на Гомель, Бобруйск. До свидания, брянская земля! До новой встречи! Теперь уж после разгрома врага, после победы!

ДНЕПРОВСКИЙ ВАЛ

Приближалась 26-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Эти дни были жаркими для редакционного радиста Павла Мусько. Он день и ночь колдовал у аппаратуры, требовал от Гукая запасные лампы и аккумуляторы. Надо было подстраховать себя во всем, чтобы не сорвать прием передач из Москвы.

Напряженной была ночь на 7 ноября 1943 года. Дикторы передавали доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. Сталина на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся совместно с партийными и общественными организациями. А после доклада началась передача приказа Верховного Главнокомандующего. Размер материалов был настолько велик, что пришлось заново набирать все четыре полосы.

Павел Мусько дважды подчеркнул заголовки разделов доклада: «Год коренного перелома в ходе войны», «Всенародная помощь фронту», «Укрепление антигитлеровской коалиции. Развал фашистского блока».

Красная Армия отвоевала у немцев за истекший год две трети нашей земли, захваченной ранее немцами, и вызволила из-под немецкого ига десятки миллионов советских людей.

В наступательных боях истекшего года наши войска обогатились опытом ведения современной войны. Теперь немцы, как огня, боятся окружения и при угрозе обхода их нашими войсками бегут, бросая на поле боя свою технику и раненых солдат. Наши успехи велики, но предаваться благодушию опасно.

Сдав принятые материалы Максиму Нечетову, Павел Мусько вытер лоб, собираясь подремать, но диктор из Москвы предупредил, что через несколько минут будет передаваться для газет новое важное сообщение.

— Помогай, друг, — попросил Мусько, — глаза слипаются. Я буду при тебе, буди, если случится какая помеха.

Заточив про запас карандаши, я сел к приемнику.

> «Приказ Верховного Главнокомандующего, — передавал диктор. — Генералу армии Ватутину.
>
> Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительно проведенной операции со смелым обходным маневром сегодня, 6 ноября, на рассвете штурмом овладели столицей Советской Украины, городом Киев — крупнейшим промышленным центром и

важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на правом берегу Днепра. Слова «Киев», «Днепра» подчеркнуть…»

Официальными документами были заполнены все очередные номера газеты. Материалы об опыте боев наших частей за Днепровский вал не раз вылетали из сверстанных полос. Лежала в гранках и моя статья. Мне удалось своими глазами видеть, как осуществлялся прорыв одного такого вала.

После боя мы осматривали блиндажи, отбитые у немцев. Не сейчас, не наспех они были построены. Стены оклеены обоями, накаты успели просохнуть. Значит, немец орудовал здесь еще летом, когда бои шли, наверное, на брянской земле. С холмов, отвоеванных у немцев, густой паутиной тянулись на восток ходы сообщения. На гребне высот они сходились в широкий рукав, образуя на многие километры сплошные траншеи в полный рост, с площадками для пулеметов и «лисьими» норами для укрытия солдат. За первой шла вторая, третья линия обороны. Перед позициями немцев — степь без конца и края. На эту хорошую видимость и рассчитывали немцы, предполагая, что скрытно накопить здесь большие силы невозможно. Слева от немецких позиций был, правда, солидный овраг, но за него фашисты были спокойны, так как топкое дно оврага не взяли даже морозы, там завяз не один немецкий танк и тягач.

Много дней провели перед немецкими позициями разведчики пехотных, танковых и артиллерийских частей. Выяснилась интересная деталь: спокойно и безлюдно выглядят немецкие траншеи днем. Между двумя и тремя часами дня фашисты обычно забираются в землянки, унося с собой оружие. Кое-где остаются часовые. Вот в такие-то часы и начиналась обработка оврага. Танки на приглушенных моторах тянули в овраг тягачи с землей, песком, бревнами. Болото постепенно отступало. В один из дней в полуденное время в овраге сосредоточилась пехота, а танки притихли на твердых склонах оврага.

В обеденный немецкий час началась наша артиллерийская подготовка, а затем — атака пехоты, поддержанной танками. Вал пал.

По поводу взятия Киева и наших успехов на Днепровском вале был подготовлен очередной 241-й номер «Вралишер Тарабахтер». Как всегда, здесь было помещено обращение: «Арийцы! Выписывайте и читайте газету «Вралишер Тарабахтер». Она по карману любому арийцу. Ей грош цена». Номер открывался сообщениями немецких корреспондентов на востоке:

«Пока мы форсили, русские форсировали Днепр тчк.

Фон Драпке».

«Было дело под Полтавой тчк. Из этого дела я еле-еле (пропуск телеграфа) Фон Хапке».

«Русские через какого-то Гоголя передают: «Чуден Днепр при тихой погоде». Арийцы! Не верьте этим слухам. Там не тихо и не чудно.

Тот же Гоголь написал еще «Мертвые души». Мы знаем, на кого он намекает. Гоголь за распространение ложных слухов и за клевету на арийские души будет расстрелян».

В конце 1943 года в Белоруссии шли бои северо-западнее Витебска. Как сообщало Совинформбюро, наши войска вели бои местного значения, в результате которых продвинулись вперед от шести до десяти километров и заняли больше 50 населенных пунктов. Шоссейная дорога Невель — Усвяты очищена от противника.

На юге Белоруссии вдоль реки Припять советские войска прорвались далеко на запад. Выступ был так велик, что если бы можно было выпрямить фронт, то получили бы свободу и Рига, и Каунас, и Вильнюс, и конечно же Минск и Барановичи.

Так нам хотелось, так мечталось. Но поступил приказ закрепляться на достигнутых рубежах. Линия фронта к этому времени заметно сократилась. Появилась возможность высвободить высший командный состав для других участков фронта. Командующего нашей 11-й армией генерал-лейтенанта Федюнинского отозвали в Ставку. Нас, армейских работников, послали в резерв.

Никогда бы не подумал, что горше всего на войне оказаться не у дел, без фронтовой семьи, без милых друзей.

Свежи еще в памяти картины редакционных будней. Стоит перед глазами редактор В. Б. Фарберов. В дни, когда хороший хозяин не выгонит и собаку со двора, он приглашал в землянку, говорил:

— Приказывать не имею права. Прошу: надо, чтобы в следующем номере был материал о подвиге батальона. Таково указание Военного совета. — Он смотрел на часы, продолжал: — Сейчас три. Засветло ты до части не доберешься, да и дождь как из ведра. Как быть?

— Раз надо, значит, надо.

Тяжело было расставаться с Колей Лисуном, с которым начали вместе работать еще в июле 1941 года. Коля, кажется, мой ровесник. Его доброе сердце умело проникать в душу солдата. Ему удавались заметки, статьи, очерки о политической работе в

армии.

Тих, тих парень, а всех как-то ошарашил: «Женюсь!» Когда только успел он найти общий язык с корректоршей Женей. Как теперь-то будете жить вы, Коля и Женя?

Не услышишь теперь движка Ивана Колупаева. Заведя с вечера мотор, Иван чинно, не спеша забирался в кабину своей машины и спокойно спал до утра под шум печатного станка. На рассвете, хлебнув из медной кружки студеной воды и задымив козью ножку, по складам читал свежий номер. Запнувшись на каком-нибудь слове, он чесал затылок, шел к дежурному по номеру, тыча пальцем в непонятное ему слово, спрашивал:

— Это чаво?

— Чаво, чаво, ошибка! Пораньше-то не мог встать? Печатник, стоп!

Приведется ли встретиться с милым Павлом Мусько?

Выйдя, как он говорил, из своей радиоберлоги, спрашивал:

— Ну, как там на передовой? Чегой-то я устал нынче. Выпить бы, что ли?

— Сейчас вечер, можно бы, да где горючее возьмешь?

— Вот чудак. А разве не получил сегодня новый химикат, аккуратненькую такую коробочку, от иприта она, что ли?

— Ну, получил, а при чем тут коробочка?

— А ты раскрой коробочку-то, там есть две пробирочки. В одной из них чистейший спирт! Одной порции вполне на двоих хватит!

А вчера, прощаясь, Павел грустно сказал:

— Запиши мой адрес, Женька. Ведь мне не от кого ждать весточки, кроме как от тебя!

Михаил Строков, Ваграм Апресян, Максим Нечетов, Петя Белый, Володя Авсянский… Милые друзья! Расставаясь, вгорячах мы даже не подумали, что дни, проведенные в походах, так сроднили нас и что мы еще долго будем тосковать друг без друга.

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Новый, 1944 год несколько сотрудников «Знамени Советов», в том числе и я, встретили в деревне Залипье, во фронтовом офицерском резерве. В резерве свои, особые порядки. Старшины и сержанты водят офицеров строем в столовую. Только и слышишь команды: «Встать!», «Сесть!», «Строиться!», «Рассчитайсь!». Офицеры ходят в караулы, заготовляют дровишки и топят кухни, черные крестьянские бани. После настоящих дел на передовой такое житье в тягость. Нелепо и досадно чувствовать себя нахлебником, после того как познали мы бои 1941 года под Старой Руссой, на брянской земле, и здесь, в Белоруссии. Было всякое.

А теперь…

Изба на курьих ножках бабки Настасьи, которая с утра до вечера сидит за пряжей, изредка плюет на кудель, сматывая нить в клубочки. Окна не занавешиваются, и старуха, как часовой, замечает все, что творится на улице: на площади возле дома Настасьи идут строевые занятия, люди в шинелях и полушубках учатся отдавать честь, выходить из строя и становиться в строй, стучат каблуками по льду, отбивая гусиный шаг. Вьется пар из походной кухни. «Слава богу, скоро шабаш, — шепчет бабка, — отойдут хоть немножко мужички». Настасья сыплет прибаутки, дает советы на все случаи жизни. «Болит головушка? Значит, прихватил «головной» тиф. Лечить его надо кислым. И не возражай и не перечь! Нешто неизвестно, что любой тифозный просит квасу?»

Настасья ты, Настасья! Мудрая ты у меня и добрая. Вижу, что хочешь меня развлечь. Сердцем ты разгадала чувства солдата, видишь, что из головы не выходит одна думка: скорее бы снова на фронт. Там, окрыленные летними успехами, наши части продолжают теснить немцев на запад. Освобождены Гомель, Речица, Мозырь. Сейчас бои идут в Полесье.

В полночь стук в окно. Настасья с испугу крестится на печи. «Христос с вами! Хоть бы полегше лупили в раму-то. Того и гляди раскатятся бревнышки». А за окном: «Капитан Петров здесь?»

— Здесь.

— В наряд! Прихвати у хозяюшки топор и пилу.

Старшина пояснил, что завтра банный день и моя задача за ночь заготовить впрок и воду, и дровишки, чтобы к утру дышали жаром камни.

Ночь пролетела как миг. Не заметил, как наступил рассвет, и потянулись к бане отделение за отделением. «Сливки» снял

старшина, мылся с сержантами первым. Только и было слышно: «А ну, еще кипяточку!», «А ну, студеной водички из колодца!», «Живей, живей!», «Шевелись!». Наглости и беспардонности этих штабных резервистов, видно, не было предела. Они, наверное, видели в нас людей, желающих до конца войны отсидеться здесь. Хотелось послать этих тыловых крыс к чертовой матери, да сдерживался, решив, что приму самое первое предложение, хоть к черту на рога, чтобы не видеть это «тихое» резервное житье.

И мне наконец повезло. В ясный морозный день вызвали в штаб и вручили предписание отбыть в 354-ю стрелковую дивизию в качестве редактора красноармейской газеты «Советский патриот». Михаил Строков, прощаясь, обещал вызвать в армейскую газету, где он снова работает заведующим отделом армейской жизни. Но ждать нет больше сил!

В дивизию добрался на перекладных. Она располагалась под Калинковичами. Начальник политотдела дивизии полковник Буцол встретил приветливо, сразу же ввел в обстановку. Дивизия имеет много боевых заслуг. Сформированная в Пензе, она участвовала в разгроме немцев под Москвой. Напутственное слово бойцам и командирам сказал в те дни Михаил Иванович Калинин. Полки вступили в бой под Сходней. Дивизия входит в состав 65-й армии, которой командует генерал Павел Иванович Батов.

— В газете, — пояснил полковник, — положение не блестящее. Редактор, писатель Агаков, выбыл по болезни. Газета, по сути дела, бесхозная. Люди там хорошие, но работают без перспективы, живут одним днем, добросовестно собирают заметки, лепят их одна к другой. Оборудование для типографии не богатое, собрано с бору да с сосенки. Возлагаем на вас, капитан, большие надежды. На мою помощь можете рассчитывать в любое время суток. Редакция — в соседнем селе. Представитесь сами. Желаю удачи!

На месте деревни, которую назвал полковник, оказался всего один дом. Встретил меня щеголеватый капитан, одетый с иголочки. Широкий ремень с надраенной бляхой подчеркивал почти девичью талию. Лоснились хромовые сапоги, голенища гармошкой. Вытянулся тростинкой, отрапортовал:

— Капитан Аипов, заместитель редактора, исполняю обязанности редактора!

— Очень приятно, капитан. Будем знакомы.

— Разрешите представить личный состав?

— Будьте любезны!

— Лейтенант Сергей Аракчеев — секретарь редакции.

— Старший лейтенант Николай Янтиков — корреспондент-

организатор.

— Старшина Алексей Сергеев — наборщик и печатник, мастер на все руки.

— Рядовой Бондаренко — наборщик.

— Рядовой Горошкин — наборщик.

— Рядовой Баулин — печатник.

— Рядовой Рябоволенко — наборщик, помощник печатника.

Я спросил старшину:

— А где же печатная машина?

— Вот она! — Старшина поднял дерюгу. На стареньких, видавших виды носилках прикреплена болтами машина, приводимая в действие от рычага. При виде крохотного печатного станка, место которому в каком-нибудь краеведческом музее, сердце мое сжалось. Но огорчения своего не показал. Мало ли их будет впереди?

И пошло! Чем дальше, тем больше. Типография передвигается на санях и телегах. Лошади тощие, лохматые.

— Каждый мерин и кобыла что надо, с причудами, — пояснил печатник Иван Баулин, одновременно выполнявший обязанности конюха. — Может, прокатитесь верхом, товарищ капитан?

Чтобы не ударить в грязь лицом, я решил сесть в седло. Кобыла то крутилась на одном месте, то брела к канаве, то перла под встречные машины.

— Милое животное, нечего сказать! Посмеяться решил для знакомства? — обрушился я на Баулина.

— Боже упаси, товарищ капитан! Эта кобыла у нас самая резвая, только слепа на один глаз, ее вовремя надо поправлять поводком, тогда пойдет куда надо. А вот у Серухи совсем другой характер. Ее хоть кнутом, хоть палкой бей — не шелохнется, пока ломтиком хлеба с солью не угостишь. Ох и намучился я, пока подобрал ключ к каждой скотинке, но зато теперь, можете мне поверить, транспорт наш очень даже надежный. Сами скоро, товарищ капитан, в этом убедитесь.

Люди настороженно приглядывались ко мне. А я изучал их. Заместитель редактора Семен Аипов вежлив, тактичен. Секретарь редакции Сергей Аракчеев приказания исполняет беспрекословно, от точки до точки, а своих предложений не высказывает. В его глазах, которые он то и дело отводит в сторону, написано: поживем, мол, увидим. А вот старший лейтенант Янтиков с первого часа «проявил характер»: дерзит, перечит без зазрения совести прямо на людях. Над пустяковой заметкой, сданной в набор, подписался как признанный всем миром литератор: Ник. Янтиков. Парень привык считаться, видно, с мнением тех, у

кого большое звание, во всяком случае не меньше подполковника. Он так и хочет сказать: «Приехал какой-то капитан, на одну звездочку больше, чем у меня… Подумаешь!»

Печатник Баулин старательнее всех. Ни одной минуты не сидит без дела. То чинит валенки, то промывает машину, то носится с какими-то медными трубками, что-то мастерит, изобретает. Я похвалил его за усердие, да вышло, что похвалил на свою голову.

После знакомства с соседями вернулся в редакцию и ахнул: все до одного сотрудника во хмелю. Баулин с расплывшейся до ушей улыбкой поднес кружку:

— Выпей, редактор! Не что-нибудь, — первач!

Вот для чего, оказывается, собирал этот «мастер» медные трубочки! Самогонный аппарат соорудил! Хотелось сразу отчитать «изобретателя», да ведь не поймет: пьян в стельку!

Проучил его утром. Взял колун и ударил по тепленькому еще аппарату. Баулина передернуло. Всего ожидал от начальства, только не подобного варварства. Разбить такую ценность, о которой кое-кто мечтает во сне и наяву!

Солдаты и офицеры помалкивали, как воды в рот набрали. Трещала, скорее всего, голова после вчерашнего, но опохмелка не состоялась.

— Пора готовить очередной номер, — сказал я, — потехе — час, а делу — время! Так учил меня отец.

ОДНА ФРОНТОВАЯ НОЧЬ

На фронте, в трудных условиях, люди быстро узнают друг друга, быстро возникает крепкая спайка. Прошло несколько дней, и в нашей «дивизионке» все встало на свои места. Офицеры и солдаты поняли, какие требования предъявляет новый редактор, а я в свою очередь убедился, что сотрудники газеты — товарищи опытные, знающие и любящие свое дело.

Короткие зимние дни пролетали быстро, заполненные работой. Лишь некоторые из них ярко и навсегда запечатлелись в памяти.

Редакция нашей газеты остановилась в белорусском селе. Здесь еще вчера были немцы. Ломит глаза от яркого январского солнца и первозданной белизны. Снег прикрыл свежие пепелища. С местными жителями познакомиться мы не успели. Все они забились от мороза в дом и не высовывают носа на улицу. Люди в лохмотьях расположились где попало: кто на лавках вдоль стен, кто на полу, устланном соломой. Чумазые ребятишки залезли на просторную печь и таращат глаза на взрослых, воображают себя степенными разведчиками на наблюдательном пункте.

В избе полумрак. У дверей на маленьком столике горит светильник, сооруженный из гильзы артиллерийского снаряда. На этом же столике все наше редакционное хозяйство: приемник, стопка бумаги, карандаш.

Мы пообещали вечером включить приемник. Все с нетерпением ждут, когда же наступит этот час. Ждут и не верят, что в этом доме произойдет невероятное, что вот-вот зазвучат позывные Москвы.

И вдруг эфир принес в хату голос Михаила Ивановича Калинина. Голос был какой-то домашний, совсем родной и очень взволнованный.

> «Сегодня исполнилось двадцать лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Прошу почтить его память вставанием».

За тридевять земель, в Москве, в Большом Кремлевском дворце, был Калинин. Знал ли он, что его слышат сию минуту в заброшенной в белорусских лесах деревеньке, только что освобожденной от врага?

Зашуршала солома под ногами. От порывистого движения людей метнулось и затрепетало пламя светильника. Встали старый и малый. Разношерстная людская стена затаила дыхание.

Светлячками горят десятки глаз, устремленных к приемнику. В этих взорах суровость и душевная приподнятость. Обострились морщины у старух. Впали щеки на лицах вдов, хлебнувших до дна горя. У мальчишек и девчонок повлажнели глаза.

Кто-то из них сам, а кто по рассказам старших представляет этот день и час 21 января 1924 года.

Тяжко, невыносимо тяжко было расстаться с тобой, Ленин. Тревожно гудели трубы фабрик и заводов. Останавливались в траурном молчании поезда и пароходы…

Звучит «Интернационал». Слова гимна люди произносят про себя. Им не верится, что в своем родном селе сейчас, как и прежде, можно снова петь во весь голос. Взбудоражились ребятишки. Они с благодарностью осматривают каждого из нас и будто хотят сказать: «Как хорошо, что вы пришли. Нам теперь совсем не страшно. Мы будем снова читать и писать. И никто больше не вырвет из букваря дедушку Ленина».

А на дворе уже темень. У приемника дежурит капитан Аипов. Он под диктовку записывает передачи для газеты. Сообщений много. Их завтра прочтут солдаты на передовой. Вышли из печати избранные произведения В. И. Ленина. В Москве пущена третья очередь метро. Открыты новые станции — «Бауманская», «Сталинская», «Измайловский парк культуры и отдыха». В Харькове возобновил работу Государственный драматический театр…

Диктор предупредил, что после короткого перерыва он начнет передачу «От Советского информбюро». Капитан насторожился. Наступают самые напряженные минуты ночной работы. Фашистские разбойники в эфире за последнее время совсем остервенели. Во время ответственных передач они включают мощные глушители. Попробуй с ними бороться! Передатчик далеко, а глушитель совсем рядом. И на этот раз вышло такое же. В аппарате шум, треск, приходится ловчить, то и дело переключаться с длинной на короткую волну. Пропущена то фраза, то целый абзац. Напрягаясь до предела, Аипов записывает пропуски при сверках. В конце концов сводка принята.

…Наши войска наступают под Новгородом. Фашисток бьют под Ленинградом. Глубокий прорыв Красной Армии на юге. А здесь, в Белоруссии, где-то совсем рядом освобожден районный центр Лельчицы.

Капитан выключил приемник. Тишина разбудила старшину Алексея Сергеева, наборщиков Михаила Горошкина, Андрея Бондаренко. Вспыхнули гильзы-лампады у наборных касс. Застучали верстатки. Сообщения прямо с рукописного листа ложатся в гранки. Старшина смачивает набор мокрой тряпкой,

связывает колонки шпагатом, щеткой отбивает оттиск. Секретарь редакции вычитывает текст. Старшина внимательно следит за корректурой и думает про себя: «Не дай бог, если что-то пропустили. Тогда хоть реви, хоть плачь, а перегоняй букву за буквой целые абзацы». На этот раз все обошлось. Поправки совсем пустяковые. Остается только разверстать заметки на первой полосе и подписать ее в печать.

Печатник Иван Баулин и Митя Рябоволенко сбрасывают с машины дерюгу. Набор осторожно вставляется в раму, прочно зажимается винтами. Баулин бережно, как ребенка, поднимает этот груз и несет в машину. Митя усаживается на низенькую скамеечку справа от машины. По команде Баулина он берет на себя рычаг этой старенькой, допотопной «Бостонки» и плавно опускает обратно. У парня боксерские руки. Эту силу он приобрел на работе. Изо дня в день одно и то же — рычаг на себя, рычаг от себя. Нудно, утомительно. Но Митя, спокойный, добросовестный парень из Сибири, никогда не роптал и не гнушался своего нехитрого дела.

Баулин подслеповатыми глазами изучает отпечаток, режет кусочки картона, полоски бумаги, клеит, не один раз вытаскивает раму из машины. Ему не все равно, как будет читаться текст, набранный сбитыми литерами, которые в мирное время уже давно бы отправили в переплавку. Вот и приходится где усилить, где ослабить натиск, выровнять печать. Баулин промывает талер, проверяет краску, сбивает кипу листов, на которых еще днем отпечатана вторая полоса со своими материалами. И когда все приготовления окончены, Баулин ласково, по-отцовски говорит:

— За работу, Митя!

Оттиск. Еще один. Растет пачка газет. На дворе брезжит рассвет. Тираж готов. Его ждут связные полков.

Иди, наш новый номер, в траншеи. Рассказывай солдатам о том, что творится в мире, чем живет родная страна, неси бойцам ленинские слова, произнесенные как будто сегодня:

> «Мы гораздо сильнее врага. Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, будьте стойки до конца, победа недалека! Победа будет за нами!»

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

Всегда рядом с редакцией — полевая почта. Начальник почты, экспедиторы, водители жили по своему уставу: хоть умри, а доставь солдатские весточки в армейский тыл, а на передовую — газеты, журналы, письма.

Работа начиналась еще затемно. Ночью долго чихал мотор. Водитель крутился у полуторки, отогревал факелом застывшее в картере масло, до седьмого пота крутил рукоятку, чертыхался на искру, которая «ушла в баллон».

У привязи — лошади, накрытые холстинами. Кони — про запас. Подведет техника, выручат сани или телега. Не может для полевой почты служить помехой ни жара, ни холод, ни дождь, ни снег.

К рассвету стекались к полевой почте посыльные из полков и батальонов. Разгружали туго набитые сумки. Помогали ставить штемпеля. Сдав корреспонденцию, расходились, располагались где удобнее, крутили козьи ножки.

Тронулась машина. Вот-вот придет встречный транспорт с мешками под сургучными печатями. И пойдут дела. Каждый день одно и то же. И каждый раз таинство.

…Взвешивание. Проверка ведомостей. И самое волнующее — снятие пломбы. Вываливаются на стол пачки, трубочки, конверты, треугольники. И пошла сортировка. Посыльные не отрывают глаз от стола, шепотом переговариваются:

— Это мне. Повезло сегодня. Большая стопка. Будет у ребят радости!

— А мне нежирно.

— Не огорчайся, не загадывай. Может, еще прибавится. Не с пустой сумкой к себе пойдешь.

И вот в путь. В части ждут посыльного с нетерпением. Как завидят, по траншеям эстафетой передаются слова: «Внимание, идет почтальон — «Смерть немецким оккупантам!» Шутка вроде? Это эпиграф на каждой газете, журнале и на фабричном конверте.

Письма! Разные они были: радостные и горькие как полынь. Прочтем невыдуманные документы тех лет.

> «5.8.41. Москва.
>
> Здравствуй, братишка! Не могу передать чувство радости при получении от тебя письма. Письмо, да еще с адресом полевой почты. Хочется не только писать тебе, но и видеть тебя, и обнять. Знаю, что ты хочешь о нас, своих родных, узнать. О себе мне мало что можно

сказать, Из сводок знаешь, что гады-фашисты хотят прорваться к городу. Работаю над тем, чтобы крепить оборону. Москвичи отвечают врагу организованностью и сплоченностью. Ты знаешь, родной, в эти дни между людьми создалась какая-то особая близость, все спаяны одной мыслью и волей истребить гадов. Вася в Москве. Собирается в ополчение. Митя в Ленинграде, подал заявление добровольцем на фронт. Миша на Севере работает машинистом. Твоя жена и сынишка здоровы. Мама о каждом из нас беспокоится. Хорошая она у нас, добрая, сердечная. Она готова за всех нас отдать себя и хорошо понимает, что ее сыновья должны сейчас защищать Родину. Чтобы помочь фронту, пошла мама на старости лет косить сено и убирать хлеб.

Сообщай, братишка, хоть коротко о себе. В эти дни вы, фронтовики, творите историю, эти времена с благодарностью вспомнят наши дети.

Будь здоров. Крепче, чем прежде, — твой Леша».

Это письмо получено под Новгородом в дни, когда зловещими факелами горели день и ночь города и деревни на псковской и новгородской земле, когда фашисты торопились истребить нас, убить морально. Письма из тыла окрыляли. Старший брат в Москве, занимает большой пост — заместитель управляющего делами ЦК ВКП(б). С годами сохранил он чуткость и нежность. После смерти отца проявляет заботу о каждом в нашей многодетной семье. Спасибо, брат, за доброе напутствие в тяжелую годину.

И вот новое письмо с датой и адресом: 5.7.42 года. Полевая почта 804, 708-й дивизион.

«Братишка, привет. Удивлен, что ты до сих пор не получал моих писем. Я свой долг никогда не забываю. Да и можно ли забыть наших славных ребят!

Омрачена жизнь гибелью Леши. Не верится, что его нет в строю. Дико и нелепо. Погиб не от пули в атаке, а от паршивой фашистской бомбы в центре Москвы. Тяжелая потеря навевает грусть и тоску. Но война требует мужества и стойкости. Надо отдать все для победы. Родина не оставит без благодарности борющихся за правое дело.

Работа, о которой ты спрашиваешь, у меня интересная. В стороне я никогда не был и быть не могу.

Целую. Василий».

Погиб Леша. Это непостижимо! Как набраться сил, чтобы не согнуться под тяжестью этой утраты?

Наверное, прав второй мой брат Вася: «Война требует мужества и стойкости. Надо отдать все силы для победы». Надо жить ради матери, ради жены, ради сына, который родился накануне войны, которого не видел в глаза.

17 сентября 1943 года полевая почта понесла на далекую станцию Няндома, затерявшуюся в Архангельских лесах, мою солдатскую клятву сыну, сыну, которого отец еще не видел:

Мы не в карманах, а в душе храним
Любимые и милые портреты.
Их не затмит сражений черный дым.
Мы все перенесем — лишения и беды, —
Чтоб засияло солнышко победы,
Чтоб ваше детство было золотым.

7.5.44 года. Письмо землякам в районную газету «Лесной рабочий»:

«Часто вспоминаю вас, моих далеких, милых земляков. Вспоминаю в пути, на привале, в минуты радости и печали.

Бесконечной кажется фронтовая дорога. Ее развезло. Жидкая грязь хлюпает в сапогах. Вправо и влево от дороги глубокие воронки. Канонада не утихает.

Мальчик лет семи вырвался из пекла, спрашивает:

— Дядь, близко ли деревня?

— Близко.

Как тень, плетется мальчишка на восток. Ноги изодраны до крови. Каждый шаг — великая мука.

Мы даем себе клятву: «Скорее на запад! Чтобы наши дети не знали мук, ходили в школу, смеялись».

На сыром песке сидит старуха. Сухие губы в язвах. Дом сгорел. Ни родных, ни скарба, ни крохи.

Мы даем себе клятву: «Скорее на запад! Чтобы наши матери, жены и невесты жили в тепле, не знали горя и нужды».

Что из того, что придется спать на снегу или в холодной землянке! Что из того, что не удастся поесть, что из того, что отекли ноги!

И если вам, землякам, сейчас удается посидеть у горящей печурки, если в комнате светло, если в небе тишина — вспомните о нас. Мы все перенесем. Мы все

переживем. Будет победа! Будет встреча! Будет радость!»

Идет месяц за месяцем. В воздухе веет победой. А полевая почта 804 молчит. Вася будто сквозь землю провалился. Мои письма к брату возвращаются обратно. Тревожно на сердце: хоть цела была бы твоя, Вася, умная головушка…

…Чихает ночью мотор на нашей полевой почте. Наступает новый день. Машины отправляются в путь. Пошли солдатские письма в дорогу. Навстречу летят весточки от родных и близких. В письмах полевой почты — дыхание дома и фронта, благословение и клятва.

ТЫЛОВАЯ ПРОФЕССИЯ

Бой шел километрах в пяти. Оттуда к лесу, где размещались тылы дивизии, доносился дробный перестук пулеметов, гудение «катюш» и ухающие взрывы тяжелых мин. Невдалеке через речку саперы наводили мост, слышался мирный стук топоров, жужжание пилы, веселый говор, пересыпанный крепкими шуточками.

Но все это как бы происходило в другом мире, не касавшемся в эти минуты начфина Пудовкина, корпевшего над отчетом. Время от времени начфин потирал крутой залысый лоб, напрягал близорукие глаза и шмыгал носом, точно школьник, у которого не сходится ответ. Вид у него был утомленный, веки припухшие.

Вечером он должен был упаковать конверт и отправить месячный отчет по назначению. Садясь за стол, строгий, подтянутый, подчеркнуто аккуратный, он предвкушал, как это письмо придет в штабарм, разумеется одним из первых, и генерал интендантской службы сообщит Пудовкину по телефону глухим, рокочущим баском:

— Порядок, Трофимыч, поздравляю…

Мигал фитилек в снарядной гильзе, цифры путались, в горле у начфина першило. Баланс не сходился: разница между дебетом и кредитом составляла одну копейку. Проклятая копейка! Без нее не было того, на чем стоит любая бухгалтерия, — ажура.

В землянку заглянул печатник Баулин, заходивший посидеть, посудачить со своим земляком, которого называл генерал-бухгалтером. Баулин сейчас пристрастился тачать сапоги из старых плащ-палаток. Сапоги получались щегольские. Сегодня Баулин решил сделать Пудовкину сюрприз: принес с собой пару сапог. Обувь легкая, удобная, в ней хоть полста верст протопай — ноги не устанут. Баулин был удивлен и раздосадован, когда начфин равнодушно взглянул на подарок. Лицо Пудовкина посерело, морщилось, ровно от зубной боли. Он нервно барабанил пальцами по столу.

— Эхма, — рассмеялся Баулин, уловив суть дела. — Генерал-бухгалтер, а простой вещи смикитить не можешь. Доложи свою — и всего делов. А то я подмогну.

Он полез в карман и замер под взглядом начфина. Пудовкин с презрением смотрел на Баулина поверх очков.

— Удались, Баулин, — тихо сказал начфин и ткнул пальцем в сторону распахнутой двери.

Баулин открыл было рот, но осекся, вынул из кармана кисет. Попробуй пойми, на кой черт эти муки из-за копейки, когда

кругом вверх столбом летит столько добра. Он робко ответил:

— Война спишет, Трофимыч…

— Не совестно тебе? — сказал Пудовкин, сдерживая себя от гнева. — А еще сознательный солдат! Пойми, дурень, не в копейке тут дело, а в принципе. У пушкаря чуть-чуть недолет — это большой просчет. Я тоже солдат, просчетов быть не должно.

— Это верно, — буркнул Баулин. — Бей врага копейкой, шибко чувствительно.

— Без копейки рубля не бывает! — взорвался начфин.

Он поднялся рассерженный, распетушенный.

В этот момент от моста, от саперов, донесся истошный крик:

— Воздух!

Землянка закачалась от близких разрывов. В дверной проем было видно, как дыбилась земля. Баулин нырнул под нары, сцепил зубы, ожидая конца.

Бомбежка кончилась. Баулин выполз перепачканный, отряхнул пыль с гимнастерки. В воздухе еще стояла сизая пыль, а за столом сидел начфин, обхватив голову руками. Его руки были восковыми, пугающими.

— Ты жив, Трофимыч? — еле выдавил Баулин.

— Тебе сказано, удались! — ответил Пудовкин. — Не мешай.

Лицо его было бледнее обычного.

— Ну и ну! — промычал Баулин. — Ну и ну!

Пришлось возвращаться в типографию, размещавшуюся в землянке в роще. Березки, словно побледневшие после бомбежки, светились на солнце. Шелестела нежно листва. В глубокой синеве медленно плыли облака. И показалось Баулину на миг: нет никакой войны, тревог. Кругом тишина. Встал перед глазами каменный Пудовкин, восковая рука, лежавшая на костяшках счетов. Баулина вдруг охватило беспокойство. Он сплюнул, затушил окурок и пошел искать старшину.

Сергеева он отыскал возле повозок. Стал торопливо, сбивчиво, будто опасаясь, что старшина не так поймет, рассказывать о начфине, о том, что пережил в землянке при бомбежке.

— Бесстрашный мужчина. Как помочь ему? Давай наши ведомости проверим, — робко добавил Баулин. — Что, как она у нас застряла, эта чертова копейка!

Старшина засопел. Баулин понял — не к добру, серчает, молвит про себя: не хватало старшине ворошить бумаги, без того мало у него хлопот!

Набросился на Баулина:

— Ты в уме или нет? Надо срочно везти в ремонт рычаг твоей же машины. Не видел, что ли, подозрительной трещины? Заодно

и продукты получить.

— Я, — сказал Баулин, — я за тебя съезжу в автороту и продукты в Допе получу. Поройся ты, ради бога, в наших бумагах, ведь загибается начфин, а он как-никак и твой земляк. Дочка у него растет, письма пишет.

Дочку Баулин приплел, знал, что и сам старшина ждет не дождется писем из дому, где растут дочки, сыновья. Баулина потрясла самоотверженность начфина. За копейкой теперь он и сам увидел что-то большее, чем пропавшая цифра. Это же служебный долг, честь! И, как бы размышляя сам с собой, Баулин тепло, доверительно прошептал:

— Он ведь, черт, черт лысый, чуть жизни не лишился из-за этой копейки. Бомбы рвутся, а он сидит — с места не сдвинешь. Так я пойду, старшина, запрягу лошадь — и того, в автороту?

Сергеев молчал.

Баулин получил вроде согласие, но, уходя, все же ждал, что старшина окликнет: «Отставить!»

Сергеев молчал. Баулин прибавил шагу к коновязи.

Часа два спустя, наварив рычаг и получив продукты, Баулин вернулся. Старшина сидел на пеньке с карандашом и кипой накладных на коленях. Он поднял на печатника свинцовые глаза и стал повторять про себя:

— Бумага ролевая — четыреста килограмм, флатовая — сто. Итого… И еще краска, шпагат, бензин, ветошь…

Баулин молчал.

— Откуда ты взял, что мы просчитались? — взорвался старшина. — Может, в другом месте напутали?

— Да нет, вроде везде в порядке, — соврал Баулин. — Начфин сказал, что везде в порядке.

Баулин и старшина теперь вместе уткнулись в накладные. В два карандаша проверяли друг друга, подбивали бабки. Старшина насторожился и строго спросил:

— Краску ты получал? За краску ты отчитывался?

— Ну я, — опешил Баулин.

— А теперь смотри. Сколько она стоит? А что ты написал? Твоя рука или нет? Округлил цифру, язви тебя, а? Округлил, миллионер проклятый!

Они оба так обрадовались находке, точно получили весточку из дому. Баулин трясущейся рукой достал кисет. Он уже прикидывал, как войдет в землянку и словно как ни в чем не бывало скажет: «Ну как, генерал-бухгалтер?» Слегка разыграет. А потом…

— Ступай, — доброжелательно сказал старшина, хлопнув по спине Баулина. Но, вспомнив свои заслуги в этой истории, сам

зашагал рядом с Баулиным.

В землянке, как и днем, на столе лежали груды бумаг. Встретившись с усталым взглядом начфина, Баулин бодро проговорил:

— Слушай, Трофимыч.

— Поясню проще, — вмешался старшина.

Он подал листок начфину. Опустил руки по швам, точно ему приказали стоять по стойке «смирно».

— Это мы тебя подвели, не серчай, Трофимыч, не серчай, — извинительно говорил Сергеев.

Пудовкин, казалось, ничего не слышал. Он близоруко уткнулся в бумажку, пробежал ее раз, другой. Потом встал, качнулся, пересел на нары.

— Вы того, пожалуйста, удалитесь. Вздремну немного. Третьи сутки не спал…

СКАЗОЧНИК

Маленький коллектив «дивизионки» жил довольно своеобразно. У нас выработались свои порядки, сложился свой быт. Продукты, например, мы получали сухим пайком. Пищу по очереди готовили на костре. Самым расторопным поваром оказался наборщик Андрей Бондаренко. Он задолго до своего наряда запасал сухие дрова и припрятывал их в кустах или под сеном. Его секрет распознали ребята. Когда Бондаренко ложился спать, медлительный Митя Рябоволенко «уводил» дрова, перепрятывал их для себя. Не раз подшучивал таким же образом над Бондаренко и Миша Горошкин, Пожилой, спокойный Бондаренко не возмущался, не кричал, только разводил руками: что, мол, поделаешь с такой шантрапой?! Но теперь, ложась спать, он клал сухие поленья под голову — попробуй вытащи!

К весне приварок стал скуднее. Редко варили кашу. Даже изворотливый Баулин готовил суп, в котором «крупинка за крупинкой бегала с дубинкой». Крошили в такое варево сухари. Вместо второго Баулин рассказал как-то странную сказку про Петра Петухова и Липата Лапоткова:

«Шли два отставных солдата домой. Было у этих служивых всего имущества — сума, да палка, да смекалка. И заходят служивые к одной старушке, а дух в старушкиной избушке — ну, курятинка-петушатинка! Старушка скупа и жадненька. Говорит: «Дорогие гости, нет в избе ни кости, нету ни крошки, все подъели кошки!» Отговаривается старушка, а сама на печь глазом косит. Там горшок сковородкой накрыт, а в горшке петух сытый. Кипит в горшке петух, оттого и в избе такой дух!

— На нет и суда нет! — говорят солдатики, а сами перемигнулись между собой. Один за дверь — сено в стогу переворошил, вернулся и говорит:

— Иди-ка, хозяйка, у тебя там скотина сено перетрепала!

Старушка:

— Ах! — и во двор. А солдатики — в печь. Заслонку прочь, горшок вынули, петуха по сумам своим разложили, липовый лапоть в горшок сунули, заслонку прислонили и тихо, как ни в чем не бывало на лавочке сидят-посиживают.

Хозяйка влетела в избу — и зырк глазом на печь: на месте заслонка. Думает про себя: ох, и глупы же солдатики! И захотелось ей посмеяться над непутевыми. Спрашивает их:

— Всюду вы побывали, так не известно ли вам, как при горе при Печкиной, в деревне Горшковой, что под селом Сковородином, да за речкой Заслонкой, как там жив ли Петр-то

Петухов?

Солдатики отвечают:

— Нет, там теперь нету Петра Петухова. Заместо его теперь Лапотков Липат.

— А где же Петр-то Петухов?

— А Петр Петухов в город Сумы переведен!»

Кончилась сказка. Реакция на нее была совершенно неожиданная. Старшина Сергеев дал нагоняй юмористу:

— Почеши у меня еще раз языком, всыплю так, что век не забудешь! Вместо того чтобы сказки вспоминать, на лугу бы пошарил! Глядишь, и разжился бы щавелем или еще чем… Не мне тебя, старого, этому ремеслу учить. Вот так-то! И еще запомни, что сказка твоя ни к селу ни к городу! Видел ты нынче таких старушек? Да они теперь с солдатом последним куском делятся. А если у них ничего нет, то солдаты им свой паек отдают. И нам тут нужды нет неправдоподобные сказки слушать!

БАНЩИК МАРТЫШКИН

Вовек не забудутся фронтовые банные дни!

Пол в землянке выстлан тесаными жердями, стены бревенчатые. Маленькие оконца под потолком затянуты марлей. В углу — железная бочка из-под бензина. Из нее сделали печку. Когда металл раскаляется докрасна, ребята сноровисто скидывают белье и спешат в благодатное тепло.

Трещат дрова в бочке, с улицы подносят кипяток: по ведру на брата. От жары, от хлесткого веника замирает дух. Багровеют надраенные почти до крови спины. Сползает месяцами накопившаяся грязь. Свободно дышит все тело, как будто тяжелый груз сброшен с плеч.

— Спасибо, Мартышкин! — говорим мы банщику, низкорослому парню. — Ублажил.

— На «спасибо» далеко не уедешь, — ворчит он.

— Ты что это сегодня не в духе?

— Будешь не в духе! Дрова-то сухие кончились.

— Это как же ты, друг, до такой жизни дошел? Ведь к вечеру начальство приедет мыться. Как ты из такого положения вывернешься?

— Да вы что, за простака меня считаете, что ли? — обиделся Мартышкин.

— Зачем ты, золотце, в бутылку-то лезешь?! — успокаивает его Баулин. — Мы чем угодно готовы помочь, чтобы ты лицом в грязь не ударил!

— Не бойся, не ударю. Если хочешь знать, я начальство-то сердцевиной подтапливаю! И смоляночка всегда про запас имеется!

— Это что еще за сердцевина? — заинтересовался Баулин. — Просвети, друг, ведь мне тоже иногда банными делами заниматься приходится.

— Да ты что? Лет тебе немало, а такой простой вещи не знаешь? У каждого полена середка всегда сухая. А сосновые да еловые полешки выбирай со смолой, тогда начальство довольно будет.

— Умен ты, Мартышкин! — похвалил банщика Баулин. — Видать, тебе от клиентов только одни благодарности сыплются?

— Само собой. Но и пройдохи встречаются. Особенно наш старшина медсанбата.

И словоохотливый Мартышкин поведал нам о старшине, который в банный день и супу нальет погуще, и каши в котелок побольше положит. А как помоется — сразу другим человеком

становится: зверь-зверем! В котелок одну жижу льет. А про добавку и не заикайся.

— Я бы от такого старшины на передовую просился, — заметил Баулин.

От слова «передовая» Мартышкина передернуло.

— Что с тобой? — испугался Баулин.

— Язва у меня и грыжа, а ты — на передовую. Смотри, старшине медсанбата не проболтайся про суп да про кашу. Я уж сам как-нибудь с ним общий язык найду. Местечко в бане хоть и канительное, да надежное…

БОБРУЙСК

Наступать куда веселее, чем копаться в обороне. Бои местного значения не награда. Взять высотку или деревеньку все равно что пуд соли съесть. Под Бобруйском как будто не было шумных успехов, но не было и тихих минут. Наши солдаты не давали покоя врагу. Не покидали засад снайперы. Во вражеский тыл без конца совершали вылазки разведчики. То в одном, то в другом месте в немецких траншеях завязывались рукопашные схватки пехотинцев. В бинокли и стереотрубы выслеживались, а затем заносились на карты фашистские огневые точки.

Этим людям переднего края посвящались заметки и очерки нашей «дивизионки». Запомнился Николай Васильев, хрупкий, верткий паренек. Он имел, как говорили тогда, на счету шесть «языков». Как-то раз он привел сразу трех пленных.

— Как это ты умудрился? — удивились друзья.

— Очень просто. Вы же видали, как наши танки крутились на переднем крае?

— Видели.

— Так вы танками любовались, а я в это время за немецкими окопами следил. Фашисты вроде вас рты на танки разинули. Я подкрался и гаркнул: «Хенде хох!» Вот и весь секрет.

Чего-чего, а подшутить Коля умел. Однажды его разведгруппа лежала уже не один час у занятой врагом деревни. Немцы не давали поднять голову, палили из пулеметов в нашу сторону. И вдруг стрельба стихла. Николай Васильев на минуту отполз в сторону, вернулся и таинственно сказал:

— Хлопцы, знаете, что я узнал? Фашисты из деревни убежали!

— Да ну? — удивились разведчики.

Не ввязываясь в дальнейший разговор, Васильев побежал к строениям. За ним поднялась вся группа… Немецкий гарнизон наши солдаты уничтожили гранатами.

— А ты говорил: «удрали», — упрекали после друзья.

— Чудаки вы! Дело надо знать. Это я вам залил для храбрости. Знал, что в этот час немцы пожрать уходят. Лучшего момента для броска не придумаешь…

Весной в подразделения нашей дивизии начало поступать пополнение. Шли бить немца люди, освобожденные из фашистской неволи. Новобранец и бывалый солдат быстро находили общий язык. Воевать придется в лесах и болотах, встретится не одна водная преграда. Немец укрылся за минными полями. Поэтому надо учиться, не жалея сил. В нашем тылу шли

непрерывные учебные бои. С пехотой действовали саперы, инженерные войска, танкисты. Восстанавливались «разрушенные» мосты, сооружались плоты.

Кипит муравейником прифронтовая полоса. По приведенным в приличный вид шоссейным и проселочным дорогам снуют газики. На дивизионные обменные пункты доставляются снаряды, мины, патроны. Высятся штабеля железных бочек с бензином, мазутом. Растут склады продовольствия. Тут и мешки с сухарями и крупами, ящики с тушенкой и концентратами, с махоркой, солью и сахаром.

На переднем крае и в резервных частях — разноязыкий говор. Чешутся руки схватиться с немцами в решающих боях у русского и украинца, у белоруса и казаха, у туркмена и якута — у представителей многих народов нашей большой советской семьи.

Антон Шевеленко стал солдатом уже после того, как Красная Армия освободила его родное белорусское село. Он отлично освоил пулемет. В кармане его гимнастерки лежал согнутый вчетверо тетрадный листок. На листке — скупые фразы: «Убил из винтовки 6 фашистов. Из ручного пулемета — 15. Из станкового пулемета — 27. Из автомата и гранатами — 4. Взял в плен — 3». Можно понять гордость этого бойца. В начале войны он был мальчишкой. На его глазах гитлеровцы чинили суд и расправу над старым и малым. Жажда мести привела его сначала к партизанам, а потом к нам.

Вместе с Антоном Шевеленко служили в нашей дивизии братья казахи Муса и Жанбек Бакеевы. Муса начал воевать под Москвой, а младший брат Жанбек пришел с пополнением. Трогательной была эта встреча.

В старинной солдатской памятке говорилось: «Зри в части семью, в начальнике — отца, в товарище — родного брата, в подначальнике — младшую родню: тогда и весело, и дружно, и все нипочем». Примерно так и говорил своему младшему брату опытный Муса.

— Хорошая наша часть. Полюбил я ее, полюбил за дружбу, за товарищей. Если ошибся — поправят, отличишься — поощрят, в беде не оставят. Когда попал на фронт — неуютно было, дом часто вспоминал, даже забывал, что рядом немец. Подходит ко мне капитан Рязанцев и говорит: «Ты почему, Муса, не стреляешь? Зачем ты пришел сюда? Винтовка у тебя новая. И глаз меткий. Ты только посмотри, что делается кругом: немец свинцом нас поливает, солдаты нагло по траншеям расхаживают. А ты, хозяин своей земли, молчишь. Разве не про тебя в одном стихотворении говорится:

Отец и дед охотниками были,
Вот почему и меткость есть
в глазах.
Отец и дед пушного зверя били,
Я немцев бью. Я — снайпер.
Я — казах!

Обидными показались мне тогда слова капитана Рязанцева. Но разбередили они мое сердце, разожгли страсть охотника. И пошел у меня с тех пор счет убитым фашистам. За месяц целую дюжину уничтожил. И это из простой винтовки. А потом мне снайперскую винтовку вручили. Медалью наградили. Дважды я бывал в госпиталях. Потом пешком шел не одну сотню километров. Можно было, Жанбек, не мучиться. Бывалого солдата в любую часть примут. А я упрашивал, умолял начальников направить в родную роту. И все из-за чего? Из-за того, Жанбек, что все в роте любят меня, почитают за то, что не трусил в бою, не лгал никогда и никому. Здесь меня приняли в комсомол, готовлюсь теперь в партию. Если бы ты знал, Жанбек, как рады были мои командиры, когда я вернулся в роту! И капитан, и старший лейтенант, и сержант обнимали меня, руку жали и поздравляли с большой наградой — орденом Славы третьей степени. В газету обо мне написали. Теперь вся страна, наш Казахстан обо мне узнают. Теперь я уже не рядовой, а сержант…

Муса и Жанбек находились в одном пулеметном расчете. И не раз сожалели: отца бы еще сюда. Тогда бы всей семьей воевали.

Муса и Жанбек в июне 1944 года были приняты в партию. А вскоре братьев торжественно проводили в офицерское училище.

Туйси Мусаева определили в расчет противотанкового орудия. Лейтенант сказал новобранцу: «Будешь выполнять обязанности снарядного». Молодой узбек был молчалив, замкнут. На орудие смотрел с недоверием: «Какая это пушка? Арба, да и только…» Мусаев внимательно присматривался, как действуют товарищи, попробовал быть и наводчиком, и заряжающим, и замковым. Выучка скоро пригодилась.

Четыре вражеских танка с десантом автоматчиков мчались на огневую позицию. Расчет противотанкового орудия был выведен из строя. Туйси Мусаев остался один. Попробуй не растеряйся в этой обстановке. Было все: страх, желание укрыться в траншее. Мусаев то приникал к прицелу, то цеплялся пальцами за маховичок. Схватил снаряд, вогнал в казенник, рванул за спусковой рычаг. Снаряд разорвался в стороне от танков. Да и

снаряд-то осколочный, а надо бить бронебойным! Взял Мусаев себя в руки. Зарядил орудие, припал к прицелу. Выстрелил — опять мимо!

Вспомнил, что командир орудия говорил: перед тем как бить бронебойным, надо подвести перекрестие прицела на середину танка по шкале «Б». Поздно припомнил, но была не была… Выпустил снаряд. Передний танк окутался дымом, метнулось пламя. Три других танка скрылись в овраге. По ним открыли огонь тяжелые орудия.

Туйси Мусаев не верил свершившемуся. Поглаживая теплый ствол своей пушечки, он шептал: «Вот тебе и арба!»

Война шла к развязке. Выиграны сражения за Днепр и Правобережную Украину, сокрушены вражеские укрепления под Ленинградом и в Крыму. Возвращены Родине почти вся Украина, Крым, Ленинградская и Калининская области. Форсированы Южный Буг, Прут, Серет. Ждет полного освобождения Белоруссия.

В канун трехлетия со дня начала войны колхозники Ельского района Полесской области обратились с письмом к воинам, сражавшимся в Белоруссии. В письме говорилось:

> «Нет такого дня и часа, когда бы не думали мы с благодарностью о вас, кто вернул нам свободную жизнь на родной земле. Фашисты разрушили и разграбили наши села и колхозы, сожгли в районе 3850 дворов, уничтожили весь скот и инвентарь. Немцы угнали в рабство более трех тысяч человек, убили 7600 жителей района. Они насиловали женщин на глазах мужей и отцов. В деревне Кочинцы 12 гитлеровских молодчиков на глазах у отца изнасиловали четырнадцатилетнюю девочку, а затем убили ее вместе с отцом.
>
> Фашисты истребили бы все население, если бы вы, воины Белорусского фронта, не спасли нас. 11 января 1944 года к нам вернулась жизнь, кончилась черная ночь, взошло солнце!»

Ельские колхозники наказывали воинам скорее освободить всю белорусскую землю. Этот наказ, опубликованный в газетах, нашел отклик во многих тысячах солдатских сердец. Солдаты и офицеры рвались в новое наступление, чтобы сполна рассчитаться с фашистами.

22 июня 1944 года во всех газетах было напечатано сообщение Совинформбюро «Три года Отечественной войны Советского Союза». Цифры и факты, изложенные в нем,

вдохновляли. Военные и политические итоги говорили о том, что немецко-фашистская армия оказалась битой и стоит перед неминуемой катастрофой, а фашистское государство — перед неминуемой гибелью.

С такими вестями легче идти в бой!

24 июня началось наступление под Бобруйском. Пробивать брешь в немецкой обороне пришлось не так, как намечалось ранее. Спутал все карты дождь. Летчики не в силах были помочь пехоте. Пришлось идти за артиллерийским огневым валом. Не помогли немцам открытая местность и раскисшие болота. Наши части прорвались к Березине, отрезали все пути отступления. Многие дивизии врага оказались окруженными в Бобруйске и его окрестных лесах. Это случилось 27 июня. А через два дня вся окруженная группировка немцев была разгромлена. 29 июня Бобруйск стал уже глубоким тылом. Наступающие части к этому времени продвинулись на сотни километров.

ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ…

Буйствовали травы. Опьяняюще пахли луга. Редакционные лошади раздобрели на богатом подножном корму. Приготовлены телеги, подогнана сбруя. А на душе — беспокойство: очень допотопное у нас хозяйство, не осрамиться бы.

В обороне газета рано утром попадала к солдатам. А как будет в большом наступлении? Все тыловые службы на машинах, только наша типография на конягах. Начальник политотдела Буцол заверил:

— Первая трофейная машина — ваша!

Машина машиной, а где возьмешь водителя? Они на вес золота.

Обрадовал старшина Сергеев:

— Полный порядочек, товарищ капитан! Наш наборщик и конюх Митя Рябоволенко водил когда-то танкетку. Не пропадем!

— Что же ты раньше молчал, голова садовая! Давно бы с машиной были!

— По правде сказать, товарищ капитан, я и сейчас считаю, что с лошадками сподручнее. Машина то забуксует, то мотор у нее зачихает, то вал какой полетит, а наши серые никогда не подведут. На них по любой тропочке, по любой дороге, по любому оврагу… Тише едешь — дальше будешь!

— Тоже мне мудрец! С тобой как раз побываешь в Берлине! — возмутился я.

Старшина, сверкнув глазами, ушел. Обиделся. Неделю будет дуться теперь.

На этот раз я ошибся. Не прошло и часа, как у наших палаток загрохотала полуторка. За рулем сидел красный от напряжения Рябоволенко. Видно, по дороге с него скатил не один пот. Из кабины выпрыгнул Сергеев.

— Вы плохо знаете своего старшину, товарищ капитан! Хлоп в ножки командиру автороты — и, пожалуйста, машина! Так что прежде чем обижать подчиненных, надо их слабые и сильные стороны изучать!

За хорошее дело я простил старшине эту маленькую нотацию. А он словно преобразился, отдавал одно распоряжение за другим. Появились будто из-под земли доски, брусья, брезент. Раздобыли где-то пилу, гвозди, толстую иглу с дратвой. К вечеру полуторку переоборудовали в спецмашину. Потренировались размещать в кузове наборные кассы, печатную машину, радиоаппаратуру, ящики с продуктами. Офицеры и солдаты облюбовали себе места. Хорошо! Такое дело во сне не снилось!

Тут как раз пришло распоряжение перебазироваться в деревушку в пятидесяти километрах от Бобруйска. Маршрут отмечен на карте.

Погрузились. Весь личный состав и имущество редакции — в кузове. Я — в кабине, рядом с Митей.

— Ну, танкист, вперед, на запад!

Митя Рябоволенко завел мотор. Кабина наполнилась гарью. Под кузовом что-то заскрежетало. Рябоволенко трогал то один, то другой рычаг. Машина дрожала, но не двигалась с места, будто примерзла.

— В танке все проще, — рассуждал сам с собой Митя. — Там, помню, тягу на себя возьмешь — и машина пошла. Никаких тебе шарниров и тонкостей. К тому же там гусеницы, а тут колеса.

Мелькнула в голове опаска, как бы этот бывалый танкист не угробил нас. И вдруг машина неожиданно рванулась, выскочила на лежневку и понеслась по бревнам. Замелькали перед глазами кусты.

— На какой скорости прешь, Митя?

— И сам не знаю! На какой вышло!

Увидев впереди какое-то препятствие, Митя бросил руль, ухватился обеими руками за рычаг. Грузовик со всего маху соскочил с настила. Колеса зарылись в зыбкий грунт.

Из кузова выпрыгнули перепуганные пассажиры. Танкиста лихорадило. Мотор кое-как заглушили и до шоссе машину катили вручную.

Старшине Сергееву досталось «на орехи» от всех сотрудников редакции.

— Теперь, товарищ старшина, мы знаем твои сильные и слабые стороны!

— Может, за лошадьми вернемся, как думаешь? На них сподручнее.

— Запряжем в машину и — «тише едешь — дальше будешь»…

А Митя оправдывался:

— Это старшина подбил меня назваться водителем. Среди танкистов я, правда, был. Бензин на лошадях подвозил. Ну и видел, конечно, как ребята машину с места трогали. Дело вроде нехитрое!

Старшина скрипел зубами. Всю дорогу не проронил ни слова. Я пожалел его.

Помню, я сам был в роли незадачливого водителя. В дни боев на брянской земле шофер форда Коля Погребнов, преодолев трудный участок пути, остановил машину, вылез из кабины, попробовал ногой плотность скатов, открыл дверцу с моей стороны и попросил выйти. «Наверное, потребовались

инструменты под сиденьем», — подумал я. Но как только спрыгнул на землю, Коля сел на мое место и захлопнул дверь.

— И долго это будет продолжаться? — рассердился я.

— Зависит от вас, товарищ капитан, — хладнокровно ответил он.

Меня удивил официальный тон. В глазах парня светилось озорство и лукавство.

— Ты же занял мое место!

— Ну и что? Есть другое, рядом, за рулем.

Спорить с ним было бесполезно. Характер Коли мне известен: упрям и настойчив. Как-то он учил меня вождению машины с помощью ухвата. Заставил сесть на табуретку и подавал команды: рычаг на себя, выжимай педаль левой ногой, теперь правой! Но то был табурет, а тут машина с людьми и шрифтами!

— Для вас стараюсь, товарищ капитан, — продолжал Коля. — Сами рассказывали, как на передовой, в артиллерийских расчетах, люди умеют заменять друг друга.

Я плюнул на все и сел за руль. Коля сразу перешел на «ты».

— Так, так. Отпускай тормоз. Выжимай сцепление, сцепление, говорю!

Машина резко дернулась. За стенкой кабины взвизгнули наборщицы. Форд метался из стороны в сторону как чумной.

А Коля продолжал с усмешкой:

— Газ, газ, руль!

Дело, наверное, кончилось бы бедой. Перед взорванным шоссе надо было съехать с дороги по крутому откосу. Форд ринулся на огромный дуб. Я в ужасе закрыл глаза, бросил руль и откинулся на спинку сиденья.

Не знаю, как удалось Николаю в какую-то долю секунды выровнять машину, проскочить, чуть не коснувшись дерева, и выехать на ровное место.

Остановив машину, Коля серьезно сказал:

— Я тебя все-таки научу!

— Попробуй! — ответил я.

С тех пор он не мог никакими способами заставить меня сесть за руль.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Привалы становились все короче и короче. Батальоны и полки преследовали врага. Штабы то и дело меняли дислокацию. Нам для выпуска номера требовалось не менее ночи. Просидишь больше — не догонишь своих. Одна ночь! За это время надо принять сообщение ТАСС, набрать текст, сверстать гранки, набранные вручную, сверстать и вычитать полосы, отпечатать номер. Дорога минута, а иногда попусту летят целые часы.

Бесили толчея и нерасторопность старшины. Загружали машину навалом, а после броска не находили то антенну, то аккумулятор или ящик с продуктами. После сутолоки принимались за работу голодными.

Порядки, заведенные в обороне, явно не годились. А как же лучше приспособиться к работе в условиях большого наступления? Решил попытать старшину. Начал издалека:

— Что требуется солдату на большом привале в первую очередь?

Старшина мялся, чувствовал в вопросе подвох.

— Дело ясное, — пришел на выручку Баулин. — Пожрать! Чего же еще!

— А что нужно в первую очередь для редакции?

— Связь с Москвой! — высказался, выдвинувшись петушком вперед, Аракчеев.

— Все правильно! А какой вывод?

Старшина качнул головой и развел руками.

— Не знаешь? Объясню: надо, чтобы при погрузке и разгрузке каждый человек знал свое дело, чтобы в последнюю очередь грузили то, что потребуется прежде всего.

Повернулся к другим:

— Баулин!

— Я, товарищ капитан!

— Запомни раз и навсегда: ты отныне отвечаешь не только за печатную машину, но и за приемник, аккумулятор и антенну. Как будешь действовать?

— Грузить радиоаппаратуру под самый конец.

— Горошкин, Рябоволенко! За вами — наборный цех. Бондаренко! За тобой — суп и каша.

С этого дня дела у нас пошли лучше. Машину мы постепенно освоили. На привалах Баулин носился с антенной. Он словно нюхом обнаруживал длинные шесты. Как аркан, забрасывал провод повыше. Через несколько минут включался приемник, слышались позывные Москвы. Дежурный офицер записывал

сообщения ТАСС. Стояли на удобных местах, поближе к свету, наборные кассы. Когда типография была развернута, гремел котелками Бондаренко. Суп, каша и чай — пожалуйста! На аппетит никто не жаловался. Старшина, поглаживая живот, изрекал:

— Неплохо получается, товарищ капитан. На сытый желудок и работать веселее.

— Давно бы эту истину надо было уяснить, товарищ старшина. Знай теперь, что такое специализация!

Июнь 1944 года. Как не похож он на июнь 1941 года! Котел под Бобруйском. Котел под Витебском. Оставшиеся в строю бегут по тропкам и дорогам, в сторону не свернешь — кругом топи. С ними разделываются партизаны. Они бьют врага, разрушают перед отступающими мосты. А их не перечесть, и возле каждого пробка: удобная цель для нашей авиации.

Гремели в эти дни имена прославленных советских полководцев: Жукова, Малиновского, Рокоссовского, Толбухина, Говорова, Черняховского, Конева, Баграмяна, Еременко, Мерецкова.

Устами Левитана ежедневно оглашались на весь мир приказы Верховного Главнокомандующего. Назывались сотни освобожденных сел и городов. Сообщались имена командиров всех родов войск, осуществивших удачные операции. Войскам объявлялась благодарность.

Похвала Верховного Главнокомандующего вручена каждому солдату. Она скреплена печатью и подписью командира. Это немалая награда! После войны можно отчитаться, по каким дорогам шел, какие крепости брал! Ничего не убавишь, не прибавишь!

Наступление началось 23 июня. А ровно через месяц разгромлена центральная группировка войск противника. В этот яркий летний месяц показали образцы взаимодействия четыре фронта — 1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й и 3-й Белорусские. Освобождены столица Советской Белоруссии Минск, столица Советской Литвы Вильнюс, города Витебск, Могилев, Вилейка, Барановичи, Пинск, Полоцк, Орша, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Ковель, Осиповичи, Молодечно, Гродно, Лида, Слоним, Волковыск, Паневежис. Потери немцев составили: убитыми около 400 тысяч солдат и офицеров, взято в плен около 160 тысяч, в том числе 22 немецких генерала — командиры крупных частей и соединений.

Подтвердились в те дни слова Суворова: «Ничто не может противиться силе оружия Российского!»

Набирая очередную сводку, старшина Сергеев заметил:

— Бьют врага в три шеи и пехота, и артиллерия, и танки, и авиация. Каждый знает свое место и дело. Выходит, товарищ капитан, что наши летние котлы тоже результат специализации?

— А то как же!

ПОЭТ «ДИВИЗИОНКИ»

Мы гордились тем, что наступали под водительством маршала Рокоссовского и генерала Батова. Стремительные броски совершали танки, конница, мотопехота. Что ни день, то радостное известие. Освобождены Барановичи, Люблин, крепость Брест!

Это наступление не было легкой прогулкой. Военная мудрость и воинское мастерство проявлялись в большом и малом. Уничтожались вражеские войска в котлах под Минском и Брестом. И в это же время шел неравный бой на безымянной высоте и у пограничного Буга. Немцы не скупились на снаряды и мины. Они бросались в одну контратаку за другой.

Письма, статьи, зарисовки об этих событиях поступали секретарю редакции Сереже Аракчееву. Он мог работать с большой отдачей в любых условиях и днем и ночью. Сережа схватывал на лету подсказанную ему мысль, охотно правил солдатские письма, помогал капитану Аипову, в блокнотах которого находился материал на все случаи жизни.

Секретарь редакции, услышав любопытный факт, уединялся. Через часок-другой приходил и, опустив глаза, стесняясь, предлагал посмотреть листочек. Случай из фронтовой жизни он переложил в поэтические строчки. Сереже в те дни сообщили, что рядовой Абасов с боями пришел на заставу, на которой его застала война. В очередной номер пошла его «Баллада о пограничнике».

На заставе, на Западном Буге,
Пограничником парень служил.
И однажды на праздном досуге
Здесь березку весной посадил.
Трижды лист пожелтевший роняли
Груши, вишни в осеннем саду.
Парня вьюги Москвы обнимали,
Ветры Волги свистали в дуду.
Не гадал пограничник, не ведал,
Что за месяц из топких болот
Фронтовая дорога победы
К той заставе его приведет.
Вышел он на обрыв, к переправе, —
Катит Буг золотую струю,
И в высокой березке кудрявой
Он узнал ту березку свою.

«Ну, — сказал пограничник, прощаясь, —
Нам до Рейна и Шпрее идти.
До свиданья, застава родная,
Заступлю на обратном пути».

Наш путь лежит через болота и трясины. Об этих днях Сережа Аракчеев сочинил стихотворение «Безымянное болото».

Мы в том болоте сутки спали стоя.
Нас допекали мухи и жара.
Оно было зеленое, густое,
Там от застоя дохла мошкара.

Там не хотели рваться даже мины.
И шли ко дну, пуская пузыри…
И если б не было за ним Берлина —
Мы б ни за что сюда не забрели.

Позднее об этих строчках вспомнил поэт Марк Соболь. Он писал 7 мая 1965 года в «Литературной России»:

«Как-то в один из редких своих наездов из саперной бригады, где я служил, в редакцию газеты я увидел невысокого старшего лейтенанта, тоже приехавшего из части. Он сказал мне, что все, написанное им до сих пор, — ерунда и чушь, но он верит, что еще сумеет сказать главное о войне. Именно главное.

В марте 1945 года меня перевели на работу в редакцию. И сразу же среди стихов я обнаружил восемь строк Сергея Аракчеева. Они меня невероятно взволновали: мне показалось (может быть, это так и есть), что искомое поэтом главное о войне уже сказано — не в поэме, не в эпосе, а в двух четверостишиях.

Стихотворение никогда не было напечатано. Но мои товарищи поэты уже добрых двадцать лет знают эти стихи наизусть — с моих слов.

Последний раз я видел Сергея Аракчеева в начале апреля того же 45 года. Ничего не знаю о его судьбе и боюсь, что последние дни войны для него — старшего лейтенанта, офицера строевой части — оказались роковыми. Не появлялось больше и стихотворений за его подписью: вряд ли человек, написавший «Безымянное

болото», после этого замолчал бы как поэт на долгие годы.

Если ты жив, Сергей, откликнись!»

Во время боев в Белоруссии я попросил Сережу:

— Надо дать что-то в печать. Ведь то, что происходит сейчас, пожалуй, только в стихах высказать можно: Беловежская пуща, после грохота орудий — оглушительная тишина, пьянящий воздух, тучи комаров и диковинные зубры.

— Напишу, — тихо ответил Сережа.

Так в конце июля появилось в газете его стихотворение «Беловежское эхо».

Каменистым шляхом, спелыми хлебами
Громыхали танки с черными крестами.
В зареве пожара дали пламенели.
Шлялась смерть по хатам в зеленой шинели.

И в тоске гнетущей день и ночь скрипели
В Беловежской пуще вековые ели.
И три года эхо над болотом Пинским
Надрывалось в плаче скорбном, материнском.

Но июльской ранью в старый бор кудлатый
Докатились с ветром дальние раскаты.
Гул родной с Востока эхо подхватило,
Радостью, надеждой села разбудило.

Ожили дороги, пыльные, глухие, —
Скачут Беловежьем конюхи лихие,
И спешит пехота в потных гимнастерках,
Обгоняя роты, мчат «тридцатьчетверки».

…Выпрямился тополь, пулями иссечен,
Сбросивший оковы Пинск расправил плечи.
Над столетней пущей, над болотом мшистым
Затерялось эхо в соловьином свисте.

Сережа Аракчеев не раз радовал читателей стихами, в которых осмысливались наши фронтовые будни. Когда мы, проваливаясь по колено в пески, перешли границу, он подвел итог летним нашим боям.

Отцвел клеверами и травами
Душисто медовый июль,
Отсвистел над Полесской дубравою
Гулким свистом снарядов и пуль.
И не днями, лучами залитыми,
И не песней, что степь нам звенит, —
Белорусскими славными битвами
Был для нас ты, июль, знаменит.
Ты своими раскатами зычными
Сбил оковы с плененной земли.
И поставил столбы пограничные —
Их с собой мы три года везли.

Горяч бой, но после него выдаются минуты, когда солдату особенно хочется шутки, острого слова. Зная об этом, Сергей Аракчеев взялся вести в газете поэтический раздел «Будни Кости Русакова, по профессии стрелка». Русакову присвоили звание сержанта, и свалились на него тысячи забот. Повел Сергей своего Русакова в атаки, в схватки с танками, в разведку, в вылазки за «языками». Не было, пожалуй, в нашей дивизии бойца, который не знал и не любил бы этого отважного и веселого сержанта. Костя Русаков представлялся иногда реальным человеком даже для нас, его создателей.

Казалось, что Сергей мыслит стихами. Он не мог обойтись без рифмы даже тогда, когда газета ставила перед бойцами задачи, далекие от всякой поэзии. Вот и появлялись на страницах «дивизионки» такие, к примеру, советы-наставления:

«Брать крепость не одну придется нам —
Готовься, воин, к уличным боям!»

Или:

«На пути к победе городов немало.
Будь готов к сраженьям в этажах, подвалах!»

Необыкновенной дерзостью отличались в нашей дивизии разведчики Михаила Косенкова, награжденного несколькими орденами. У разведчиков часто бывал Сергей Аракчеев. Он написал об одном поиске. В тот момент, когда Косенков мертвой хваткой скрутил немца, произошел такой диалог:

— Портянку, — шепчет Косенков, —
Толкай быстрее в глотку фрицу.
Портянку! Так твою растак!
Куда ты прешься с рукавицей!
Забыли? Лезь ко мне в карман.
— В каком кармане: в левом, правом?
— В любом! Я не такой профан
И про запас имею пару.

Возвращаясь из поиска, Косенков по дороге сказал друзьям:

— Так не годится,
Чтоб из-за этих «языков»
Ты мерз в снегу без рукавицы!
Не забывайте мой наказ —
Иметь портянки про запас!

Сергей Аракчеев в своих стихах умел как-то органично сочетать рассказ о «технологии» солдатских дел с поэзией. Мы подшучивали над ним: он, дескать, способен любой устав стихами переписать.

А что, и переписал бы, если бы это понадобилось для пользы дела!

Ушли в предания белорусские битвы. Будто только вчера плелись по проселкам и шляхам тысячи и тысячи пленных. Некогда было их конвоировать. Помогла немецкая самодеятельность. Обезоруженные солдаты и офицеры сами выстраивались в колонны. Старшему по чину вручали карту, указывали пункт назначения и — шагом марш! Подгонять колонны не приходилось. Голодная, вшивая солдатня перлась к указанному месту, чтобы скорее насытиться у походных кухонь.

Из родной Белоруссии идут хорошие вести. Всего лишь полтора месяца назад под Бобруйском шли бои по окружению немецкой группировки. Это было в начале июля, а уже в августе в Бобруйске вступили в строй некоторые промышленные предприятия, на Березине действует речная флотилия, начала выходить на родном языке газета «Коммунист». Выданы населению продуктовые карточки, пенсионеры получили денежное пособие, готовятся к новому учебному году школы, действуют больницы, медицинские пункты, детские сады. Скошены на полях озимые, зерно поступает на заготовительные пункты.

Живи, трудись, радуйся, освобожденная земля. Пожелай нам скорой победы.

НАРЕВСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Мы преследуем немцев на польской земле. Из Беловежской пущи — стремительный бросок к реке Нарев. Здесь, на рубеже Висла — Нарев, фашисты готовили очередной «неприступный оборонительный вал».

Реку Нарев большой не назовешь. Кое-где ее можно перейти вброд. Этот водный рубеж с широкой поймой наши пехотинцы преодолели почти бескровно. Вырвавшиеся вперед подразделения захватили высокий западный берег, столкнули немецкие заслоны и окопались. Главные силы были еще далеко, а немцы предпринимали контратаки одну за другой. В ход они пустили танки, тяжелые орудия. А у наших солдат лишь стрелковое оружие да легкие минометы. Завязались рукопашные схватки, люди стояли насмерть. Но вот развернулись наши батареи, подоспели «катюши». Контратаки врага захлебнулись. На плацдарме наступило затишье.

Приближалась зима. О ней напоминал сизый иней по утрам на голых полях. Крестьяне польских деревень убрали урожай даже возле передовой, подняли зябь.

Днем на плацдарме — зловещее безмолвие, а ночью за холмами, в глубине вражеской обороны, натужно гудели моторы.

В октябре немцы неожиданно начали артподготовку. Земля заходила ходуном. На узком участке фронта бросились на наши позиции несколько немецких дивизий. Сотни танков рвались через проволочные заграждения и минные поля.

День за днем не умолкал бой. Фашисты предпринимали одну атаку за другой. Гитлер приказал своим солдатам умереть, но вырвать из советских рук пистолет, направленный в сердце Германии. Так называл фюрер плацдарм на Нареве.

Военный совет фронта в эти дни обратился с письмом к бойцам, сержантам и офицерам. В нем говорилось:

> «Родина никогда не забудет славных героев Наревской битвы, повторивших стойкость сталинградцев.
>
> Слава героям наревского плацдарма!
>
> Своими подвигами они вписали новую страницу в историю блистательных побед Красной Армии.
>
> …Славой Сталинграда, Курска, Днепра и Белорусской битвы овеяны наши знамена!
>
> Недалек тот час, когда по приказу Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза

товарища Сталина мы снова пойдем вперед на Запад, чтобы окончательно добить раненого немецкого зверя в его собственной берлоге!»

Семь дней! В нынешней мирной жизни неделя, пролетает незаметно. А тогда счет велся на часы и минуты.

Капитан Аипов и недавно прибывший к нам старшина Иван Казаков без конца совершали вылазки на передовую. С ходу выкладывали на бумагу факты о подвигах. Старший лейтенант Сережа Аракчеев молниеносно писал стихи. Они в тот же день — в свежем номере.

Газетными строками мы вели прямой разговор с воинами:

«Товарищ! Ты помнишь тот памятный день, когда мы следом за отступающим в панике немцем ворвались на правый берег? Тогда командование сказало нам:

— Молодцы! Вы открыли ворота в Германию!

Помнишь, как огрызался враг? Тогда земля, на которой ты ведешь сейчас бой, была полита потом и кровью твоих боевых друзей. Помнишь, как с горсткой бойцов дрался старший лейтенант Соколов? Окруженные со всех сторон, герои не пали духом. Когда не стало патронов, они ловили на лету немецкие гранаты и бросали обратно. Потом, в самый критический момент, они пошли в рукопашную, истребили немецкую роту и пробили дорогу к своим.

Враг притих. Но мы знаем, что раненый фашистский зверь огрызнется еще и еще. И он это сделал. Танками, огнем он силится пробиться к реке.

Будь стойким, товарищ! Путь на Берлин, в берлогу зверя, лежит через крепость, которую ты обороняешь, через твою ячейку, через твой окоп!»

На двух страничках нашей газеты находилось место и для страстного призыва, и для песни, и для бесхитростного рассказа бывалого солдата. Старший сержант И. Чижиков сумел на передовой написать статью «Расчет, хладнокровие!».

«В последнее время, — сообщал старший сержант, — гитлеровцы пустили в ход тяжелые танки под названием «Королевский тигр». В отличие от других танков у него усилена лобовая броня. Бить в лобовую броню не следует. Если танк идет прямо на позиции, надо целиться под основание пушки, чтобы заклинить башню. Скорость у этого танка небольшая. Есть возможность

спокойно навести орудие и ударить наверняка, тем более что любой немецкий танк не выдерживает, если артиллерийский снаряд попадает под гусеницу или под башню».

Правильно написал старший сержант. На наревском плацдарме, как и в других местах, не спасла гитлеровцев броня.

За семь суток боя, как выяснилось позже, немцы потеряли 348 танков и около 12 тысяч солдат и офицеров.

Плацдарм остался за нами.

Напряжение спало. У всех одно желание: спать, спать! Офицеры редакции, как сговорившись, отстранили меня от ночных дежурств у приемника. Но в одну из тех ночей капитан Аипов все же меня растормошил:

— Важное сообщение, товарищ капитан!

— Неужели не терпит до утра?

— Да вы послушайте. «За образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» генерал-майору Джанджгаве Владимиру Николаевичу».

— Ну и что?

— Как что? Надо же немедленно сообщить об этом командиру нашей дивизии.

— Сейчас же ночь.

— Не грешно и разбудить генерал-майора ради такой весточки. Пойдемте к заместителю начальника дивизии по тылу, у него прямая связь с плацдармом.

Командир дивизии, услышав, что его разбудил какой-то капитан Петров, возмутился, но затем, поняв, в чем дело, пробасил:

— Благодарю за хорошую весть, редактор!

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ

К вечеру мы остановились в полусгоревшем польском селе, неподалеку от реки Нарев. Здесь нам предстояло обосноваться, как обычно, по-походному и выпускать газету в ожидании, когда приказ поднимет нас и бросит вслед наступающим войскам.

Облюбовали крайний дом. Он выглядел нежилым: два окна заколочены, дворик запущен. Давно не мазанные ворота, скрипнув, пропустили наш редакционный грузовик.

Но уже через минуту выяснилось, что дом обитаем. В нем жила пожилая крестьянка с сыном и дочерью. Хозяйка была молчаливая, хмурая, в черном платке. Мы приютились в боковушке. Старшина очень вежливо всякий раз переспрашивал, можно ли взять стул, освободить стол для наборных касс, пытался шутить, но женщина ни разу не улыбнулась, в ее лице жила настороженность.

Кто-то из солдат-наборщиков, оглядев в окно по-осеннему золотой сад, голые, без плодов деревья, сказал колдовавшей у печи хозяйке:

— Мать! Нельзя яблочек раздобыть? Не бойтесь, в долгу не останемся.

— Нема, — коротко ответила она, не оборачиваясь. — Немец пшисто забрал.

— А яблочный дух в избе, — подмигнул солдат.

— Ладно, — оборвал его старшина Сергеев, — может, у нее, кроме яблок, ничего не осталось. Вся еда.

Хозяйка ушла в горницу, прямая, суровая. За ней последовала дочь, все время вертевшаяся рядом.

Потекли дни, привычные, фронтовые.

Как-то старшина заглянул в котелок на плите, там клокотало мутное варево. Он тайком сыпанул в посудину крупы, распечатал банку тушенки. По избе поплыл аромат сдобренной мясом и салом каши.

Из дверей высунулось курносое личико дочки, два диковатых зеленых глаза под челкой. Они удивленно оглядели солдат, разбиравших шрифты. Затем послышался басовитый голос парня: «Мам! Есть пора». А вскоре вышла и сама женщина, что-то неся в ладошке.

Она остановилась у плиты, будто замерла. Согнутая в локте рука разжалась, просыпав на шесток соль. Я видел, как, вскинув голову, она с минуту смотрела в угол. Ее лицо в лучах заката, совсем еще, оказывается, не старое, а темное от худобы. И подумал, сколько вынесла она за войну, кто только не врывался

сюда с автоматами в руках. Выжила, детишек сберегла!..

А за окном в пожухлой траве непаханое поле, кругом запустение, и в нем золотым островком садочек яблоневый.

Она неспешно поставила чугунок на стол, не поднимая глаз, сказала детям:

— Проше сядать.

Дочь и сын были очень похожи, оба светлоглазые, только парень поскуластей. Девчонка, усаживаясь, так порозовела, что стали явственно видны крупные веснушки у переносья.

После обеда старшина, вытягивая кисет, перехватил взгляд парня, поднес ему махорки.

Ночью стучала наша печатная машина, росла стопка пахнущих типографской краской листочков. Наши корреспонденты при свете каганца торопливо писали.

— Эх, есть классный заголовочек! — кричит старшина Иван Казаков. На него шикали: «Тише, люди спят!»

А поутру сквозь сон мы слышали, как тихий басок сына переплетался с глуховатым материнским. Парень уходил на работу. Он был в доме главной силой. До седьмого пота вскапывал под зябь крохотный клочок земли. Одно название — пашня, но без нее — жизни конец.

Однажды, когда я готовил в набор очередную корреспонденцию, в комнате появилась хозяйка и высыпала из фартука на стол кучу отборных яблок.

— Прошу, пане, — сказала она и вдруг заговорила торопливо, почти скороговоркой. Сквозь темную кожу на щеках проступил румянец. Слов мы не понимали, но смысл был ясен: женщина извинялась за тот, за первый раз. Старшина снова стал было отнекиваться: «Что мы, дети? Не надо».

— Дети, — сказала она, — для меня такие, как вы, — дети.

К концу недели похолодало. Печь хозяйка топила только утром — сварить пойло для тощей коровенки, берегла дрова. Лес был недалеко, да там взрывы. Потом, укутавшись в старые шали, сидела в углу на кухне и без конца твердила: «Зимно, зимно». Стены продувало, но в семье даже не пытались утеплить жилье: нечем. Все внимание было приковано к сараю. Не дай бог, буренка застынет.

— Это на что же похоже, бабуся? — удивился старшина. — Сами мерзнете, а корова как барыня.

Женщина не отвечала. В ее глазах стоял укор: разве трудно понять, что корова — это молоко, масло на продажу? Откуда еще возьмешь гроши? А их надо копить. Не день и не месяц, а годы. Одно платьишко у дочери и то в заплатах. А сыну пора бы уже жениться!

Как-то, вернувшись с передовой, капитан Аипов привел во двор лошадь. Надо было на нее посмотреть! Вся в лишаях, тощая, едва переступала ногами. Капитан ругался на чем свет стоит, задержался в пути часа на два, теперь придется ночью корпеть над материалом. Но при всем этом вид у него был довольный, глаза под козырьком блестели.

— Это еще что за фокусы? — удивился я.

— Очень просто, — ответил капитан. — Заглянул на ветпункт, к знакомым. Скотинку эту хотели пристрелить. Ну, уговорил врача, отдал мне лошадь. Вот, — поставил он на землю какую-то банку, — лекарством сам раздобылся.

Он подмигнул мне, крикнул старшину. Они о чем-то пошептались.

Наутро старшина Сергеев достал где-то полмешка овса. И они с капитаном накормили коня, почистили, затем вымазали его жидкостью из банки. Запах шел такой, что заглушил во дворе все другие ароматы. Солдаты пробегали мимо, зажав нос.

Не один день животина простояла в уголке сарая, и старшина каждую свободную минуту наведывался к ней, подкармливал. А потом вывел коня во двор и позвал хозяйку.

Она появилась на крылечке, сложив руки под грудью, с недоверчивым любопытством и робостью глядела на старшину.

— Пани, — сказал старшина каким-то позванивающим от волнения голосом. — Пани… Ну, одним словом… Не могу я речи говорить…

Глаза их встретились. Старшина кашлянул… Подбородок хозяйки задрожал.

— В общем, бери подарок от Красной Армии. — Старшина махнул рукой и пошел к дому. В дверях, уступая дорогу, хозяйка взяла его за рукав и молча ткнулась лицом в плечо.

Несколько дней хозяйка, сын и дочь буквально не выходили из сарая, возились с лошадью, по очереди обмывая каждую болячку. Кормили ее, как ребенка, по часам. Тут же гудела железная печка, на ней грелась вода. И свершилось чудо! Животное будто обрастало новой шкурой, шерсть стала гладкой, блестящей. По утрам лошадь встречала своих спасителей тихим ржанием.

Вскоре мы получили приказ двигаться дальше. Армия пошла в наступление. Вся семья вышла нас провожать. Девчонка стояла потупясь, брат супил брови. Хозяйка молча терла глаза кончиком шали. Я оглянулся. Она что-то шептала вслед, крестясь; может быть, молила о том, чтобы мы остались живы, чтобы жили счастливо люди, оставившие в этом доме добрую память.

ПРИМЕТЫ НОВОГО ГОДА

Хоть и фронт, а Новый год всегда будет праздником. Верстается свежий номер газеты. Старшина Алексей Сергеев с большой торжественностью ставит на первой полосе: «Советский патриот», № 1, год 1945-й.

Газету поздно вечером отправили на полевую почту. Вся наша редакционная семья в сборе. Ребята прихорошились: отмыли руки керосином, кипятком отдраили шеи и лица, пришили новые подворотнички, надели на гимнастерки ордена и медали.

В землянку принесли елку. Нашлись мишура, свечи. Под бой московских курантов зажгли огоньки. Блиндаж наполнился домашним теплом и уютом. Первый тост — за скорую победу! Многие приметы говорили о том, что развязка уже близка.

На дворе мороз. Над лесом бездонное звездное небо. В воздухе мирная тишина. Немец притих. Мы устояли на маленьком клочке земли на западном берегу реки Нарев. Свидетели недавних боев — неуклюжие чудовища, замершие на ничьей земле. Фашисты бросили их в бой прямо с конвейера. Машины не прошли даже заводских испытаний. Тяжелого груза брони не выдерживали катки. Теперь эти полуразбитые танки служат хорошей защитой для наших разведчиков и снайперов.

Немцы ослабли. А в нашем прифронтовом тылу новые резервные части. Чего там только нет! Мощные дальнобойные орудия, танки последних марок — КВ, ИС, «катюши».

Настроение у солдат и офицеров превосходное. Еще бы! К Новому году многие из них получили ордена и медали.

В январе наша артиллерия возвестила о начале нового мощного наступления. Казалось, гнев всей России звучал в могучем гуле орудий.

Каждый стремился к Берлину. Но идти к фашистской столице довелось не всем. Войскам маршала Рокоссовского Ставка предписала разгромить немцев в районе Гдыни и Данцига. И двинулись мы не на запад, а на северо-восток.

Враг, отрезанный от центральной Германии, ожесточился. У него остался один выбор: прорваться к своим или умереть. Немцы превратили в крепости не только города и селения, но и отдельные строения.

Как воздух, нужен был для газеты материал, способный практически помочь воинам в этой новой обстановке. Наши корреспонденты находили опытных солдат и офицеров, которые хорошо изучили повадки врага в боях на городских окраинах, на улицах и перекрестках. Бывалые воины давали умные советы, как

доставлять пищу в условиях городского боя, как выносить раненых, как распознавать вражеские «сюрпризы» и приманки. Никаких общих рассуждений! Только конкретные советы: не двигайся по прямым улицам, иди на штурм огневых точек дворами, через сады и огороды. Осматривай внимательно подвалы, погреба, чердаки.

Что ни день — новая тема.

…Вечерело. Часовой Костюшко вышел на пост. Немцев, по всем данным, не было близко. И вдруг автоматная очередь. Откуда? Где враг? Всем взводом прочесали подвал, чердак, переворошили солому в сарае.

— Не померещилось ли тебе? — спрашивали часового.

Успокоились, разошлись на ночлег.

И вдруг — новая очередь. Пули прошили снег возле ног бойца. Костюшко заметил: стреляли с крыши дома, где свили себе гнездо аисты. Воины дали туда хорошенького огонька. На землю скатились два немецких офицера.

Командир взвода прочитал мораль: ни дереву, ни бревну не доверяй, на вражеской земле опасность подстерегает на каждом шагу. Ухо надо держать востро!

…На перекрестке небрежно рассыпана колода новеньких игральных карт с пошлыми яркими картинками. Солдат бросился собирать.

— Стой! — приказал сержант.

Осмотреть перекресток поручили саперу. Возле карт он обнаружил мины.

— За картинками потянуло, в носу от них защекотало! — ворчал сержант. — Так и голову ни за грош можно потерять!

…Отступая, немцы прикрывали свои основные силы мелкими группами. Три-четыре автоматчика оставались на перекрестках, на просеках, в отдельных домах. Заметив наших бойцов, гитлеровцы открывали огонь с больших дистанций. Это сигнал своим. Такие засады лучше всего было скрыто обходить и истреблять с тыла.

…Широкая улица простреливалась немецкими пулеметчиками и снайперами: ни перейти, ни проползти. В доме на противоположной стороне вела бой штурмовая группа. Надо накормить ребят.

С верхнего этажа солдат швырнул железную болванку, к которой прочно прикрепил канат. Болванка угодила в окно квартиры на нервом этаже. Ребята из штурмовой группы сообразили что к чему. Они закрепили и натянули канат. По этой канатной дороге переправлялись термосы с супом, кашей и чаем. По ней пришел к ребятам и наш «Советский патриот».

Однажды мы напечатали «Слово летчиков к наземным войскам». Его написали прославленные летчики, Герои Советского Союза.

> «Дорогие товарищи! — говорилось в письме. — Мы не раз видели, как стремительно и дерзко шла в атаку пехота, как мастерски работали артиллеристы. Вы неоднократно были свидетелями мужества и отваги, геройства и воинского мастерства, проявляемых летчиками.
>
> Однако есть у нас немало и недостатков. Вот об этих недостатках в организации взаимодействия нам и хочется поговорить с вами, чтобы в будущем их избежать».

Летчики обращали внимание на необходимость четкой сигнализации, так как с воздуха иногда трудно разобраться, где наши войска и где немцы. Авиаторы просили артиллеристов активнее подавлять огонь вражеских зениток, глушить фашистские прожекторы, расположенные близко от переднего края.

Призыв к взаимодействию различных родов войск дошел до каждого солдата.

ГДЫНЯ И ДАНЦИГ

В конце марта десятки вражеских дивизий были прижаты к морю, к двум крупным портам на Балтике — Гдыне и Данцигу. Врага, окопавшегося в крепостях, с моря прикрывали огнем немецкие корабли. Но это не помогало. Пала Гдыня. Очередь за Данцигом.

Наши самолеты разбрасывали над городом листовки. В них — ультиматум Рокоссовского. Продолжать сопротивление бесполезно. Во избежание бессмысленных потерь гарнизону предлагалось капитулировать. В случае если ультиматум не будет принят, наш командующий советовал жителям покинуть город.

Ультиматум остался без ответа. Слова благоразумия — не для фашистов. Начался штурм. Данциг окутался дымом пожарищ. Из города хлынули тысячи мирных жителей. Потоки беженцев заполонили дороги. Старые и малые спешили подальше от ада. Немцы таборами располагались на площадях и улицах пригородов Данцига. Многие из них, особенно женщины, укутанные в шали и одеяла, жались от страха, ожидая расплаты. И каково было их удивление, когда то здесь, то там появлялись походные кухни с дымящимися щами, кашей и крепким чаем!

— Подходи, не трясись! Не съем! — говорил бравый повар.

Немки не верили. Подсылали для проверки детей: русские не тронут маленьких!

Голод, как говорится, не тетка. У кухонь выстроились хвосты удивленных, растерянных беженцев.

А в Данциге жарко. События развивались настолько стремительно, что невозможно было рассказать о них в газете. Решили перейти на выпуск листовок. Они, свеженькие, отпечатанные на цветной бумаге, бабочками летели в боевые порядки наших полков.

> «В боях за город Данциг старший сержант Василий Стрела уничтожил 15 пулеметных точек врага, подавил огонь трех крупнокалиберных пулеметов».

И тут же короткий рассказ о подвиге.

> «Из-за высокого земляного вала, устроенного немцами на городской улице, била минометная батарея. Мины рвались в боевых порядках наших стрелков. Расчет старшего сержанта подкатил противотанковую пушку к земляному валу. Артиллеристы, выставив наблюдателя,

начали рыть нишу. Затем вкатили орудие в образовавшуюся брешь, прямой наводкой уничтожили немецкие минометы».

А вот другая листовка:

«Комсомолец Иван Гапон одним из первых вышел к центру города. Он совершил дерзкую вылазку, забросал гранатами крупнокалиберный немецкий пулемет, взял в плен пятерых немцев».

30 марта все стихло. Данциг — наш! Война теперь где-то далеко. Войска маршала Жукова стоят на Одере. Там — последние приготовления к последнему, решающему сражению. Нам надо спешить туда. К Данцигу мы пробивались с боями. А теперь — длительный марш. Утомительное это дело! 50 минут хода, привал 10 минут. В середине дня остановка на 30 минут. Прием пищи. Сушка портянок. И опять в путь. Идти далеко — триста с лишним километров!

Командование уже на исходных позициях. Генералы изучают местность. Нам отведен рубеж у Штеттина. Справа — море, левее — Берлин.

В колоннах бойцы шутили:

— Быстрее, ребята! А то к шапочному разбору придем, наград не достанется!

МАГИЧЕСКИЙ ПАРОЛЬ

Войска Рокоссовского форсировали Одер южнее Штеттина, прорвали вражескую оборону и продвинулись вперед на 30 километров. По приказу Верховного Главнокомандующего нам снова салютовала Москва.

Наборщиков не надо было подгонять. Экстренные сообщения набирались удивительно быстро и чисто. Сережа Аракчеев предложил рифмованную шапку. Ее поставили на первой полосе, выше заголовка:

> «Нас маршал отметил в приказе своем, быстрее последние версты пройдем! »

Все спорилось в нашем редакционном коллективе. И вдруг, как на грех, раскапризничалась «Бостонка». Сломался рычаг. И как раз в тот момент, когда поступил приказ двигаться вперед. Авторота трогается в путь, а мы умоляем людей отремонтировать рычаг, без которого невозможно отпечатать готовый номер, да еще какой номер! Собрался целый консилиум. Предлагают поставить заклепки, наварить скобу. Лучше всего заварить трещину при помощи автогена, но где его возьмешь? Походная мастерская располагает только электросваркой.

Уходят драгоценные минуты, часы. Трудно будет нагонять своих. Но самое главное: газета с хорошими вестями не попадет утром в полки и батальоны.

Только в полдень мы подъехали к Одеру. На подступах к реке колонны с боеприпасами, тяжелая артиллерия, зенитки, санитарные машины. Техника в несколько рядов, а действует лишь один понтонный мост. Руководят переправой волевые командиры. За малейшее нарушение крепко попадает провинившимся. Не принимается во внимание ни чин, ни род войск, не помогают ни просьбы, ни уговоры. Прикинули: если ждать очереди, будем «загорать» до вечера.

Не думали, не гадали, что груз, который мы везем в своей машине, имел магическую силу.

— Товарищ полковник, почитайте последние новости, — обратился капитан Аипов к одному из блюстителей порядка.

— «Приказ Верховного Главнокомандующего. Командующему войсками Второго Белорусского фронта Маршалу Советского Союза Рокоссовскому, начальнику штаба фронта генерал-полковнику Боголюбову…»

Эти строчки проглатывались одним махом.

— Где достал газету?

— Только что отпечатали. Пробиваемся к своим, да вот застряли!

— Дай еще номерок — и трогай по обочине!

Через пятьдесят метров та же картина.

— Куда без очереди претесь?

— Почитай новости!

— Дай еще газетку! Да не скупись, не скупись!..

И вот мы на западном берегу. Мелькнули города Гарт, Пенкун, Шведт. Сады в буйном цветении. На балконах и окнах белые простыни и лоскутки — знак капитуляции.

Наконец наша дивизия! Газета идет нарасхват.

— Молодцы! — говорит начальник политотдела Буцол.

Получить такую похвалу, да еще накануне Дня печати, не так уж мало.

Год назад, 5 мая 1944 года, в приказе по частям 354-й дивизии говорилось, что в течение трех лет своего существования дивизионная газета «Советский патриот» стремилась к одной благородной цели: быть верным помощником командования в укреплении порядка и дисциплины, в совершенствовании боевого мастерства наших воинов, в военном, политическом и культурном воспитании бойцов и младших командиров. Находясь на решающих участках борьбы с немецкими захватчиками — под Москвой, на подступах к Днепру и в Белоруссии, газета воспитывала и воспитывает у бойцов стойкость, непоколебимую веру в нашу победу, жгучую ненависть к заклятому врагу. В этих исторических битвах выросли наши военкоры старшина Васякин, младший сержант Вдовин, лейтенант Куликов, рядовой Газизов и многие другие.

За достигнутые успехи в области передачи боевого опыта и воспитания бойцов и командиров всему личному составу редакции в приказе объявлялась благодарность.

— Такое надо отметить. Как вы думаете, товарищ капитан? — заговорщически сказал старшина Алексей Сергеев, потирая руки.

— Чем же ты собираешься отмечать, товарищ старшина, харч-то наш не очень богат.

— А Баулин на что? Он после тех сказок да после моего выговора, знаете, какой находчивый и расторопный стал. Сегодня на озере пропадал. Всю утреннюю зорьку нырял с сачком, сооруженным из холщового мешка. Посинел, бедняга, но вернулся с добычей. Идите полюбуйтесь.

В соседней землянке Баулин чистил огромную рыбину.

— И самому невдомек, как поймал, — рассуждал Баулин, — треснулся под водой так, что искры из глаз посыпались. Думал,

на корягу или на камень наткнулся, а оказывается, на эту вот щуку. Оглохла рыба на какой-то миг, а я ее в мешок! Выходит, что голова-то у меня еще крепкая. Зря старшина нападает.

— Ну и чего будете делать с этим добром?

— Со щукой-то? Да что угодно. Из головы и потрохов — уху, а из мякоти — рыбник. Белой мучишкой я раздобылся. К вечеру можно пир на весь мир закатить.

— А что, товарищ капитан, Баулин дело предлагает, — вставил Сережа Аракчеев. — Можно и начальство в гости пригласить.

— Быть посему!

На вечеринку в редакцию охотно пришли гвардии подполковник Буцол, ребята из политотдела. Пирога хватило на всех. Хороша была не только рыба, но и поджаристая корочка. Сережа читал свои стихи, раешник, а потом все пели, пели от души, как в добрые мирные времена.

Прощаясь, гвардии подполковник сказал:

— Никогда не думал, что у вас такая дружная семья. Молодцы!

А сейчас, уже за Одером, Буцол вручил мне письмо из политотдела армии, в котором шла речь о том, как пропагандируется боевой опыт на страницах нашей газеты.

> «В зимних наступательных боях, — говорилось в письме, — газета «Советский патриот» уделила большое внимание пропаганде боевого опыта, воспитанию смелых, отважных, хорошо знающих свое дело воинов».

Особенно отмечалось, что, когда дивизии предстояли бои за Данциг, газета устами бывалых воинов рассказывала о всех тонкостях боя на окраине, на улице, за отдельный дом.

— Выходит, что опыт «Советского патриота» политотдел рекомендует перенять другим дивизионным газетам? — спросил Буцол.

— Выходит, что так.

— Похвально. Об этом просил меня передать лично тебе и всей редакции командир дивизии Владимир Николаевич Джанджгава.

«Не слишком ли много похвалы? — подумал я. — Как бы не обмишуриться».

ЖИВЫЕ БАРОНЫ

Старшина Иван Казаков жаловался:

— Понимаете, товарищ капитан, места себе не нахожу. Учился на переводчика, а как ни пытаюсь разговаривать с немцами, они только одно: «Нихт ферштейн», «Нихт ферштейн». Ума не приложу, в чем же дело.

— Значит, плохо учил.

— Да нет, вроде в отличниках ходил.

За Одером остановки короткие. Привал на ночь — и снова в путь. Иван Казаков теперь на коне, он, что называется, прозрел, нашел немецкое наречие, на котором разговаривал в вузе.

Догнав штаб, мы облюбовали себе помещение для отдыха. Старшина Казаков любезно объясняет хозяевам дома, что нам надо. Освобождаются комнаты для наборных касс, печатной машины, радиорубки.

Просьбы выполняются беспрекословно. Во всем — подчеркнутая угодливость. А в глазах немцев, особенно женщин, — животный страх. Старшина объяснил мне: только что работало немецкое радио, приказывало кончать жизнь самоубийством. Лучше, мол, умереть, чем испытать погромы, насилие со стороны русских варваров.

Нам не до этой болтовни. Все смертельно устали. Остаются бодрствовать лишь часовой да дежурный у приемника.

Степенная дама, хозяйка дома, что-то обеспокоенно объясняла Ивану Казакову. Тот обратился ко мне:

— О вас тревожится. Почему это господин гауптман ложится спать без ужина?

— Старшина, будь друг, сделай так, чтобы хозяйка ушла. Ведь сам знаешь: неделю сапоги не снимали, фрау в обморок упадет.

— Понятно, товарищ капитан! Сейчас все уладим!

И вот впервые за годы войны — просторная кровать, накрахмаленные наволочки и простыни, пуховые подушки. Совсем как в мирное время.

Утром — новый бросок. В распоряжении редакции имение барона. Разбегаются глаза. Шикарный парадный вход, анфилады просторных комнат, флигели для гостей и прислуги. На территории замка большое хозяйство: птичники, коровники, свинарники, конюшни. Везде идеальный порядок и чистота.

На первом этаже — приемная и кабинет хозяина. Здесь собралась родня барона. Старики и старухи будто вросли в глубокие фамильные кресла. Нас встретили гробовым молчанием.

Эта комната, устланная коврами, пожалуй, самая подходящая для наборного цеха. Грузовик может подъехать прямо к окну. Готовые для печати формы удобно передавать в кузов, где находится печатная машина. И караульную службу организовать проще: часовой во дворе, дневальный в замке на первом этаже.

Старшину Ивана Казакова прошу перевести: «Пусть господа выберут себе любое помещение в самом замке или во флигелях, а эти две комнаты освободят».

Старшина мнется. Он, видите ли, впервые имеет дело с такими именитыми особами.

— Неудобно, товарищ капитан, трогать их. Ведь перед нами настоящие, живые бароны. Сами видите, сколько они страху натерпелись. Пусть остаются. Может, другое место подберем для себя?

— Переведи, о чем я тебя прошу! Другого решения не будет!

— Поделикатнее бы надо, товарищ капитан…

— Чего же неделикатного в наших действиях? Пусть выбирают любые хоромы! Не к стенке же мы их ставим!

— Не могу, товарищ капитан. Хоть я и ниже вас по званию, но в данном случае выступаю как советский интеллигент!

Я посмотрел на часы. Осталось несколько минут до начала специальных передач для газет. Сорвем важное дело. Пришлось знатока немецкого языка послать куда надо.

Зашелестели шелка. Стариков и старух как ветром сдуло. Барон засеменил во флигель, гости — за ним.

ПОСЛЕДНИЙ ФРОНТОВОЙ НОМЕР

Ночью на дежурство у приемника заступил Сергей Аракчеев. На него можно было положиться. Запишет все до последней запятой. И в этот раз Сергей сосредоточился до предела. Он, как обычно, обращал внимание на точность записанных слов и фраз, не вникая в смысл. И только после сверки, когда был выключен приемник, он прочитывал весь текст насквозь. Прочитал и не поверил своим глазам. Радио сообщило о том, что подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Не помня себя от радости, Сергей закричал:

— Конец! Конец! Конец!

Протирая сонные глаза, солдаты ворчали:

— Очумел, что ли? Орет среди ночи! Какой конец?!

— Войне конец! Читайте!

Без команды, как-то само собой наше небольшое воинство грянуло «ура».

Брезжил рассвет. Под окнами алел густо цветущий тутовник. Баулин носился с шестами, орудовал топором и молотком. Вскоре у входа в замок трепетали два полотнища: справа — красное, слева — белое. На просторном дворе баронского замка толпа взбудораженных беженцев. Баулин, показывая на полотнища, объяснял:

— Красное — победа! Наша победа! — Бил он ладонью в свою грудь. — Белое — капитуляция Германии! А в общем, криг капут!

— Криг капут! — повторяли немцы. Повторяли, не веря свершившемуся.

— Правда, святая правда! — убеждал их Баулин.

Беженцы торопливо запрягали упряжки. Со двора одна за другой отправлялись повозки, крытые брезентом. Старики, женщины и дети торопились к своим родным очагам.

В полдень явился управляющий барона и на чистом русском языке передал, что экономка хочет знать, какие блюда приготовить на обед господам офицерам и солдатам в честь большого праздника. Предполагались холодные закуски, бульоны, мясные блюда…

— Ко всему этому мороженого бы неплохо, — заявил Митя Рябоволенко.

Управляющий ушел, но вскоре вернулся и виновато сказал:

— Экономка приносит глубокие извинения: мороженого она не сможет приготовить — испорчен аппарат. Но господа пусть не огорчаются: вместо мороженого на третье будет приготовлено другое хорошее блюдо…

— Стоит ли беспокоиться! — ответил старшина Алексей Сергеев.

Когда управляющий ушел, старшина презрительным взглядом смерил Митю Рябоволенко: «Какой аристократ выискался! Мороженого захотел. Можно подумать, что ты всю свою жизнь только «эскимо» кушать изволил! Тоже мне, воин-освободитель!»

Начался пир горой. Перед каждым из нас — хрустальные рюмки и бокалы, серебряные ножи и вилки, десертные ложечки, белоснежные накрахмаленные салфетки, набор тарелок, маленьких и больших. Тост за тостом. Ради такого события можно и погулять. Тем более что номер выпущен и ночью можно спать.

В разгар пиршества в приемнике раздался литой, необыкновенно торжественный голос Левитана:

— Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту…

…Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны!..

Вслед за этим — другая новость: «Обращение товарища И. В. Сталина к народу». И слова, щекочущие горло:

> «С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
>
> Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!
>
> Слава нашему великому народу, народу-победителю!»

Не грешно было бы поднять еще тост, но ведь у газетчиков — особые заботы. Сообщение надо немедленно принять, набирать и печатать. Пришлось прервать застолье, дать приказ, чтобы люди шли отдыхать, чтобы к ночи каждый был чист и свеж, словно стеклышко.

Вроде бы угомонились все. Лишь к вечеру мы спохватились: нет на месте самых степенных солдат — Баулина и Бондаренко. Обшарили все комнаты и залы. Как сквозь землю провалились! Кто-то надоумил заглянуть на кухню. И что вы думаете? Посреди кухни — огромная плетеная бутыль. Солдаты чокаются котелками, наполненными доверху вином:

— За твое здоровье, Иван Васильевич!

— За твое здоровье, уважаемый Андрей Петрович!

Пришлось вмешаться:

— Хороши друзья, ничего не скажешь! Люди работают, а они гуляют!

— Леший попутал, — оправдывался Баулин. — Эту корзину управляющий подарил. Открыли — ароматище! Вот и наводим дегустацию.

— Сейчас же под кран! Под холодную воду! Ночью — за работу, — распорядился я. Бранить ветеранов у меня не повернулся язык.

И газета вышла. Мы не пожалели для нее ни сил, ни стараний. Красиво оформленная, отпечатанная в несколько красок, рано утром она пошла в батальоны и роты, понесла воинам радостную весть о Победе!

Это был наш последний фронтовой номер.

* * *

У каждого бывалого солдата есть заветная мечта — оторваться от повседневных дел и пройти по тем фронтовым дорогам, где знаком каждый холм и овражек, где навеки остались друзья, отдавшие свою жизнь ради мира и счастья народов.

Мне тоже хочется снова увидеть озеро Ильмень, Старую Руссу, Демянск, пройти по брянским проселкам, по полям Белоруссии, Польши, Германии. Но увы! Слишком много времени потребовалось бы для такого путешествия. Лишь мысленно, работая над этой книгой, я снова проделал наш долгий ратный путь, снова вспомнил своих фронтовых товарищей, пережил свое детство и юность.

По-разному сложились наши судьбы после войны. Погиб на полях Белоруссии Егор Кабрин, с которым я начал свой первый рабочий день. Преждевременно ушли из жизни автор широко известных книг, редактор журнала «Москва» Евгений Поповкин, писатель Игорь Чекин.

Бывший редактор армейской газеты «Знамя Советов» полковник в отставке Владимир Борисович Фарберов живет в Ленинграде.

Лауреат Государственной премии Аркадий Кулешов — яркая звезда белорусской поэзии. Писатель Юрий Корольков создал новые художественные произведения. Успешно трудится на литературной ниве Ваграм Апресян.

Остались верны профессии военного журналиста Александр

Калинаев и Николай Лисун. Михаил Строков — ответственный работник ТАСС. Старшина Иван Казаков стал поэтом-песенником. Его произведения звучат с эстрады, в грамзаписи, передаются по радио. Известен Казаков как рассказчик и как солист. Старшина Алексей Сергеев работает на Урале, Семен Аипов и Сергей Аракчеев — полковники. Может, эта книга поможет отыскать еще многих фронтовых друзей, друзей детства и юности.

Мы редко видимся, но это не мешает нам свято хранить память о прошлом, о тех днях, когда мы, журналисты, сражались плечом к плечу с нашими отважными воинами. Сражались пулей и печатной строкой, выполняя свой сыновний долг перед отцами и старшими братьями, свершившими революцию, отстоявшими завоевания Октября в годы гражданской войны.